

**Юрий  
БОНДАРЕВ**

**8<sub>(11)</sub>**

# Юрий Васильевич Бондарев

## Непротивление

*Scan, OCR, SpellCheck, Чернов Сергей (г.Орел) chernov@orel.ru*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=134054](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=134054)*

*Ю.В.Бондарев С.с. в 8 т., т8(2) Непротивление ч.1; Непротивление ч.2;*

*Роман-газета №15 1996 г.: Голос; Москва; 1996*

### Аннотация

Новый роман Юрия Бондарева "Непротивление" – это то, чего нам сегодня не хватает.

Это – роман русского сопротивления. Это – нынешний офицерский вызов Юрия Бондарева.

В Юрии Бондареве и по сей день живёт фронтовая ненависть ко всем штабным сволочам. Её не придумашь и не разыграешь. Эта фронтовая ненависть, похоже, и спасла прозаика Юрия Бондарева от втягивания в водоворот "секретарской" литературы: он не захотел становиться одним из тех, кого всю жизнь ненавидел.

И отсюда вырастает в романе тема непротивления – обстоятельствам, друзьям, врагам.

"Непротивление и трусливый сволочизм" большинства приводит к гибели тех, кто способен сопротивляться. Но гибель тех, кто сопротивляется, вдохновляет на сопротивление это самое большинство. Любому народу нужны герои. Любое

сопротивление, отвечающее интересам народа, рано или поздно приводит к победе.

# Содержание

Часть первая	6
Глава первая	6
Глава вторая	29
Глава третья	59
Глава четвертая	74
Глава пятая	90
Глава шестая	111
Глава седьмая	137
Глава восьмая	179
Глава девятая	189
Глава десятая	201
Глава одиннадцатая	236
Часть вторая	267
Глава первая	267
Глава вторая	295
Глава третья	313
Глава четвертая	333
Глава пятая	367
Глава шестая	383
Глава седьмая	399
Глава восьмая	413
Глава девятая	423
Глава десятая	440

Глава одиннадцатая	460
Глава двенадцатая	478
Глава тринадцатая	494
Глава четырнадцатая	511

# Юрий Бондарев

## Непротивление

### Часть первая

### Глава первая

Он протиснулся сквозь гущу людей, сквозь смешанный гул голосов, крики, смех, грубую ругань, визгливые звуки шарманок, всхлипы, переборы аккордеонов и хриплые солдатские песни, сквозь сплошной вой этой пахнувшей нездоровым потом толпы, хаотично толкающейся, сжатой в каком-то сумасшедшем круговороте, торгующей всем, чем можно было торговать, – от буханки хлеба, немецкого шоколада, русской водки до армейских сапог, кальсон и американских презервативов – он вырвался из этого стадного движения рынка и, оправляя едва не сорванный теснотой толпы китель, с облегчением остановился за палатками на краю тротуара, в тени под липами. Здесь тротуар и мостовая были засыпаны мусором, отбросами, обрывками газет, осколками бутылок, пустыми ящиками, смятыми папиросными коробками, заляпаны мякотью разбитых арбузов, размазней раздавленных помидоров. Было знойно, душно, послеобеденное солн-

це нещадно давило на гудевшее месиво людей, и здесь, за палатками, жидкая тень от лип не освежала потного лица, несло от мусора горячей вонью ржавой рыбы, гниющим тряпьем, – и Александру даже расхотелось курить. Он все-таки нащупал папиросу в кармане, кинул ее в рот и вошел в забегаловку на другой стороне улицы, переполненную в этот час до отказа.

– Доброго здоровьица! Огонька, а?

Кто-то, с клоунской ловкостью выкинув руку перед ним, чиркнул зажигалкой, и он увидел полоумно сморщенное подобием улыбки лицо паренька, похожего по растопыренным безмятежным глазам на юродивого, которые встречались на рынке возле шарманок. Александр прикурил.

– Привет, друг. Как сегодня Ираидочка? Зверь или кошечка?

– Дикобраз, единорог, – хихикнул паренек. – Угости, богатый офицер, «Беломором».

– Держи. Кто тебе сказал, что я богат?

Кислый, махорочный дым плавал в галдевшей пивной, изгибался толстыми удавами в полосах солнца над деревянными залитыми столами, окруженными парнями в старых гимнастерках, потертых кителях, плыл над стойкой, над рыжей крашеной головой толстой Ираиды, которая по-мужски держала в углу неумеренно накрашенных губ дымящуюся папиросу и, прищуря один глаз, сердито пересчитывала на блюдечке влажные рубли – сдачу какому-то тщедушному па-

реньку в очках, длинные волосы которого по-поповски лежали на воротнике куртки.

– Ирочка, – фальшиво-ласково заговорил Александр с мужеподобной продавщицей, то и дело озирающей пивную выпуклыми глазами, обведенными краснотой век. – Ираида, – повторил он еще ласковее, – я сегодня без копыя. Если не жаль, то прошу, ласточка, порцию сосисок и кружку пива в долг. Завтра верну.

– Какая я тебе, к едреной матери, ласточка? Ишь птичку нашел! – грубо фыркнула малиновыми губами Ираида и грозно глянула вороньим взором. – Не подкатывайся зря! Сегодня все задарма лезут! Прогорю я с вами, дьяволами! С утра оккупировали пивную, а толку от вас – ни хрена!

– Ирка, заткнись! Дай парню выпить! Эльдар, одолжи воину гроши! – раздался голос из глубины пивной.

Длинноволосый парень покосился на Александра из-под очков, уже забирая сдачу, но тут же с ухмылкой бросил деньги обратно на блюдечко, сказал певуче:

– Так пусть будет еще кружка пива и еще сосиски.

– Ты из каких краев такой добрый? – насмешливо спросил Александр, оглядываясь на столики, откуда раздался приказывающий голос. – И кто это тобой командует? – Он взял тарелку с сосисками, кружку, кипевшую пеной, и, расставив локти, чтобы не толкнули, двинулся к столикам вместе с длинноволосым.

– Заворачивай сюда! Ставь закусон и пойло! – крикнул



плотный парень в гимнастерке, с щетинистыми усами и ладонью махнул по столу, отодвигая пустые стаканы и кружки. – Садись, кореш, соседом! А ну, давай, давай, телись, возишься, как на свадьбе, монах патлатый! – Он почти вырвал стакан и кружку у длинноволосого, отхлебнул из стакана, запил водку жадными глотками пива, мотнул головой на Александра. – А ты чего не пьешь?

– Чокнуться хотел, – сказал Александр.

– Ох ты, какой интеллигентный.

– Да так как-то вроде поудобней, если приглашаешь сесть рядом.

– Давай чокнемся, коли охота есть.

Твердая рука с черной каемкой под широкими ногтями немного дрожала, но так крепко охватывала граненый стакан, что, казалось, стекло могло лопнуть. Кольнув остренькими точками крошечных глаз в самые зрачки Александра, парень чересчур сильно ударил стаканом в его кружку, так что выплеснулась водка, сказал:

– Я есть Гришка Логачев. Слышал такого в Замоскворечье? Слышал небось?

Александр отпил пахнущее железом пиво.

– Слышал.

– Что слышал?

– Если ты тот самый довоенный Гришка Логачев, то значит – голубятник и вор.

– Цыть, сволочь!

Гришка ребром ладони врезал по грязному столу, подско-  
чили стаканы, пролившееся пиво поползло по кружке.

– Не цыкай, а то начну заикаться. Очень испугал.

Логачев ухмыльнулся.

– Силен, видать. Давно прибыл? Где грязь месил? На ка-  
ких фронтах?

– Первый Украинский. Полковая разведка. А что?

– До каких чинов долез?

– Лейтенант, – ответил неохотно Александр. – А что за  
интерес? Мы где – в пивной или в отделе кадров? Может,  
анкету еще тебе заполнить: воевал ли у белых, состоял ли в  
оппозициях, есть ли в семье репрессированные?

– Цыть! – опять стукнул ребром ладони Логачев. –  
Нишкни!

Александр поднялся, предупредил тихо:

– Еще раз цыкнешь, дам в морду.

Логачев привстал, с нескрываемым интересом в упор раз-  
глядывал Александра, облизнул щетинистые усы и снова сел.

– Ладно. Давай пить, – сказал пьяно и примирительно. –  
Не в ту сторону поперли. А ты вроде, парень, ежик, а? Давай,  
пей, братва, – обратился он к двум парням за столом, кото-  
рые молчали во время разговора Логачева и Александра. –  
Эльдар, принеси-ка еще всем по стакашку с прицепом.

Он кинул длинноволосому розовые потертые тридцатки  
и впился крупными губами в край кружки, покряхтывая от  
удовольствия, обсасывая пивную пену с усов. Пока длинно-

волосый носил от стойки кружки и стаканы, выполняя в этой компании роль официанта, Александр рассмотрел соседей по столу. Напротив него сидел худощавый, тонколицый парень в кремовом, безупречно сшитом заграничном пиджаке с четырьмя орденскими планками на узком лацкане, светлые волосы лежали на красивом лбу колечками, делая его голову как бы кудрявой, задымленные веселой дерзостью глаза полуулыбались Александру. Кудрявый неторопливо отпивал пиво и, вроде забавляясь, поигрывал в руке маленькой трофейной финочкой, совсем игрушечной, изящной, с зеркальным лезвием. Слева от кудрявого сидел мрачноватый парень в летней добела выгоревшей гимнастерке, распиравшей крутые плечи, его угрюмо-непроницаемые глаза будто дремали: ни водка, ни пиво не возбуждали его, прижатые уши, ежик волос делали его похожим на боксера. Он равнодушно сунул лопатообразную руку в сторону Александра и так стиснул его пальцы, что суставы хрустнули.

– Зови Миша. Только не лейтенант, а старшина. Гвардейские минометы, – сказал он скучно.

– Значит, разведка? – спросил кудрявый, поигрывая финочкой. – Конная или пешая?

– Пешая.

– Выражаю сожаление.

– Это почему же?

– Люблю лошадей.

– На здоровье.

– Остри в другом месте, шуток не принимаю, – дерзкие глаза парня продолжали улыбаться, но тонкие губы передернулись. – Представляюсь, разведчик: бывший командир противотанковой батареи на конной тяге старший лейтенант Аркадий Кирюшкин. От Сталинграда до Зееловских. Понял, почему лошадь друг человека?

В солнечных полосах махорочный и папиросный дым фиолетовыми кольцами шевелился, перекручивался под потолком, голоса переполненной забегаловки гудели шмелиным гудом, пахло затхлой одеждой, горьковатой кислотой пива, сивушным духом водки; дверь хлопала, впуская новых посетителей, торгашей Дубинского рынка, в тесноте кое-кто из рыночных начал проталкиваться к столу, где было два свободных места, однако, заметив играющую блеском финочку в руке Кирюшкина, угрюмые глаза, ежик волос «боксера», молча оттирались в сторону. Кирюшкин повторил спокойным голосом:

– Лошадь – друг человека, кореш. Вместе были на передовой.

За соседним столом кто-то засмеялся с полным ртом:

– А собака – не друг разве? Сообразил, что в лужу треснул!..

Кирюшкин нехотя повернул кудрявую голову, не без удивления оглянул толстошеекое лицо соседа, одетого в клетчатую ковбойку, истово жующего сосиску, поинтересовался:

– Это ты такой хохотальный мужчина?

– А что?

– Заткни подштанниками глотку, барыга.

– С какой это еще стати? – толстощекий перестал жевать, лицо стало сизо-багровым. – Ты кто такой здесь есть, что с ножиком балуешься?

Вокруг поубавился шум, замолкли голоса, потом ветерком прошелестело по столам пивной: «Это же Кирюшкин, что он, дурак мордастый, с ним связался?»

А Кирюшкин, суживая светлые глаза, продолжая играть финочкой меж тонких пальцев, еле приметно кивнул «боксеру». И тот, приоткрыв опухшие веки, по-медвежьи встал и, невнятно бормоча, что спекулянтские тыловые крысы его раздражают, не дают культурно отдохнуть, почти не глядя, легко поднял за шиворот толстощекого, рывком вытащил из-за стола. Затем бесцеремонно протиснул его сквозь толпу к выходу, вытолкнул за порог, головой толстощекого распахнув дверь. Там, за дверью, пискнуло: «Милиция», – и сейчас же стихло. Никто в забегаловке не сказал ни слова, только посторонились, когда «боксер» вернулся к столу и без всякого удовольствия на мрачноватом лице округлил и опустил брови, этим выражая удовлетворение расторопностью длинноволосого, успевшего каждому принести еще по кружке пива и стакану водки. Теперь длинноволосый, обликом похожий на монаха, сидел тихонько за столом, упираясь сухими кулачками в худой подбородок, и смотрел умным, влюбленным, укоряющим взором на Кирюшкина, а он с незави-

симым спокойствием приводил финочкой в порядок ногти. Третий, тот, который пригласил Александра к столу, посаживал пиво, как если бы ничего не случилось. Было видно, что их знают здесь, в этой прирыночной забегаловке, и побаиваются. Александр подумал, почему-то не удивляясь своей доверчивости:

«В странную попал я компанию. Заказали сосиски и пиво, пригласили к столу. Зачем, хотел бы я знать?»

– Не очень любезен ты, старший лейтенант, с этим... – Александр прищурился в сторону двери. – Он, собственно, ничего не сказал особенного...

– Кто может знать при слове «расставанье», какая нам разлука предстоит, – вдруг пропел дурашливым тенором длинноволосый и помахал в направлении двери ручкой. – Миша без причины никому витрину не разбивает. Каждому свое. Он только не любит, когда тыловики смеются. Над кем смеются, нечестивцы?

«Боксер» огромной лапицей взял стакан, с размаху опрокинул водку в широко разъятый рот и, раздувая ноздри, понюхал корочку хлеба.

– Много хохотает, тыловой клоп, – загудел он, отдуваясь. – Рыночный кровосос. Мясо перепродает. Иногда идохлое. На нюх я их беру, всех тыловых. Я в их... Жалею, что «катушки» сюда не привел. Шарахнуть бы по всем этим гнидам зажигательными.

– Подожди, шараннем, – пообещал Кирюшкин, продол-

жая заниматься опрятностью ногтей. – Шарахнем прямой наводкой, аж чертям тошно станет. И ведьмы изойдут кровавым поносом.

– И будет плач и скрежет зубовный, – вставил длинноволосый и радостно окунул свой остренький нос в пиво.

– Хотите в тылу войну с тыловиками начать? – усмехнулся Александр.

– Что-то в этом роде на красном пароходе, – неопределенно ответил Кирюшкин и воткнул финочку в стол, поднял стакан. – Что не пьешь, разведчик? Как тебя? Сашок, кажется? Давай тяпнем за войну с тыловой мразью, это стоит того!

– Пока не сообразил, – сказал Александр. – В каком смысле?

В это время под столом слышался невнятный шорох, треск прутьев, донеслось яростное воркование, голубиное постанывание, и парень со щетинистыми усами, Логачев, внезапно весь как-то смягчился, засиял скуластым лицом, желтые искорки глаз стали нежными. Он наклонился и вытащил из под стола плетеный из прутьев садок, с тремя голубями, нервно задергавшими шейками на солнечном свете, среди дыма, тесноты уксусно пропахшей пивной.

– Красавцы золотые, душно вам здесь! Ох, ярый! Ревнует к черночистому! На дуэль вызывает, – восхищенно проговорил Логачев и осторожно пролез рукой в садок и так же осторожно, чтобы не задеть перьями за прутья, вытащил палевого голубя с женственно изящным зобом, с маленьким белым

клювом, круглые янтарные глаза палевого в белых ободочках отмечали породистость и чистоту. И Александр, еще до войны знакомый с голубиной мастью, как почти каждый замоскворецкий мальчишка, сказал:

– Хорош.

– Голодный и пить небось хочет, – сказал озабоченно Логачев и поднес голубя к своему умиленному лицу. – Пить хочешь?

Кирюшкин посоветовал:

– А ты, Гришуня, водкой его напои – и все дела. Шумел камыш заворкует, будем наслаждаться самодеятельностью. Твой любимый палевый, глядишь, тенорком затянет.

Широкое лицо Логачева стало сердитым.

– Ты моего палевого не обижай, Аркадий! Я его теперь и за сотнягу не отдам. Две четвертных сегодня отстегивали – послал подальше! Попей, попей, красавчик мой!

Он набрал в рот немного пива, взял клюв палевого в свои крупные губы и начал поить его, умиленно жмурясь.

– Боже, он так умрет, не надо! – вскричал длинноволосый в преувеличенном ужасе. – Отравится!

– Цыть! – Гришуня отмахнулся локтем. – Еще накаркаешь!

Кирюшкин с иронической усмешкой полез во внутренний карман заграничного пиджака, достал массивный золотой портсигар с выпуклой монограммой, с двуглавым орлом на крышке, раскрыл его нажатием кнопочки и предложил



Александр выбрать американскую сигарету или папиросу «Герцеговину Флор», прижатые шелковой резинкой. Александр вытянул из-под резинки сигарету, поражаясь дорогому роскошеству портсигара и крупному темному перстню на мизинце этого самоуверенного парня, который, видимо, правил здесь. Портсигар пошел по кругу, «боксер» Миша выловил сосискообразными пальцами «Герцеговину Флор», длинноволосый не взял ничего, лишь благодарно нырнул остреньким носом («мерси»), а Логачев, опустив под стол садок с голубями, выдернул сигарету черными ногтями. Потом, закуривая, пододвинул к себе портсигар и, подозрительно скосясь сквозь дымок, долго рассматривал его, мундштуком сигареты топорща колючие усы, вкрадчиво спросил:

– Насовсем у Лесика одолжил музей?

– Одолжил? – Кирюшкин протянул к себе портсигар, четким щелчком захлопнул его, сунул во внутренний карман. – Маркса читал, голубиная башка? Вижу – не сечешь. Теоретически – экспроприировал. Практически – отобрал награбленное. И у Лесика нервишки сдают. – Он с видимым смакованием выпустил струю дыма, нанизал на нее колечки, заговорил превесело: – Вчера часиков в одиннадцать захожу со студентом, этим бородатым танкистом Билибиным, в «Эр-митаж», пивка выпить, поспорить, поговорить о том о сем, о Боге, о черте и вижу: столика через три сидит у самой эстрады Лесик с этим ушастым Гошкой Малышевым «Летучей мышью» и какой-то белобрысой пипочкой. Пьют на раз-

гул, заказывают коньяк и шампанское. И не подшофе, а уже под булдой. Так. Ясно и отлично. Говорю Билибину: смотри на тот столик, куда я сейчас пойду, и, как только дело запахнет порохом, бей бутылки, посуду на своем столе, вроде в пьяном обалдеже, для отвлечения внимания. Подхожу к столику. Лесик в состоянии булды ощерился: «Здорово, ты здесь? Садись!» Я лобызаться, конечно, с ним не собирался, но вынимаю портсигар, раскрываю его, кладу на стол: «Закуривай, урки с Зацепы! Угощаю по доброте душевной!» Лесик вскочил, зубы оскалил по-рыбьи: «Смеешься? Дырочку в черепушке получить захотел!» И одной рукой лапнул себя за грудь, где прятал пушку, а другой – за портсигар. Я говорю: «Сломаю руку, предатель, замолкни, переговорим потом. Если только я захочу». И вывернул из его руки портсигар, пошел к своему столику, слышу, за спиной пискнул этот ушастый Гошка: «Убить его мало, Лесик!» Я около своего столика обернулся, сказал: «Попадешь ко мне, уши вырву, Гошенька, плоскогубцами!» Тот, по-моему, упал в обморок и у...ся. Мы расплатились и ушли с Билибушкой, который был, как пружина, начеку, как и полагается танкисту.

«Я, кажется, их понимаю и не понимаю, – подумал Александр, слушая голоса этих незнакомых парней, видя выражение их глаз, их жесты, их манеру, в общем-то, нежадно пить водку, их неторопливую леность речи. – Что же, эти ребята в кустах не сидели. Но они – не мои ребята. Хотя мне нравится этот Кирюшкин, этот вспыльчивый и добрый щетиноусый,

этот похожий на юродивого длинноволосый...»

– Скажу тебе, Аркадий, не рискуй зря, вот какое дело, – проговорил размышляюще Логачев. – Я тебя очень уважаю. Но чую – перышко тебе меж лопаток Лесик втихую готовит. Он – сволочь коварная. Пушку он не применит. А куда полетишь с этим перышком, в ад или рай? Ты нам нужен, Аркаша, а не чертям в аду...

– Вот оно, перышко! – Кирюшкин с размаху всадил свою финочку в стол между указательным и средним растопыренными пальцами. – Нет таких чертей, Гришуня, которые бы мной не подавились! Нету их и в природе!

Они говорили, видимо, по привычке, негромко, но довольно ясно; вокруг них, за ближними столиками, разношерстные рыночные барыги были заняты своей водкой и сосками, между тем по быстрым взглядам, по внезапному молчанию соседей, по наостренным ушам Александр замечал, что к разговору за их столом прислушивались, время от времени с заискивающим подобострастием взглядывая на Кирюшкина. И Александр видел: вокруг лоснились сизые, испитые, морщинистые лица, поблескивали между оплывшими веками вожделенно ожидающие глазки, механически жевали пустоту беззубые челюсти – закоренелые пропойцы, подобно рою мух, должно быть, слетались в забегаловку каждый раз, когда здесь появлялись с барышом голубятники во главе с Кирюшкиным.

После выпитых двух кружек пива Александру стало вдруг

странно весело оттого, что он, никогда не пивший за чужой счет, сидел в этой незнакомой компании, неприятной ему чем-то, в то же время притягивающей той знакомой ему нестеснительной манерой общения, к которой привык за три года в разведке, на одну треть состоящей из бывших уголовников, ребят во всех смыслах тертых. Александр, докуривая сигарету, сказал между прочим:

– Почему-то наш стол обращает на себя внимание.

– А ты чего и кого боишься? – усмехаясь, спросил Кирюшкин.

– Оч-чень. Поджилки дрожат. Неужто ты думаешь, что кого-нибудь и из вас я боюсь? – с горячей вспыльчивостью поднял голову Александр. – Финочки и прочие ерундовины для меня не ново.

– Ладно. Пошутил. Забыто. – Кирюшкин безмятежно выбросил на стол из кармана брюк смятую пачку тридцаток, затем, не оборачиваясь, швырнул деньги через плечо на соседний столик, сказал:

– Алкашам на пропой. Но тосты... тосты должны греметь! Иначе – пьянство. Тосты прошу произносить за здоровье полкового разведчика Александра! Все! С вопросами обращайтесь к Эльдару, знаменитому монаху. – Он указал на длинноволосого. – Ко мне кто полезет с просьбами, получит по шарам, – добавил он и отодвинул недопитый стакан, мельком оглядел стол. – Ну? Будем еще? Или?..

– Почему они должны пить за мое здоровье? – пожал пле-

чами Александр. – К чему это?

– Не твое дело, Саша. Будут пить и все. Приказ был. А тебе что – не нравится?

– Нет!

– Задираешься со мной, что ли? Напрасно.

– На кой черт алкаши будут пить за мое здоровье? Что за хреновина? Откуда они меня знают?

Кирюшкин вщелкнул финочку в какой-то тайный футлярчик на боку под пиджаком, обернулся с наклоном кудрявой головы к соседнему столу, где сизые лица шуршали тридцатками:

– Первый тост отменяется. Пейте за мое здоровье и всех голубятников Замоскворечья! Пора заканчивать! – обратился он к своему столу и сделал закругляющий жест. – А то вижу, мы намозолили некоторым глазки, хоть и начхать в три ноздри! Во-он, Сашок, глянь-ка в угол. Топтуна видел когда-нибудь?

Кирюшкин придвинулся, показал пальцем на угловой столик, там гладко выбритый бледный человек разговаривал с пьяной проституткой. Она слушала его и сипловато смеялась, навалясь пухлой грудью на стол. И глубоко, по-мужски затягивалась сигаретой, вздымала покрашенные брови, выталкивая дым через ноздри. Бледный человек обегал рассеянными глазами нетрезвое скопище людей – гимнастеров, пиджаков, кепок, пилотов, шевелящихся в сгущенном махорочном дыму, в гуле хмельных голосов, скользил по свеколь-

ным лицам возбужденных «пивняков», по известковым лицам мрачно-молчаливых алкоголиков и в этом скользящем, как бы случайном внимании на секунду натыкался на стол, где гуляли голубятники.

– Видал наблюдателя? – сказал Кирюшкин. – Разведчики и в тылу обитают. Сидит, курица подлая, и все засекает: кто, что и как. Я его раз семь здесь вижу. Неделю назад встретил его рано утром в дверях, говорю: «Надоел ведь, парень, как жених на свадьбе. Утром-то ради чего приперся? Никого ведь нет». А он: «Как вы смеете? Кто вам дал право оскорблять? Хулиган!» Я тихонько пообещал побить ему морду без свидетелей и вежливо послал его на ухо, и с тех пор он в мою сторону почти не смотрит. Опасается все-таки, сволочь. Хочешь, проверим?

И он самодовольно сузил задымленные дерзостью зеленые глаза.

– Слушай, – сказал Александр, подмываемый неожиданной волной сопротивления. – А ты малость рисуешься передо мной? Зачем? Я тебе не красна девица...

– Замолкни! И со мной не задирайся! Знай, сесть я не боюсь. Сибирь – тоже русская земля. Не пропаду. – Тонкие губы Кирюшкина сдавились в прямую полоску и, помолчав, он повторил: – Не пропаду. Нигде. И запомни: я злой, когда меня даже мизинцем задевают.

– Я тоже.

– Что «тоже»?

– Тоже. Бывает, – ответил Александр и с нарочитым безразличием спросил: – На кого злой, если не секрет?

– На всю эту тыловую сволочь. – Кирюшкин повел бровями на окна забегаловки, за которой шумел, галдел рынок, перекатываясь под солнцем черными валами толпы. – Каждого бы откормленного останавливал, спрашивал: «Воевал?» – «Нет». В морду. Мильтонов и лягавых ненавижу. Раз по дурачости попал к ним. Чуть ребра не переломали. Ногами били лягаши. Всю жизнь буду помнить. Эй, милай хмырь за угловым столом! – крикнул он насмешливо бледному человеку, разговаривающему с проституткой, и щелкнул пальцами. – Ты, ухо моржовое, наших баб не фалууй, а то у нас ревнивые есть!

– Пожалуйста, не тронь кодлу. Бог с ними, – несмело попросил длинноволосый, – не тронь, вонять не будет... Ну его...

Между тем бледный человек, услышав обращение Кирюшкина, выжал кисленькую улыбку и опять заговорил с пьяной проституткой, а она, подняв голову, повиляла по сторонам воспаленными белками, по-львиному раскрыла красный квадрат рта и рявкнула мужским голосом:

– Кто здесь насчет меня похабничает, пасть порву! Я десять лет замужем была!

Кто-то захихикал в пивной. Кто-то неразборчиво выматерился и сплюнул.

– Пьяна, Розочка, пьяна, – с сожалением произнес Ки-

рюшкин, не обращая внимания на Розочку, и тотчас встал, застегивая американский пиджак, одергивая его, как гимнастерку, худощавый, сильный, как будто весь слитый из сухих мускулов. – Отстегни Ираидочке на сухари четвертак. Было, как всегда, образцовое обслуживание, – сказал он длинноволосому, и тот вскочил, кинулся к стойке.

Все поднялись следом за Кирюшкиным. Логачев вытянул из-под стола садок с голубями, «боксер» напялил кепочку на дынеобразную стриженую голову, по-замоскворецки с лихой кокетливостью надвинул ее на ухо – все приготовились выходить. Только оставался сидеть Александр над своей кружкой пива, и Кирюшкин несколько помедлил, проговорил полувопросительно:

– Может, с нами пойдешь, Сашок?

– Куда?

– Да хоть к Гришуне Логачеву. Его голубятню вроде музея надо посмотреть. И поговорить есть о чем. Здесь ведь только пить можно, в этом бардаке.

– Что ж, посмотрим голубятню, – как-то быстро согласился Александр и тоже поднялся, уже не раздумывая, не опасаясь легковесности решения, хотя понимал, что в этом его согласии есть нечто рискованное, самонадеянное, необъяснимое самому себе. Но эта компания незнакомых парней, голубятников, дерзкий Кирюшкин с манерами щедрого завсегдатая и благодетеля забегаловки, вырывала его из одиночества последних дней, как незабытое солдатское товарищество.



– Ну, пошли, братва. А ну, родные, дай пройти солдатам.

И Кирюшкин стал бесцеремонно протискиваться к выходу; остальные последовали за ним. Их пропускали, поспешно теснились с некоторой боязнью и заискивающими улыбками.

Рынок, знойно освещенный послеобеденным солнцем, пропахший сгущенными человеческими телами, послевоенный рынок со своей древней неразберихой, толкотней, криками, звуками гармоний и аккордеонов, топтанием на одном месте и одновременно каким-то резвым движением множества людей, одержимых продать или купить, подкатывал вплотную к дверям пивной. А здесь, на мостовой, гудела отделившаяся от главной толкучки толпа, в середине которой, сидя на деревянной тележке, хрипло и бешено кричал безногий парень в морской тельняшке. В окровавленной руке его зажато было лезвие бритвы. Он полосовал ею крест-накрест по широкой груди. Грязная тельняшка висела лоскутами, все больше набухая, пропитываясь кровью. Голова парня иступленно моталась, дергалась, как у контуженного, пьяные слезы текли по небритым щекам, лиловая пена пузырилась в углах распятых криком губ:

– Не подходи, не подходи, блямба, глаза вырежу! Не подходи, курва! Не лезь! Я сам своей жизни хозяин! Уйди, шлюха!.. – И яростно махал бритвой перед лицом растерянного пожилого человека в стареньком кителе, который неуклюже пытался его схватить за вооруженную лезвием руку, залитую

кровью до локтя.

Вокруг переплетались возбужденные голоса:

– Да что он делает? Зарежет себя морячок!

– Прямо так по грудям и полосует! Белая горячка у него, а?

– Контуженный он! Убьет себя до смерти!

– Милицию позвать! Где она, милиция?

– Какая тебе еще, к такой матери, милиция? «Скорую» вызывать надо! Кровью изойдет!

И выкрики во взбудораженной этим жестоким самоистязанием толпе, дикое неистовство морячка, его обильные слезы на алкоголично-одутловатых щеках, исполосованная в крови тельняшка, подействовали на Александра как тошнотный позыв, смешанный с брезгливой жалостью к истерике пьяного калеки, и он, по-морщась, сказал равнодушно глянувшему на инвалида Кирюшкину:

– Давай все-таки обезоружим парня. Иначе он угробит себя.

– Оста-авь, не суетись, – лениво протянул Кирюшкин. – Это Митька-морячок, в контузии куражится. Перепил до охренения. Все подносят, а он нормы не знает. Жена от безногого ушла, дочь ушла, живет у матери. Как только напьется, все хочет себя на глазах у всех порезать.

– А какого дьявола мы смотрим!

– Здесь другое надо. Начнешь выхватывать у него бритву, так он себя по горлу полоснет, – сказал Кирюшкин и, зло

заблестевшими глазами оглядев толпу возле дверей пивной, окружившую парня, вдруг крикнул пронзительным голосом непрекословной команды: – А ну, разойдись, шантрапа! Чего глазееете, как идиоты, на болезнь инвалида! Разойдись! Или начнем всем морды подряд бить дармоедовским шкурам! А ну, Миша, дай кому-нибудь в шею, чтоб поумнел малость!

«Боксер» Миша наугад взял за шиворот двоих зрителей из толпы и толкнул их в направлении рынка, приговаривая с ласковой угрозой:

– Давай, мотай отсюда, пока ноги из кузова не выдернул!

– Брось, брось фулиганничать! – крикнул кто-то. – Рукам воли не давай! А то мы тоже умеем!

Но толпа зашевелилась, начала рассеиваться, редеть, отодвигаясь от дверей забегаловки. Среди голов потекших в сторону рынка людей мелькнула фуражка милиционера, и Кирюшкин сказал, смеясь:

– Все. Власть появилась. Как всегда в последнюю очередь. Сейчас мильтон вызовет «Скорую» и Митьку отправят спасать. Не первый раз. Знаешь, что такое навязчивая идея?

– Не первый раз? – удивился Александр. – Этому парню лечиться надо. Добьет он себя.

Кирюшкин взглянул на него со снисходительной гримасой.

– Не наивнячок ли ты, Сашок? Кому он нужен? Зачем и для чего? Искалеченных митек тысячи. Отрада у них единственная – напиться до зеленых ангелов. И тут их никто не

излечит. Пошли-ка, брат, лучше в голубятню Гришуни.

Они двинулись по тротуару, немного отстав от Логачева с садком под локтем, от «боксера» Миши, от длинноволосого, а позади рыдающий голос выкрикивал, как в безумии:

– Люди-и, не расходись! Гляньте, гляньте на урода войны! На ваших глазах проклятой жизни лишусь! Подохнуть хочу, как собака! Кранты – моя жизнь!..

## Глава вторая

Уже далеко отошли они от рынка, шумевшего за домами затихающим прибоем; и здесь замоскворецкие переулки, заросшие старыми липами, залитые июльским солнцем, были тихи, безлюдны, пахли теплым деревом заборов, пылью мостовых, в уютных тупичках по-деревенски зеленела трава вдоль кромки тротуаров.

– До Берлина дошел?

– Нет. Мы повернули на Прагу. А ты как?

– Для меня война накрылась на Зееловских высотах. В Германии. Там получил осколочек в левую ногу и все: госпиталь и демобилизация.

– Да, вижу, ты малость хромаешь.

– Есть немного. Пустяки. Ну, а ты, думаю, тоже получил что-нибудь фрицевское на память?

– У тебя нога, у меня плечо и спина. Но тоже – пустяки. Уже не чувствую.

– Добро, Сашок, сужу по планкам: страна родная тебя не забыла, пять штук на грудь навесила. Не обидели.

– А тебя страна родная обидела?

– Не то, чтобы «да» и не то, чтобы «нет», как говорят в Одессе. Днепр пришлось форсировать?

– Лютежский плацдарм.

– Ясно. Направление на Киев. А я – на Киевском. Южнее.

Перед форсированием было всем объявлено: кто первый переправится и закрепится на правом берегу, тот без суеты получит Золотую Звездочку. Заманчиво, верно? Наша батарея переправилась первой и зубами вгрызлась в правый берег. Танки наваливались на нас три дня, от батареи и от моего взвода осталось ноль целых, ноль десятых. Металлолом. Но на плацдарме закрепились. Шесть танков красиво горели ночью. Светло, хоть немецкую листовку читай.

– И что?

– Да ни хрена. Звездочка накрылась. Комбату дали «Отечественную», мне – «За отвагу». И остальным медалишки раскидали. Звездочки получили не мы, а те, кто пришел из тыла на плацдарм после нас. Мы в это время валялись в госпиталях.

– История понятная. А чем еще тебя обласкали, кроме «Отваги»?

– «Отечественной» и второй «Отвагой». Но чья-то Звездочка все-таки принадлежит мне... Она моя. Понял, Сашок? Летела ко мне на грудь, а попала на чужую.

– Какое это имеет значение? Все награды – лотерея, игра в двадцать одно. Не знал, что ли? Может, твоя Звездочка – жив остался.

– С кем живешь? Отец и мать живы?

– Отец умер от ран в госпиталях. Живу с матерью.

– Счастливый ты, Сашок.

– В каком же смысле?

– Есть мать. Я – один как перст. Отец умер в сорок первом, перед войной. Мать эвакуировалась, когда я был в армии. И вышла замуж в Ташкенте. Впрочем, особа она была легкомысленная. Все время вертела хвостом и портила отцу жизнь. И я для нее не существовал. Ну, хватит, пожалуй. Многое ясно. Последний вопрос, на который можешь не отвечать. Оружие привез с фронта?

Он спросил это с веселой мимолетностью, как если бы спрашивал о чем-либо очень обычном, и Александр не почувствовал тайного интереса в этом любопытстве, но в военкомате каждому демобилизованному настойчиво задавали такой же вопрос, поэтому он не ответил прямо.

– А почему это тебя интересует?

– Мне пришлось продать свой ГТ, – сказал Кирюшкин сожалеюще. – Когда возвращалась из Германии, на радостях пропили все вдрызг. На каком-то пристанционном рынке обменял игрушку на три бутылки самогона. Думал, не пригодится.

– Ну, меня, наверное, спасло то, что водку я не пью. А вообще-то артиллеристу пистолет ни к чему. Хватит и орудия. В разведке без пистолета, как без рук. В поиск я с собой брал два пистолета. Два и привез. Один сдал.

– А второй?

– Выбросил.

– Сглупил вдвойне.

– Выбросил, но представь – не совсем, – пошутил Алек-

сандр и почему-то провел пальцами по металлическим пуговицам застегнутого кителя, задержал руку на боку. – Хотя знаю о приказе сдать оружие – огнестрельное и холодное.

– Наверно, с собой носишь? – с ласковой усмешкой догадался Кирюшкин. – За задницу хватаешься – значит, рефлекс.

– Догадливый ты, как еж калужский. А если так?

– Комментариев не требуется. Зайдем-ка сюда. Ребят догоним.

– Куда зайдем?

– Видишь разбомбленную школу?

– Вижу и знаю. Пятьсот двадцатая, средняя. Здесь учился, представь.

– Здесь? Интересно, а живешь где?

– На Первом Монетчиковском. Ну а ты?

– Малая Татарская. Похоже – соседи. Совсем прекрасно.

Пошли-ка, пошли. На пять минут зайдем.

Здание школы находилось в липовом парке, очень поредевшем за войну, среди травы вблизи тротуара торчали пни спиленных деревьев. За этими пнями, меж оставшихся обгорелых лип стояли закопченным углом сохранившиеся стены пятьсот двадцатой школы, когда-то богатого купеческого особняка с огромными, отделанными мрамором каминными в светлых комнатах, с венецианскими зеркалами, с амурами, летящими по лепным потолкам, на которых летом таинственно и игриво зыбились после дождя солнечные блики,



а зимой холодно розовел ранний закат, пробиваясь сквозь заснеженные навесы липовых аллей.

– Здесь, ясно, бомбили фрицы, метили в МОГЭС, – сказал Кирюшкин, идя впереди по тропке к разрушенному зданию, откуда тянуло знойной травой, горьковатым запахом запустения, обгорелого кирпича, тем душным мертвенным запахом, который был хорошо знаком Александру в сожженных городах.

– Бомбили, но МОГЭС не достали, – Кирюшкин обернулся, и глаза его зло сузились. – Жалко Овчинниковские бани и школу. Прямое попадание. Кстати, в этой школе учился и я. До сорокового года. Десятый кончил в пятьсот двадцать второй. Знаешь, возле Зацепы?

– Что-то я тебя не помню.

– И я тебя. Другие были времена. Другие песни.

Въевшиеся здесь запахи войны не заглушали московского лета, июльской жары, в парке царствовала зеленая тишина, неподвижность, на траве лежали пятнистые тени. На улице, выпаленной добела солнцем, не было ни одного прохожего, и Александр вспомнил какой-то далекий перезрелый солнцем день после экзаменов в школе, галдеж голосов, шумную толкотню на аллеях, кое-где прислоненные к стволам велосипеды, азартную «жестку», игру в «расшибалку», когда тяжелый, заплесневелый пятак, образца двадцатых годов, сделав в воздухе траекторию, сбивает с черты пирамидку мелких монет, разбрасывая их вблизи нарисованного на еще сы-

роватой весенней земле квадрата, и звук ударяющего пятака о монеты смешивается с упруго звонкими ударами мяча в конце парка, где среди деревьев на волейбольной площадке мелькали белые майки.

– Зайдем сюда, Сашок. В родной угол.

– Не понимаю – зачем? – нахмурился Александр.

– Дрейфишь ты, что ли?

И Кирюшкин начал спускаться по узкой, полуразрушенной кирпичной лестнице под возвышающейся стеной с зияющей синевой неба в проемах окон, остановился внизу перед заржавленной железной дверью, разгреб ногой осколки кирпичей, куски цемента и со скрежетом приоткрыл дверь.

Александр с досадой спросил:

– Дворницкий склад хочешь мне показать? На кой он нужен?

– Входи, входи.

Солнечный свет падал из открытых дверей в проем стены, и весь подвал серел в полутьме, как бы сквозь застывшую в воздухе гарь, был наполовину завален грудями обугленных кирпичей, исковерканными столами, изуродованными партами, смятыми в лепешку ведрами, запахло сыростью, душной пылью, нечистотами, и Кирюшкин брезгливо выругался:

– Какая-то мокрица нагадила. Увидел бы, мордой бы извозил в дерьме. – И, сплюнув, подошел к школьному столу, покрытому толстым слоем пыли, поднял с пола ржавую банку из-под американской тушенки, установил ее на столе, за-

тем отошел к Александру. Тот задержался у двери, оглядывая подвал не без любопытства.

– Так ты это хотел мне показать? Здесь ясно и так: упала, наверно, полутонная.

– Смотри сюда, – невозмутимо перебил Кирюшкин и моргнул в направлении консервной банки на столе. – Цель видишь?

– Цель? Банку?

– Не фриц же там стоит, – засмеялся Кирюшкин. – Стрелять не разучился? Можешь попробовать? – И закрыл за спиной Александра звякнувшую железом дверь. – Тут глухо, как в танке. Снаружи ничего не слышно. Ну, попробуй, Сашок. А то, может, пушечка заржавела и глаз не тот, а?

– Пожалуй, разозлить меня хочешь?

– А может, и хочу.

– Не вижу смысла. За три года я устал от злости. Злость теперь – бесполезное дело.

Александр медлительно вынул из заднего кармана ТТ, плоский, теплый, подержал его на ладони, ощущая его привычную, какую-то опасную тяжесть, бегло взглянул на Кирюшкина, затем на консервную банку, не торопясь прицелился и выстрелил. Со звоном банка покатила по кирпичам, знобяще запахло порохом. Кирюшкин, дрогнув ноздрями, выговорил:

– А пушечка-то у тебя работает. – И поднял банку, разглядывая пробоину, договорил: – В общем – нормально. –

Он повертел в пальцах банку, снова поставил ее на стол, внезапно, с жадностью в лице шагнул к Александру. – Дай-ка я попробую. Давно я не баловался этой игрушкой.

– Пробуй.

Кирюшкин сжал пистолет заметно напрягшейся рукой, тоже не спеша выстрелил, и сразу же с недовольством кинул ТТ Александру, поймавшему его на лету. Консервная банка по-прежнему торчала на столе зазубренными краями жести.

– Так и знал, – сквозь зубы проговорил Кирюшкин. – Если не попадаешь с первого выстрела – дело швах! Пистолет не моя стихия.

И в ту же минуту он сделал резкий жест, что-то коротко сверкнуло белой искрой, скользнуло в воздухе и вонзилось в край стола, подрагивая костяной рукояткой. Это была та изящная хромированная финочка, которой поигрывал в пивной Кирюшкин.

– Вот это – мое, – сказал он, выдернул финку из дерева, вытер лезвие полый своего щегольского пиджака и спрятал ее в металлический футляр на ремне под пиджаком.

– Тоже неплохо, – похвалил Александр. – Как в кино. Трофейный, американский фильм о ковбоях, взятый в поверженном Берлине. Только зачем?

– Что «зачем»?

– Финка.

– А пушка тебе зачем?

– Привычка. Да и веселее с пушкой ходить ночью по

Москве. Чем черт не шутит.

– Он шутит иногда напрапалую, – согласился Кирюшкин, – так вот, чтоб он не шутил, финочка нужна и мне. Впрочем – финочка почти игрушечная.

– Когда как. Теперь скажи: для чего мы совершили с тобой экскурсию по следам бомбежки? Может, заинтересовал мой ТТ? С какой стати? Продать – не продам, даже если не будет ни копыя. Подарить ради знакомства – не подарю. Так что...

Кирюшкин дружески похлопал Александра по плечу.

– Так что хотел посмотреть, как бьешь из шпалера. Имеющий глаза да увидит. Словам не верю.

Александр отвел плечо из-под руки Кирюшкина.

– Ты мне аплодисменты на спине не устраивай. Скажи точно: зачем тебе это нужно?

– Все, Сашок. Пошли к Логачеву. Глянешь на его голубятню. Логачев знаменит на всю Москву кувыркунистами, ленточными и черными монахами.

– Кувыркунистами?

– До войны их называли турманами.

– Хочу посмотреть. Я ведь тоже бывший голубятник.

\* \* \*

Как многие замоскворецкие ребята, до войны он водил голубей, устроив в сарае примитивный чердак, гнезда для высидывающих яйца голубок, приполк с нагулом, обтяну-

тым сеткой.

Широкая тень от липы, росшей у глухой стены соседнего дома, испещряла в жаркие дни пятнами и островами крышу сарая, половину заднего двора, в душном запахе листвы и теплого толя стонали изнемогающие в любовной истоме голуби, звали голубок, а они, серебрясь грудками, равнодушно поклевывали коноплю на приполке, и солнечные стрелы скользили по их гордым головкам с аккуратными прическами хохолков. И как возбуждал, как радовал его шум и треск, метельное мелькание крыльев над двором, когда махалом он подымал своих любимцев из тишины беспечного рая, завидев «чужого» в летней синеве за куполами Вишняковской церкви, как азартно было видеть присоединение «чужого» к стае, которая кругами ходила, сверкая белизной в эмалевой глубине неба и как, играя, яркие турманы один за одним будто спотыкались в воздухе, «садились на хвост» и начинали падать вниз, подобно воздушным акробатам, падение их переходило в озорные кувырки, стая снижалась следом за ними, потом наконец с шумом, хлопаньем, с ветром садилась на толевую крышу, и он в охотничьем нетерпении искал глазами чужого, и снизу подкидывал жареную коноплю на приполлок нагула, издавая нежный призывный звук, знакомый всем голубятникам: «Кш, кш, кш» – и даже сбивалось дыхание от горячего желания заманить в нагул чужака, затем пойманного приучить к голубятне, увеличить свою стаю, испытывая особое тщеславное чувство. Вид домашних голубей волно-

вал его даже на войне, но видел он их только два раза на брошенных хозяевами фольварках в Восточной Пруссии.

Он демобилизовался в декабре сорок шестого года и в первый же вечер, придя за дровами в сарай, поразился разгрому и запустению – нагул с сеткой был, видимо, кем-то похищен, приполок безобразно сломан, от гнезд не оставалось и следа, лишь коряво обросшие зеленоватым инеем поленья осклизло блеснули при жидком свете зажигалки да почему-то почудился в холодном воздухе горький запах голу-биных перьев.

\* \* \*

Голубятня Логачева мало чем напоминала довоенную голубятню Александра – здесь чувствовалась зажиточность хозяина, нестесненность в деньгах, удобство и широта в своем деле (а Логачев явно был профессионалом), сарай был большой, двухэтажный, стены первого этажа мастерски обиты вагонкой, вделанные в стены полати застелены солдатскими одеялами, посередине вкопан в земляной пол однотумбовый стол, вокруг тоже вкопаны скамьи с решетчатыми, несколько кокетливыми спинками; лестница на второй этаж – все было оборудовано с любовью и прочно. На втором этаже располагалось царство голубей самых изысканных редких пород, баснословно дорогих – «николаевских», «ленточных», «палевых», «красных монахов», «дутьшей»,

«курносых мраморных»... – царство голубиной аристократии, недостижимой для безнадежных владельцев скромных «чиграшей», «рябых», «пегих» и «сорок».

Как только Александр вместе с Кирюшкиным вошел в голубятню и тут же поднялся по лестнице, чтобы посмотреть устройство голубиного дома, он хорошо понял, что владелец его не любитель ловить «залапанных чужих», а обладает несметным богатством, и странное щекотное чувство еще полностью не забытой страсти заставило его улыбнуться Логачеву.

– В первый раз вижу такую коллекцию. Здорово! Долго ты собирал красавцев?

– Всю жизнь, – вяло ответил Логачев, и прокуренные усы его неожиданно ошетинились. – А ты чего лыбишься? Своих увидел?

– Своих я распродал до войны. Да у меня таких и не было. – Александр снова улыбнулся, восхищенный слитным воркованием, заполнившим весь второй этаж. – Да, букет ты собрал золотой, Гриша. Не ошибся именем?

– Я тебе пока еще не Гриша! Спрашиваю, чего лыбишься? – повторил вспыльчиво Логачев, и его крошечные, как дробинки, глазки подозрительно засветились.

– Нельзя? Штрэнк ферботен? – пожал плечами Александр. – Повесил бы для ясности объявление: «Улыбки запрещаются. За нарушение – в морду».

– Не шуткуй надо мной, я не люблю, – предупредил угро-



жающе Логачев. – Голубятня – храм, а не забегаловка. Особенно для чужих. Здесь молиться надо, а не щериться.

«Нет, Логачев не такой добряк, как показался в забегаловке».

– Пошел к черту, – беззлобно сказал Александр.

– Схлопочешь промеж глаз. Ежели еще выкнешь про черта, сознание на пять минут выключу.

– Что ж, отключай рубильник, – Александр засмеялся. – Посмотрю, как ты это сделаешь. Только не сердись, если я тебя выключу на десять.

– Ну, хватит, хватит пылить без толку! – слышался бодро-властный голос Кирюшкина. – Не для того я привел Сашку, чтобы мы пыль из ковров выбивали. Садись к столу!

И он подвел Александра к столу, где сидели уже знакомые по забегаловке парни – молчаливый гигант «боксер», длинноволосый остроносенький «монах» и незнакомый, совершенно без шеи, круглый человек в поношенном тельнике, капитанской фуражке, его словно ошпаренное обрюзгшее лицо было иссечено лиловыми жилками, как это бывает у пьющих людей; возле его ног в прохладе пола дремала черноухая дворняжка, она то и дело, не открывая глаз, наугад кляцала зубами, отгоняя назойливых мух. Парни с аппетитом ели красную смородину, холмом наваленную на стол из огромного газетного кулька, моряк же опасно отщипывал по ягодке от кисточки, бросал в рот и, пожевав, всякий раз с отвращением кричал.

– Эй, капитан, а ты, похоже, лягушек или тараканов глотаешь, – мимоходом сказал Кирюшкин, садясь рядом с Александром и выбирая в рдеющем холме кисточку с переспелыми ягодами. – Выпить небось хочешь? Башка как колокол, а во рту стадо ослов ночевало? Надо было прийти к Ираиде.

Грубое лицо капитана приняло жалкое выражение.

– Аркаша, одолжи, дай на полторашку, не то башка лопнет, – забормотал он, и бесцветные глаза его заслезились. – Нам на Северном флоте каждый день – норму, а тут – на мели я...

– Сопьешься ты, Леня, закладываешь без меры, – заметил Кирюшкин неодобрительно и достал несколько купюр из заднего кармана. – Возьми на память. Наследство получишь, бутылку «Жигулевского» поставишь.

Моряк, оживляясь, взял деньги, рванулся с места всем телом, похожим на бочку, выплюнул недожеванную смородину в распахнутые двери сарая и, ритмично потрясая бумажками перед ухом, скомандовал:

– А ну, Шкалик, покажи народу, как барыня танцует! – И заиграл толстыми губами: – А дю дюшки, адю-дю... Ай, барыня, барыня, сударыня-барыня!..

Шкалик послушно вскочил на задние лапы и, весело глядя на помидорообразное лицо хозяина, шлепающего губами, заходил вокруг стола, повесив лапы перед грудью, махая хвостом по полу.

– Молодчага! – похвалил моряк и сделал жест, изобража-

ющий аплодисменты. – А теперь покажи, как пьяный валяется.

Шкалик с удивительной покорностью закончил танец, повалился на бок, полежал немного, повернулся, лег на спину, помотал лапами и замер.

– Молодец! – опять похвалил моряк, тщательно пряча деньги. – Кусок колбасы заслужил сполна. Вставай, держи курс к Ираиде.

– Ты, Митя, только сам себя не изобрази под забором, – посоветовал Кирюшкин добродушно.

Моряк лихо сдвинул капитанку на затылок, поднес руку к козырьку.

– Я – как штык. Северная закалка. Вверх килем лежат под забором салаги.

Он свистнул Шкалику и вразвалку, как раскачивающийся шар, двинулся по белому от зноя двору, вдогонку за ним побежал, высунув язык, Шкалик.

За столом продолжали есть смородину, пот стекал с лиц, в сарае не было прохлады, и от жары, от размеренности никому не хотелось говорить, только на втором этаже ворковали, постанывали голуби, изредка постукивали коготки по потолку, иногда слышалось шарканье крыльев, видимо, летающих с гнезд голубок. В духоте сладко пахло жареной коноплей, теплым, почти горячим пером – знакомые запахи обжитой голубятни. Но были, в общем-то, не знакомы эти молодые парни, чем-то похожие и чем то непохожие на него,

Александра, с которыми произошло неожиданное объединение в забегаловке, как будто их одинаково связывала, быть может, страсть к голубям, прерванная войной и вот вновь возникшая? Это было не совсем так. Александр уже не испытывал того прежнего чувства от этих голубиных звуков и запахов, оставалось лишь неповторимо далекое отражение детского увлечения, к чему он вряд ли мог вернуться сейчас. Но что-то все-таки сохранялось в нем, звенело успокоительно-милым колокольчиком воспоминаний.

– Да, голубятня замечательная, – сказал Александр, поглядывая на потолок, где постукивали бегущие коготки, потрескивали крылья, происходила любовная голубиная возня после призывного воркования. – И у вас все в порядке, все нормально, ни разу голубей не лямзили?

Все перестали есть. Все посмотрели на него зорко и подозрительно, а в желтых дробинках глаз Логачева злой искоркой промелькнуло: это что за вопрос?

«Боксер», уловив взгляд Логачева, провел по своей колючей, как стерня, стриженной голове и напряженно приставил к контуженному уху клешню-руку, чтобы лучше расслышать.

Длинноволосый с виноватым лицом повернулся к Логачеву, точно молитвенно утешая его, пропел шепотом:

– Ради Бога...

Логачев передернул ноздрями, отчего редкие коричневые усы его стали колючими.

– Для чего ты, хрен с утюгом, речи такие завел? – спросил

он хрипло. – Вон, гляди на дверь, жах твою жабу, все железом обито, засовы стальные, сверху ломик на стальной проволоке. Даже если дверь откроют, ломик – по черепушке – и венец с музыкой! Чего ты у нас болтаешь, жах твою жабу? Зачем ты его привел, Аркашка? В забегаловке понравился он мне, вроде свой, а тут глазами зыркает во все углы, как лягаш купленный! Кто он такой?

И Александр не сдержался.

– Слушай, щетинистый, об тебя наверняка спички зажигают! Что ты ко мне пиявкой присосался? На кой дьявол мне твоя голубятня? Ты что – чокнутый или дуростью по голове ударенный? Ни мата, ни водки не люблю! И не терплю многовековое хамство! Контуженных только прощаю! Сам после Курской дуги три месяца заикался. Драться мне с тобой неинтересно. Ну, неинтересно – и все! Парень ты, видать, в силе, но я встречал разных, уверяю тебя! Поэтому давай разойдемся. Спасибо, ребята, за угощение. Пока. Привет. Может быть, и увидимся, если судьба сведет.

И, стараясь смягчить мгновенную вспышку взаимного неприятия, договорил:

– Пожалуй, квиты. Будь здоров, Логачев, король голубятников. – И не спеша пошел к дверн, зная по себе простую истину, распространенную людскую болезнь – нелюбовь, неприязнь, подозрительность к незнакомцу лечить не надо: в разведке притиралось то, что притиралось, коли была в этом надобность.

– Чего он сказал? – насторожился «боксер» и завертел стриженной головой. – Никак он на тебя попер, Гришуня?

– Ша, Твердохлебов, не дергайся, – сказал Кирюшкин.

Он сидел за столом и веточкой смородины тихонько водил по щеке, думая о чем-то.

– Стоп, Сашок, побудь. Напылить успеем, – добавил он примирительно и сейчас же моргнул длинноволосому: – Скажи, Эльдар, что-нибудь для души.

– «И сказал фараон...» – проговорил напевно Эльдар и коснулся ладонями щек, точно умываясь. – «Господи, дай мне остановиться...»

– Что это значит? – не понял Александр.

– «И сказал фараон»?.. Пятидесятый стих сорок третьей главы Корана, – завывающим речитативом ответил Эльдар и возвел светлые безгрешные глаза к потолку. – О, слава пророку, да пребудет благословенный мир над ним.

– Откуда ты такое знаешь? Ты татарин?

Эльдар ответил миролюбиво:

– Думаю, так. Отец татарин, мать русская. Наполовину мусульманин, наполовину православный. Изгнан из Московского университета и вышиблен из комсомола за религиозную пропаганду.

– За что?

– За проповеди по Корану и Библии.

– Черт знает что за чудеса! – сказал Александр. – Проповеди? Где ты их читал?

– Несколько раз собирались в аудитории. Затем последовал поцелуй Иуды. Но... не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором, и не бойтесь того, что он боится, и не страшитесь.

– А это?.. Проповедь твоя?

– Нет. Библия. Апостол Исая, глава восьмая. И к этому из Корана: «Есть ведь над вами хранители...» – проговорил живым тенорком Эльдар и вновь ладонями коснулся щек. – «О люди, нуждается вы в Господе». Часть шестнадцатого стиха тридцать пятой главы Корана.

– С ума сойти, – поразился Александр. – Не то в церквушку, не то в мечеть попал. А почему волосы такие длинные? Тоже по Корану?

– Длинные волосы носили «сейды», потомки пророка Мухаммеда.

– Память потрясающая! Честное слово, таких, как ты, не встречал. И Коран наизусть шпаришь? И Библию? Зачем?

– Ты был на войне и знаешь. Человек зол до умопомрачения, – сказал Эльдар, глядя на свои маленькие, почти женские по форме руки, но корявые и грязные от какой-то физической работы. – Хочу знать, кто и что есть начало всех начал? Сочти всех безумцев в России и в мире. Их счастье невозможно. Можно пересчитать разумных и праведных. Их всего несколько человек.

– А себя относишь к кому?

– К козлам, а не агнцам, – пробормотал Эльдар. – Нужда

склоняет и к постыдным делам.

– А интересно, кто они? Праведники? Агнцы? – Александр взглядом описал круг, вбирая в него присутствующих в сарае. – И о себе, конечно, спрашиваю, хоть ты меня не знаешь.

– Все неправедники. Козлиц – океан, агнцев – капли.

– Почему?

– Для чего, Саша, спрашивать? – перебил Кирюшкин. – Морда у всех в пушку. У некоторых в такой перине – глаз не видать. И у тебя пушочек заметен.

– Не думаю.

– Ну, ну! На войне был? Стрелял? Значит, убивал? И правильно делал! – Кирюшкин стукнул кулаком по краю стола. – А всех козлиц, которые, как агнцы, отсиделись в тылу и наедали здесь задницы, расстреливал бы без трибунала, как трусов и предателей.

– Верна-а! – загремел басом Твердохлебов, не отнимая ладонь от уха и прислушиваясь нацеленными глазами к словам Кирюшкина. – На дух тыловых грызунов не переносу! Мы еще с ними сведем баланс!

– Легки на помине, – сказал Кирюшкин с неудовольствием, как если бы все сразу надоело ему. – Идут Лесик и Амелин баланс подводить.

Александр сперва не понял, кто это легкие на помине Лесик и Амелин и что это за подведение баланса, но тут же увидел, что все смотрят через распахнутую дверь сарая во двор.



Небольшой задний двор, окруженный глухими кирпичными стенами дореволюционных купеческих домов, наполовину зарос муравой, покрытой тенью от высокого забора, за которым вкрадчиво позвякивал железом инструментальный склад, наполовину настолько был нажжен солнцем, что земля без травы казалась волнисто дрожащей в знойных испарениях.

Через пекло двора шли трое парней, как видно размо-  
ренные жарой; один, высокий, в гимнастерке, подпоясанной  
комсоставским ремнем, в гладких хромовых сапогах, обма-  
хивал пилоткой красивое, несколько даже утонченное по-де-  
вичьи лицо и негромко говорил что-то щупленькому в ков-  
бойке паренечку, бледному болезненной ровной бледностью,  
с каким-то рыбьим выражением губ и подбородка. Третий  
почти вприпрыжку поспевал за ними и еще издали резино-  
вой улыбкой растягивал рот от уха до уха, отчего большие  
его уши выделялись, как у летучей мыши.

– Здорово, братишки, – сказал слабым голосом щуплень-  
кий, подходя к сараю, и прислонился к косяку, засунув руки  
в карманы брюк. – Аркаш, выйди-ка на воздух, побалакать  
надо.

– Рукоплещите, граждане, появился Лесик со своими ре-  
бятушками, – проговорил Кирюшкин и вышел, без спешки,  
тоже задвинув руки в карманы, кивком поприветствовал Ле-  
сика. – Здорово, с чем пожаловал? Или мы чем-то тебе обя-  
заны, или ты чем-то обязан нам? Хочешь красной смороди-

ны?

– Интеллигентчину разводишь, – прошепелявил Лесик с неправильным ребячьим выговариванием, в котором не было ни угрозы, ни раздражения, а был безобидный дефект еще школьной речи, никем не исправленной. – Пустых слов болтаешь много, Аркаша. И грудь надуваешь вроде рубашку накрахмаленную.

– Зависть, – сказал невинно Кирюшкин.

– К кому?

– К тебе, Лесик. К твоим удачам. К твоей везучести.

– Ты вот как? Яду налил полный стакан? Не яд это, крысиная моча.

Лесик поднял белые глаза, и его лицо постаревшего мальчика, порочное лицо старичка и пухлого в щеках младенца, приняло острое рыбье выражение. Он вынул правую руку из кармана, протянул ее ладонью вверх, а ладонь эта, как заметил Александр, была маленькой, сухонькой, на вид цепкой.

– Клади девяносто шестую пробу, – приказал он своим ребячьим голосом, опять же без всякой угрозы, но каждая черточка его лица не сомневалась в том, что приказ его выполнят.

– Миром не хочешь?

Кирюшкин взглянул сбоку на красивого парня в хромо-вых сапогах, едва приметно подмигнул ему: «Здорово, Женя», – мельком глянул на ушастого весельчака, по-прежнему растягивающего рот во всю ширину лица: «Привет, Гоша», –

перевел узкие, как лезвие, глаза на протянутую ладонь Лесика, переспросил непонимающе:

– Неужто миром не хочешь? С войной пришел? Смысл в этом видишь?

– Девяносто шестую положи сюда, – повторил Лесик и внушительно пальцами пошевелил, – и войны не будет. Пакт. Если нет – блицкриг. И пожарную команду вызывать – на хрен. Останешься на уголечках. С обгорелыми перышками. Ясен спектакль этого дела?

Александрю не был ясен «спектакль» этого дела, но по тому, как за столом в сарае разом все напряглись, похоже было, наизготове к схватке или нападению, он понял смысл угрозы, касающейся не одного Кирюшкина, и сейчас же увидел его лицо, ставшее отрешенным и злым. Немного выждав, он сказал бесстрастно:

– Давай договоримся, Лесик. Почую запах уголечков – прищиплю к забору, как насекомое. И без свидетелей. – Он поочередно, с твердым блеском в глазах обвел парней Лесика и уже брезгливо договорил: – Лягашей и жадных не люблю. А ты жадноват стал, Лесик, не кумекаешь ли с кусками слинять из Москвы? В Киев или в Одессу куда-нибудь? Там есть роскошные голубятни. И замки не московские.

– Ложи, говорю, девяносто шестую, – повторил в третий раз Лесик, упорно держа руку ладонью вверх, и как будто не услышав ни единого слова Кирюшкина. – Превышаешь себя, Аркаша. Выше головы прыгаешь.

– Держи, – сказал Кирюшкин, извлекая из кармана массивный золотой портсигар, медлительно повертел его в пальцах, вздохнув притворно, и бросил его а стол в грудку красной смородины, отчего искорками брызнули капли сока. – Эта штука принадлежит им. Всем. Спроси их.

Все молчали. Никто за столом не двинулся с места. Только Эльдар взял портсигар, оторвал от кулька кусок газеты, обтер его и положил на край стола, произнес певучей скороговоркой:

– Се – товар наш... Часть шестьдесят пятого стиха двенадцатой главы Корана.

– Заткнись, татарин, горло порву, – вяло сказал Лесик, но его белые глаза искоса пронзили Эльдара угрожающим обещанием, и Александру подумалось: этот постаревший мальчик не умеет шутить.

Кирюшкин проговорил ровным голосом:

– Ты моих ребят, Лесик, не тронь, а то у них тоже с нервами бывает не в порядке. Так вот. Думаю, все, мило побеседовали. Положение ясное. Ничего менять не будем. Как там в песне поется? Что-то вроде такого: нам чужой земли не надо, но и своей ни пяди не отдадим. Вопросы ко мне есть? В устном или письменном виде, таким образом сейчас говорят товарищи лекторы.

Лесик скривил край рта, отчего дрогнула вся щека, как от тика.

– Хахочки не перевариваю, Аркаша. А вопрос мы с тобой

еще разберем. Покеда. Живи пока.

– Живи пока и ты.

– Буду, – Лесик снова дрогнул щекой, внезапно указал пальцем на Александра. – А это кто? Откуда человек?

– Не твое дело, – отрезал Кирюшкин.

– Живи, живи пока.

Лесик приподнял кепочку, старческое лицо его приобрело сонное выражение, и он повернул от двери сарая, лениво мотая клешами по земле.

Дружки его, не проронившие ни слова по причине уважения к авторитету, двинулись за ним. Лишь паренек, которого Кирюшкин назвал Гошей, обернулся с застывшей от уха до уха улыбкой, сделал круглые глаза и дурашливо выкрикнул:

– Сейчас бы к Ираиде и чекалдыкнуть! Начхать на все соплями. Я ленточного загнал! Ну, прямо плюнь – жизнь дребедень! Красавица голубка с носиком, как капелька! Почти косую за нее с любителя взял! – И маленькое льстивое лицо его задвигалось, заплясало от беззвучного смеха и мгновенно стало умоляющим. – Портсигарчик бы возвернул, Аркаша, и чекалдыкнули бы за это дело!

– К чему хохотаешь, как обезьяна? С гвоздя сорвался? – злобно крикнул Логачев. – От летучая мышь!

– Мотай, мотай, Малышев, – махнул рукой Кирюшкин. – А то Лесик восторг твой укоротит. Двигай лопатками! Баланс не состоялся. Доедай, ребята, смородину, – прибавил он, входя в сарай, и, словно бы ничего не произошло, обра-

тился к Александру: – А ты чего нахмурился, Сашок? Все в порядке вещей.

– Где мед, там и яд, где дым, там и огонь, – полусерьезно ответил Александр. – Слышал такое?

– Слышал другое. За смертный грех платят семь поколений потомков. Так в Библии, Эльдар?

– Любить врага своего – значит молиться за него. Но не борясь с врагом Христовой церкви, мы наносим ей вред во все времена. Так в Библии и похоже в Коране.

– Яс-сно, – протянул Александр. – А на ком смертный грех? На Лесике?

Никто не ответил ему.

Все молча сидели за столом, нехотя мяли во рту, посаживали ягоды, в раздумье поглядывали на массивный портсигар, выделяющийся золотым бугром, на котором проступала затейливая монограмма, усыпанная синими камнями. И это молчание в душной тишине, пропахшей жареной коноплей, мучительно страстное воркование голубей, их возня на потолке и в нагуле, и неуспокоенно-злобный вид, набухающие желваки на монгольских скулах Логачева, который механически жевал смородину (он, должно быть, матерился про себя и иногда свирепо сплевывал), и произошедший враждебный разговор между Лесиком и Кирюшкиным – все это уже действовало на Александра раздраженно, будто нежданно оказался среди людей, совсем чуждых ему, связанных не только логачевской голубятней, но и чем-то дру-

гим. И вместе с любопытством к этим не очень понятным парням появилось чувство неопределенной опасности, что бывало в разведке осенними ночами, в дождь и грязь, когда поиск шел наугад, без маломальских данных.

«Что за смертный грех? Чей? Почему я был искренен с Кирюшкиным? Знаю ли я его? Нет! Да какое мне дело до их портсигарных распрей!..»

– Общий привет, – сказал Александр, подымаясь из-за стола. – Вскользь познакомились. Авось увидимся в забега-ловке.

Кирюшкин проговорил с ироничной грустью:

– Кто может знать при слове «расставанье», какая нам разлука предстоит. Что ж, пошли, провожу.

И он подхватил портсигар со стола, сказал:

– Эта штука пока будет у меня, как в сейфе. Возражений нет?

– Какие тут возражения к реповой бабушке? – ответил Логачев, сурово насупясь. – Только совет бы мой послушал, Аркаша. Пушай ходит с тобой Мишка—«боксер». Лесик – волк, со спины, сволочь, нападает. И финкой в шею али в почки бьет. Убивец. Знаю. До войны он сидел. Да война спасла.

Кирюшкин в некоторой задумчивости откинул полу своего кремового американского пиджака, извлек из ножен финку, поиграл ею, как игрушкой.

– Это перышко тоже ничего, – сказал он и подмигнул

Александрю. – Но мы мокрыми делами не занимаемся, Сашок.

– Не всегда будет мрак там, где теперь он густеет, – вставил Эльдар, аккуратно выбирая кисточку смородины. – Волк меняет шкуру. А Лесик не меняет ни шкуру, ни душу. Замышляйте замыслы, но они рушатся, говорите слово, но оно не состоится, ибо с нами Бог!

– Во! Наговорил наш поп и мулла – вагон и маленькую тележку! – восторженно загремел грудным басом «боксер» Твердохлебов и ручищами поскреб затылок. – Люблю, когда Эльдарчик балабонит про святых. Ни бельмеса не поймешь, а красиво, навроде в книге. Одно слово – студент. Филосо-оф!

Застегивая длинный пиджак, оправляя его на своей худощавой фигуре (по жестам его можно было определить, как он ладно и ловко носил обмундирование), Кирюшкин сказал Эльдару добродушно:

– Длинные волосы я вижу, но философа не вижу. Бог к дуракам не спешит на помощь. Поэтому на Бога надейся, а сам не плошай. За мной, Мишук, не ходи, – посоветовал он Твердохлебову. – Нет ничего глупее холостых выстрелов и злорадного смеха противника. С Лесиком я готов встретиться где угодно. Ради интереса. Ну, двинем, Сашок. Провожу до угла. Мне на Татарскую!



Они шли по выжженной солнцем пустынной улице в тени лип. Кирюшкин молча курил. Александр сказал:

– Не имею права лезть в ваши дела, но...

– Но? – перебил Кирюшкин. – Твое «но» мне понятно. Хочешь сказать, что столкнулся с уголовниками? С ворьем? Так?

– Так или почти.

– Продолжай.

– Откровенно – этот Лесик мне противен со своей обезьяньей лапкой: «ложи девяносто шестую». И глаза пустые, белые. Он воевал?

– В Сталинград мы с ним ехали в одном эшелоне. Из Тамбовских лесов, где формировалась Вторая гвардейская армия Малиновского.

– Это с ним связывает? Он угрожал сегодня тебе. И всей вашей голубятне.

– Меня с ним связывает крепкий сук на такой вот липе, – Кирюшкин показал вверх, на пронизанную горячим солнцем листву, поникшую от жары. – Я бы его вздернул за милую душу, да только не хочется получать раньше времени срок. Но для него день придет.

– За что бы ты его вздернул?

– За то, что сволочь и убийца. За то, что в сорок втором го-

ду, когда ехали в эшелоне в Сталинград, он добровольно вызвался расстрелять своего друга – якобы за мародерство, за ограбление погребца на одной станции – сало, самогон, огурцы и прочая чепуха. Знаешь, что такое показательный расстрел перед фронтом? Так вот, вызвался он. Чтобы замести следы. Потому что погреб очищали вместе с этим дружком.

– Что же вы его не прихлопнули на фронте?

– Начальник штаба полка взял его в ординарцы. Умел доставать водку и жратву в любых обстоятельствах.

– А как в Москве встретились?

– Из одного военкомата призывали. Он живет на Зацепе, а я – на Малой Татарской. Соседи. Многих ребят из Замоскворечья послали в лагеря под Тамбов. С фронта он вернулся раньше нас.

– Больше он меня не интересуется. Все, Аркадий. Я домой. Как говорится, боевой привет.

– Подожди. Телефон есть?

– Общий. В коридоре.

– У меня свой. Дай-ка я запишу твой номерок.

## Глава третья

Этот деревянный двухэтажный домик в Монетчиковом переулке летом был едва видим в глубине двора, густо затененного дореволюционными липами, сквозь ветви которых посверкивали стекла; осенью засыпался листвой, весь переполненный сухим шуршанием, запахом прели; зимой, глухо занесенный сугробами, засвистанный метелями, тоже едва виднелся в снежном дыму, сносимом с крыши; весной же стоял в розовых на закате сосульках, выросших на карнизах, на водосточных трубах, тогда стучала, звенела мартовская капель, гудели в поднебесье теплые западные ветры, сияла дневная синева с облаками и нескончаемым солнцем. Замоскворецкий домик этот во дворе снился ему на фронте не раз и почему-то снился с его уютной теплотой двух маленьких смежных комнат, обогретых кафельными голландками, где в сумерках краснели огоньки в поддувалах, отражались в пожелтевшем зеркале трюмо, рядом со старым буфетом, на котором целыми днями дремала ленивая Мурка, снился кабинет отца, с обширным книжным шкафом, диваном и письменным столом возле низкого окна, задернутого тюлевой занавеской, а она всегда игриво моталась на летнем сквознячке и цеплялась за ветви под окном.

В первый день своего возвращения Александр, глотая комок в горле, ходил по этим ставшим крошечными комнатам,

где он теперь чувствовал себя великаном, узнавал их и не узнавал; не было старого купеческого буфета, гордости матери, купленного отцом в годы нэпа, буфет был продан Анной Павловной в голодный сорок второй год, на месте буфета висели самодельные кухонные полочки для посуды. В кабинете отца не было на окнах любимых матерью тюлевых занавесок, так таинственно играющих с ветерком в довоенные летние дни, только книжный шкаф, хоть и зиял провалами опустошений, все-таки по-прежнему успокаивающе отсвечивал корешками книг, в беспечные годы покупаемых отцом в каждую полочку у замоскворецких букинистов.

Эти комнатки представлялись ему за тысячи километров от дома, там, где по ночам сны не приходили, а скользили в сознании зыбкие тени прошлого. И лишь в госпитале он так мучительно сладко, так ясно видел их во сне: то утренние, тепло освещенные воскресным солнцем, когда весело звучал голос матери и пахло горячей, только что поджаренной яичницей, принесенной на сковородке из кухни, то вечерние, зимние, с искрящимися крупной солью заиндевелыми окнами от света зеленого абажура над столом, – то жарко протопленная на ночь комната отца, где низкой луной, застилаемой дымком папиросы, горела настольная лампа возле дивана, мягко шелестели страницы (лежа на диване, отец читал), то летние, насквозь солнечно-светлые, с июльскими сквозняками – они гуляли из комнаты в комнату, через настежь раскрытые двери.

Тогда, в госпитальных этих снах обогревали, ютились тишина, радость, покой, и он просыпался со сдавленным слезами горлом, с чувством утраты чего-то навсегда счастливо-го, что было в его жизни.

В первый день возвращения он почувствовал удовлетворение наконец свершившегося, но не испытал того счастья, которое годами ждал. Что-то случилось непоправимое. Мать он застал постаревшей, больной, слабенькой и еле узнал ее. В ней не было того прежнего, молодого, что заставляло его гордиться ею: ее живым блеском карих глаз, когда она смеялась, ее особенно белыми зубами, ее почти девической шеей с пленительной восточной цепочкой, подаренной отцом, ее задорным голосом, который тихонько напеваемой иногда песенкой напоминал о какой-то безмерно молодой поре ее и отца в Средней Азии, где они встретились, жили несколько незабываемых лет в беспечной влюбленности: «Ночь над Ташкентом спустилась, всюду погасли огни, я по тебе стосковалась, где ж ты, мой миленький, был...»

И Александр, вспоминая слова эти, представлял отца, еще носившего военную форму после окончания войны с басмачеством, крепкоплечего, загорелого, с длинной рябинкой на щеке (след басмаческой пули), всякий раз смущенно улыбающегося, как только пахнувший сладкой ташкентской пылью он переступал порог, а мать подходила к нему гладко причесанная, как девочка, склоняла голову то вправо, то влево, не без ласковой иронии разглядывала его, потом указательным

пальцем нажимала ему на грудь и приказывала: «Пошли к рукомойнику».

Рукомойник был прибит к стволу карагача во дворе неподалеку от глинобитного дувала, за которым над плоскими крышами, в тополях улицы золотилось, разбрасывалось веерами закатное солнце, и горлинки нежно стонали в пылающих пожаром ветвях, провожая накаленный день, встречая прохладу вечера, быстро переходящего в ночь. И кое-где во дворе зажигались огни в окнах.

А отец плескался, фыркал под карагачем, гремел носиком рукомойника, азартно кричал, и свежесть, здоровье, веселая сила исходили от этого плеска воды, от этих звуков, от того, что мать, смеясь, стояла рядом с полотенцем и озорно похлопывала его по спине, говоря: «Купанье молодого бегемота в озере Чад. Вуа-ля ту» (все).

Мать кончила Оренбургскую гимназию, прилично знала французский язык, порой по вечерам читала сохраненную до сих пор подшивку дореволюционного «Мё журналы», но только, пожалуй, в шутку употребляла отдельные слова, знакомые и отцу, и Александру.

В начале тридцатых годов отца перевели в Армавир, главным инженером маслобойного завода, затем через год в Москву на должность директора техникума.

Он хотел сегодня продать на Дубининском рынке великолепный немецкий компас, сияющий стеклом, как начищенное зеркало, с широким ремешком, с такими чутко вибриру-

ющими черно-красными стрелками, что глаз от них нельзя было оторвать. Но компас вертели в грязных пальцах со срезанными до основания ногтями какие-то подстриженные челочкой прыщавые пацаны, глазели пустыми глазами карманников на стрелки, на небо, определяя, вероятно, где находится этот север, и Александр бесцеремонно вырывал компас из их рук, ругаясь сквозь зубы: «Проваливай, хватит».

Он не продал компас, не купил на вырученные деньги буханку хлеба (батон белого), как надеялся, и, войдя в комнату, где мать лежала на кровати, полузагороженной шифоньером, сказал виновато:

– Как вы чувствуете себя, мама?

– Перестань, Сашенька, – отозвалась она тихо и протяжно. – Ты опять меня на «вы». Неужели ты отвык от меня?.. Я прекрасно себя чувствую. Ну а что у тебя?

Он не мог бы точно объяснить себе, почему он обращался к матери на «вы», почему он стеснялся ее: быть может, действительно отвык за эти годы или неловко было от своей грубоватой силы, корявых, не раз обмораживаемых в разведке рук, обмороженных щек, имеющих лиловатый оттенок, который раздражал его по утрам в минуты бритья. Его раздражал в зеркале и собственный взгляд вблизи, взгляд будто чужого, незнакомого человека, прямой, твердый, насмешливый, готовый к мгновенному сопротивлению. Его смущал свой резковатый голос и, разговаривая с матерью, он снижал его до неестественного звучания и краснел от неловко-

сти, замечая, как мать порой разглядывала его мягкими карими глазами, некогда так молодо и ярко блестящими. Ему мнилось, что она искала в нем что-то напоминающее отца и, найдя родственное сходство или не найдя, отворачивалась, вздыхала неслышно.

– Завтра у меня будут деньги, мама, – сказал Александр негромко и снял китель, повесил на вешалку возле двери. – Есть не хочу, перекусил с фронтовыми ребятами в забегаловке.

– И немножечко согрешил? Да? Я вижу по глазам. Они у тебя не лгут.

– Чуть-чуть, мама, выпили. Когда мы встречаемся – не обходится.

– Ты не боишься втянуться, Саша? Да нет, нет. Я вас понимаю. Слава Богу, остались живы в эту страшную войну.

Она лежала на боку, подложив ладонь под щеку, седеющие волосы убраны в пучок сзади, лицо бледное, грустное, а тихий голос ее пытался, вероятно, успокоить, ободрить его. И ему стало немного не по себе от того, что не он, здоровый, изготовленный ко всему, парень, успокаивает мать, а она согласием и непротивлением вносит покой в их общение.

Прежний молодой задор матери, искрящийся при жизни отца, тлел слабыми угольками только в кроткой улыбке, но непротивление ее перед жизнью было даже неприятно Александру, как безвольность и незащитность, раньше всегда чуждые ей.



В день своего возвращения он не выказывал матери недовольство, но был удивлен тем, что в смежную комнату она позволила поселиться давнему другу отца Исаю Егоровичу, человеку странному, одинокому, разведенному еще до войны, инженеру, работающему на радиоламповом заводе. Александр недолюбливал его. Мать объясняла это временное заселение разбомбленным жильем Исаия Егоровича (бомба попала в район Овчинниковских бань, и соседний дом на набережной треснул, полуразрушился по высоте всех четырех этажей, жить в нем было невозможно), его полной растерянностью и вместе той помощью, которую он оказывал ей в тяжкие дни смерти и похорон отца.

– Исай Егорович там? – спросил Александр и, не постукав, толкнул дверь во вторую комнату. – Исай Егорович, – сказал он с ернической вежливостью. – Что-то не слышно вашего романа «Утро туманное, утро седое»? Думал, вас нет.

– Саша, ты бы постучал, – с упреком сказала мать. – Все-таки неудобно.

– Я у себя дома, мама.

Он вошел в комнату отца, вроде бы теперь чужую, напоминающую то ли склад, то ли барахолку, заваленную связанными кипами книг, узлами с одеждой, какими-то коробками, старыми приемниками, инструментами, ящичками с винтиками, тонкой разноцветной проволокой, серебристыми лампочками, – и посреди этого развала стоял босиком, расставив длинные волосатые ноги, Исай Егорович, смотрел в пол,

обеими руками взлохмачивал волосы и бормотал:

– Пёс меня возьми со всеми моими потрохами, если я помню, куда я вчера положил отвертку. Здравствуйте, Саша, вы сегодня прекрасно выглядите, – добавил он рассеянно, не взглянув на Александра, и принялся копаться, перебирать инструменты в коробке, почесывая ногой ногу. – Без этой отвертки я погиб...

– Вы, по-моему, в трусах, насколько я понимаю, – сказал Александр, с насмешливым изумлением оглядывая жердеобразную фигуру Исая Егоровича в болтающихся на худых коленях широченных трусах, – прошу в таком виде не щеголять перед мамой, не выходить в другую комнату. Это, кажется, в рамках приличия. А вы подвержены какой-то чудовищной моде. По-моему, трусы на вас кожаные.

– Ах, что вы, Саша, – испуганно забормотал Исая Егорович. – Да разве я смогу? Нет, Саша, нет. Я когда выхожу, брюки, брюки, простите, надеваю, и галстук, галстук. Это шорты немецкие, летние шорты... Или австралийские, шут их разберет... Сглупил по случаю жары, вчера купил на Тишинке, удобно для работы все-таки, простите, в этокое каракумство. Да и вот совсем дешево допотопный немецкий приемник выторговал у демобилизованного лейтенанта. Представьте себе, знаменитая фирма – «Те-ле-функен». Доведем до кондиции, будем по вечерам слушать Берлин. Так-с!

Он вытащил босые ноги из хлама на полу, потряс ими, как это делает опрятный кот, и зашлепал неуклюжими ступня-

ми к письменному столу, где в окружении разных металлических деталей прочно стоял громоздкий приемник, из таинственной, развороченной глубины которого торчали и вились тонкие проводки. Исай Егорович похлопал по отполированной крышке приемника, склонил над ним голову, от чего прямые вороненные волосы его, как два крыла разъехались вправо и влево, образуя пробор, воскликнул со злорадным торжеством победителя:

– Он нам еще поработает, немецкий интеграл! Работал на немцев, теперь и нам послужит!

Александр безразлично сказал:

– Да зачем он вам? Дубина, а не приемник.

Его раздражало, что тихая комната отца была превращена в некую радиомастерскую, что в разных углах некстати перешептывались, приглушенно переговаривались сразу два приемника, видимо, починенные или собранные Исаем Егоровичем, раздражало и то, что мать позволила вселиться сюда постороннему человеку, хотя он, Исай Егорович, и был старым другом отца и заходил часто по вечерам и в выходные дни. Главным образом неприятие к Топоркову связывалось со смутной догадкой о том, что мать нравилась ему. Как казалось Александру, выдавала Исаю Егоровича робость перед ней, его неуклюжая предупредительность, его полностью отданный карточный паек, героическое (в невероятных очередях) добывание съестного в уличных ларьках, куда изредка «выбрасывали» коммерческие батоны.

Александр отодвинул на стуле кусачки, вдетые в моток красной проволоки, сел напротив Топоркова, закурил.

– Я давно хотел у вас спросить. На вашем заводе вам не обещают жилья?

Исай Егорович сконфуженно потупился.

– Вы выпроваживаете меня? Так я вас понял, Саша?

Александр шумно сдул пепел с папиросы.

– Второй вопрос. Ведь ваш дом не разбомбило, а только стена треснула. В нем кто-нибудь живет?

– В подвале одна семья.

– А в вашей комнате жить можно?

– В моей комнате рухнула половина потолка. Ну, хорошо, хорошо... Если я вам так мешаю, я уйду, я найду комнатку, дайте мне немножко времени. Только не сердитесь на меня, я так любил вашего отца. Мы с ним были знакомы тридцать лет. Я вас понимаю... Четыре года войны... вы привыкли все решать сразу... Некогда было думать. Только за что же... за что же вы меня так?

Его лицо задрожало, и задрожали распавшиеся на два крыла волосы, наползая на впалые виски его некрасивого лица, – и Александр отвернулся, испытывая жалость к этому чудаковатому немолодому человеку, беспомощному и в робкой защите, и в покорном отступлении; так или иначе непонятно было, что сближало Исаю Егоровича, нелепого во всем облике своем, и подтянутого, сдержанного отца, разных, в сущности, людей.

– Я очень уважал Петра Сергеевича, вашего отца, умного, интеллигентного, честного, он прочитал две библиотеки, – сказал Исай Егорович прыгающим от волнения голосом. – Мне так его не хватает. Я один. Мне не с кем поговорить. А Анну Павловну, вашу маму, я боюсь, я обожаю. Она для меня святая... Она из другого мира...

Он осторожно приоткрыл дверь в другую комнату, зажал ладонью рот, робко прислушиваясь, потом проговорил шепотом:

– Вас...

– Да, странно, конечно, – сказал Александр и загасил папиросу о точильный круг на полу. – Черт знает, как странно.

– Са-аша, – послышался из-за двери голос матери.

– Вас... вас зовет Анна Павловна, – повторил шепотом Исай Егорович.

Мать сидела на кровати, кутаясь в халат, как если бы зябко ей было в эту духоту, и смотрела вопросительно мягко на Александра, озабоченно спросившего:

– Мама, тебе холодно?

Анна Павловна поежилась, успокоила его:

– Нет, нет, это пустяки, бывает какая-то внутренняя зябкость. Немножечко к концу дня нервы шалят. Это дамские пустяки, Саша. – Она постаралась улыбнуться ему. – Возьми стул – сядь поближе, пожалуйста. И скажи, сын, если тебе отвечать сейчас удобно, как ты думаешь устроить свою жизнь? Слава Богу, ты вернулся, а как дальше?

– Я еще ничего не придумал, мама.

– Совершенно ничего? А твои десять классов?

– Скорее всего пойду работать.

– Хорошо. Только не сердись. Мне кажется, тебя сердят мои вопросы.

– Меня сердит другое, мама.

– Что именно?

Он мельком глянул на закрытую дверь в другую комнату, и мать, тускнея лицом, не сказала ничего, и он промолчал. Затем сказал хмуро:

– Я хочу знать все о смерти отца.

Она укутала шею воротником халата, закрыла рукою белый лоб.

– Дай мне собраться с силами. Вспоминать те дни – больше, чем мука...

– Мама, я хочу знать... То, что его эвакуировали в Москву, мне известно. Ты как-то сказала, что госпиталь разместили в пятьдесят восьмой больнице. Он умер на твоих глазах? Расскажи, как это было?

Она отвернулась, заплакала, промокнула щеки воротником халата, заговорила с виноватой улыбкой, будто сообщая Александру то, что ни на минуту не давало ей покоя:

– ... Я сидела возле его постели, а он закрыл глаза и очень быстро уснул, задышал ровно, но потом вдруг открыл глаза и посмотрел на меня как-то странно, испуганно. Я спросила его, почему он проснулся, почему не спит. Он ответил, что

проснулся оттого, что почудилось ему: я ушла. Я успокоила его: нет, я здесь, в палате, с ним. Он послушал стоны раненых, вроде не доверяя мне, полежал минут десять, все не отрывая от меня глаз, и опять уснул. Я устала за эти сутки и тоже незаметно прикорнула. Очнулась я не от крика, не от стоны, а от его пристального, какого-то страшного, невыпускающего взгляда. Да, его глаза были открыты, и стало жутко от выражения его лица, как если бы он впервые видел меня и прощался со мной, и умолял о чем-то. Горло его напряглось, и мне показалось, что он готов зарыдать. Ясно было: во сне кричал он. «Что ты, – спрашиваю, – тебе плохо? Болит?» Он долго лежал, не отвечая, пытаюсь с насилием мне улыбнуться: наверное, боялся, что голос сорвется в рыдание. Я положила руку ему на грудь, почувствовала, как билось его сердце, он потянулся, чтобы поцеловать, а губы были сухие, горячие, потом откинулся на подушку, глубоко подышал, выравнивая дыхание, и начал почти шепотом рассказывать сон, который ему только что приснился. И я навсегда запомнила этот сон и буду помнить до гроба. Ему снилось, что он в каком-то белом поезде едет куда-то. Вернее – его куда-то везут. Вокруг белые диваны, белые стены, белые занавески на белых ставнях. И где-то в этом поезде я, он ищет меня, зовет, бегаёт по соседним купе, а они все пустые, белые, все качаются, трясутся от скорости, а вокруг ни одного живого дыхания, все беззвучно, безмолвно, даже не стучат колеса, он бросается из конца в конец, отчаянно кричит кому-то, чтобы

остановили поезд, а поезд все набирает скорость, несется в непонятное белое пространство, увозит его от меня... Увозит навеки от меня... Белый поезд увез его, а я, оставленная им, заблудилась в каком-то страшном мире. Прости, Саша, я не могу больше говорить. – Она закрыла рот воротником халата, помолчала, вздрагивая. – Ровно в пять часов утра он умер. И я осталась одна на всем белом свете. Господи, как я хочу сейчас догнать этот белый поезд. Все стало бессмысленным, все чужое, пустое... Белый поезд мучает меня каждую ночь. Я устала жить, сын. Мне нечем жить...

– А я? – спросил осторожно Александр, чтобы напомнить ей, что теперь она не одна.

– Ты? Ты – сын. А это... После войны ты стал как чужой, прости меня...

– Белый поезд, – проговорил Александр и встал, начал ходить по комнате, отчетливо представляя этот беззвучный и совершенно безлюдный белый поезд с наглухо задернутыми занавесками, мчавшийся в белое безмолвное пространство; да, да, смерть в образе белого поезда, в котором она, смерть, уносила отца. И, взглянув на измученное истонченное лицо матери, он вдруг впервые осознал, что она не в силах ничего забыть, что она серьезно больна, о чем он раньше думал как-то вскользь, и страх и жалость сжали ему дыхание. «Я устала жить, сын...»

– Мама, – сказал он, останавливаясь против кровати матери, стесняясь обнять, поцеловать ее, как мог сделать до вой-



ны, и договорил, хмурясь: – Ты не одна, мама. Кажется, я жив, здоров...

Он сказал это и оглянулся на закрытую дверь в другую комнату, где в подозрительном беззвучии затаилась тишина, не понимая все-таки, как мать могла пустить к себе в дом этого, в сущности, чужого человека, некогда связанного дружбой с отцом, но сейчас в чем-то оскорбительно унижающего мать своим присутствием в комнате отца.

«Я отношусь к ней, как к святой». Что за сентиментальная чушь! Зачем она разрешила ему поселиться здесь после смерти отца? Он попросился? Или она уже была больна?»

– Ты, наверно, голоден, Саша? – спросила мать, наблюдая за Александром сострадальческими глазами. – Я сейчас чай подогрею. И сахарин у нас есть. Я встану и подогрею...

– Нет, мама, я сыт. Не беспокойся. Я пойду пройдуся.

На улице он чувствовал себя свободней.

## Глава четвертая

Жаркий пар от тротуара, размягченного июльским зноем, веял ему в лицо, к мокрому телу прилипла под кителем майка, неприятно стягивая спину. Его мучила жажда. Он вообразил, как выпьет сейчас на углу у аптеки стакан газированной воды, ударяющей в нос остро-ледяными пузырьками, спустится в метро, в его искусственную прохладу, в его мягкий ветерок – и это будет спасение от раскаленной Вальной, совсем безлюдной, прожженной солнцем в этот час.

«Где-то надо доставать деньги... Три с полтиной в кармане – хватит на три с половиной папиросы, купленные с рук... Дожил, лейтенант...»

Нет, окончательно он еще «не дожил», еще сохранилась недокуренная пачка «Примы», которую купил вчера на Дубининском рынке, продав комсоставский ремень; после удачной этой продажи можно было оставить деньги матери и выпить пива и съесть сосиски в забегаловке.

Он нащупал в кармане пачку сигарет и, почти успокоенный табачным богатством, которого хватит ему на сегодня, закуривая, остановился под липой, обдавшей лиственной духотой.

В банном воздухе улицы, пропитанном испарениями асфальта, запах бензина от зажигалки был неприятен, вкус сигареты ядовит, Александр поморщился, разминая сигарету,

и тотчас услышал неясный щелчок, затем тоненький вскрик, заставивший его быстро поднять голову, как если бы ударили кого-то, причинив неожиданную боль.

Впереди улица была пустынной, но около фонарного столба в тени лип он увидел полную женщину с искаженным лицом, в ужасе склонившуюся над девочкой лет семи, тонконогой, беленькой, с большим ранцем за слабыми плечами. Девочка эта, вскрикивая, тихонько плача, трясла оголенной ручкой, будто ее оса укусила, а ручка заплывала чем-то красным, скользящим по кисти, по пальцам, и Александр сначала не понял, что это кровь.

«Что такое? Что там случилось?»

Он ускорил шаги, а полная женщина у фонаря, закидывая назад голову, хваталась за виски, причитала дурным голосом:

– Господи!.. Кто-то стрелял! Ее хотели убить! Ее ранили, пробили ручку!.. Злодеи, убийцы! За что? За что? Убийцы-и! Господи, Господи, за что Ниночку?..

Когда он подбежал, девочка, иссиня-бледная, глядя на женщину сквозными от страха глазами, с жалобным стоном все трясла ручкой, стряхивая кровь на тротуар, и Александр сразу увидел маленькую рану выше ее кисти и поразился этому постаныванию девочки: так в госпиталях стонали раненые солдаты по ночам, вспоминая во сне тупой удар пули в тело, еще не принесший боль, но уже испугавший видом крови.

– Кто стрелял? Откуда? – крикнул Александр, оглядываясь на балконы, на окна дома на другой стороне улицы, сплошь залитой солнцем, и в этот миг звонкий щелчок ударил в фонарный столб слева от его головы и где-то на той стороне среди блещущих стекол, загроможденных тополями, появилось и исчезло что-то белое, похожее на рубашку, донесся чей-то истошно-визгливый крик: «Мимо!» – потом оттуда вырвался истерический женский смех и захлопнулось окно, оборвались звуки радиолы, которые до этого плыли, чудилось, отдаленно в жаре улицы.

Верхушки тополей загораживали окна до шестого этажа, и Александр не уловил четко, где появилось и исчезло белое пятно, на четвертом или пятом этаже, откуда донесся крик и истерический смех, но только безошибочно было, что стреляли именно с этих этажей, – и эти крики сверху, и смех, и приглушенная захлопнутым окном радиола горячо опажнули его чем-то душным, сумасшедшим, как недавний случай на площади Маяковского, когда пехотный майор без всякой причины открыл огонь по толпе у входа в метро и, выпустив всю обойму, швырнул пистолет под колеса троллейбуса и обезумело кинулся на бежавшего к нему какого-то военного, рыча по-звериному дико.

– Здесь аптека! За углом! Туда, туда! Это ваша дочь? Да снимите же ранец, наконец! – крикнул Александр женщине, с судорожным плачем хватавшей на руки девочку, у которой обморочно закатывались белки, а ранец, как горб, упирался

женщине в плечо и мешал ей поднять ее.

– Доченька моя милая... Я сейчас... Ниночка, Ниночка, я сейчас! – вскрикивала женщина, силясь отстегнуть ранец, стянуть его с ослабевших плеч девочки. – Госпо-оди, спаси, Го-осподи...

– В аптеку, быстрее! Там вызовут «Скорую помощь»! – почти грубо скомандовал Александр и инстинктивно бросился на другую сторону улицы, к дому, пытаясь сквозь ветви тополей определить, из какого окна стреляли, и уже решая проверить эти два этажа – четвертый и пятый, где прозвучали выстрелы.

Наверно, тогда им командовала не спокойная воля, а нечто сознанию не подчиненное, где-то внутри его три года живущее темное, порой ослепляющее его бешенством действия, ожесточенной безоглядностью, какую он испытывал не один раз.

Он ворвался в подъезд и, прыгая через две ступеньки, рванулся вверх к четвертому этажу, с надеждой уловить из-за мертво закрытых дверей голоса, звуки радиолы, но лестница лишь гулким эхом отдавала его прыжки по ступеням. На четвертом этаже было особенно тихо, с улицы на лестничную площадку давило в пыльные стекла горячее солнце, и здесь он на миг задержался, переводя дыхание. В эту минуту сверху стукнула дверь, выпустила из какой-то квартиры голоса, синкопы радиолы, затем вниз дробно застучали каблукки, зашпешили с такой частотой, точно кого-то преследовали

там. Стоя на площадке четвертого этажа, он увидел сбегаящую по ступеням девушку – мелькали колени под легоньким платьем, мотались по щекам коротко остриженные волосы. Ее распятые черные глаза на омертвелом лице искоса метнулись в сторону Александра – и, клоня голову, она пробежала мимо, хватаясь за перила, чтобы не поскользнуться на высоких каблуках.

– Откуда и куда, милашка?! – крикнул он бесцеремонно, уже не сомневаясь, откуда она могла бежать, и, произвольно похлопав себя по заднему карману, ощутимому тяжестью ТТ, прыжками достиг лестничной площадки на пятом этаже, теперь зная, что не ошибся.

За дверью звучала радиола, перебивая ее, толкались голова, и кто-то срывающим баском кричал: «Зачем ты отпустил ее, дуру?» Но после его звонка сейчас же послышались торопливые шаги, щелкнул замок, басок произнес удовлетворенно: «А, вернулась... Ну,ходи,ходи!»

Дверь приоткрылась, на пороге возник долговязый паренек лет шестнадцати с длинным презрительным лицом, и, выглянув, мгновенно отпрянул с попыткой захлопнуть дверь перед Александром, но тот ударил в дверь плечом и, резко оттолкнув паренька, быстро вошел через переднюю в комнату, освещенную солнцем сквозь тополя.

Долговязый паренек отступал спиной в комнату, окидывая взглядом Александра с ног до головы, вероятно, соизмеряя возможность чужой силы. И, отступая, он словно опору

искал, скользил рукой по краю стола, морща скатерть, опрокидывая пустые рюмки, и суматошно озирался на окно, где перед тюлевой занавеской стоял низкорослый пухлый подросток, не отрывая застывших глаз от Александра. В толстых руках он держал малокалиберную винтовку. Левее окна на плюшевой тахте полулежала темноволосая девица, и по тому, как была положена нога на ногу, по тому, как длинные волосы неопрятно облепливали, завешивали ее лицо, накрашенные губы, было видно, что она пьяна и никак не может понять, каким образом оказался здесь незнакомый.

В этой комнате, богатой, по представлению Александра (ковры на стенах, картины, книжные шкафы, абажур над круглым столом, заставленным бутылками, банками консервов), пахло слабым сернистым запахом, смешанным с одеколоном, который только что разбрызгивал из пульверизатора веснушчатый подросток в желтой футболке, размашисто помахивая пузырьком. Он сидел у трельяжа, повернувшись с обезоруживающей улыбкой компанейского остряка, привыкшего веселить, ерничать, разыгрывать, и вид его не выказывал ни удивления, ни страха.

– Ребятки, а к нам гость в кителе и не хуже татарина, – проговорил он по-клоунски, приглашая всех, по-видимому, засмеяться. – Просим к столу: коньячок остался – дербалызынем и запоем как воробушки на вороньей свадьбе!

– А ну, воробушек, встать! И лапы вверх! – заорал в ярости Александр и сделал два шага вперед. – А ты, толстая зад-

ница, бросай пукалку на пол! Вот сюда! Быстро! – Он кивком показал на угол комнаты: и тотчас толстый подросток отбросил малокалиберку в угол и суетливо вздел руки, отчего задралась спортивная майка, обнажая круглый живот с торчащим пуговицей серым пупком. – А ты, красавица, неужели лежать будешь? Встать, дешевка глупая! Встать всем около окна! И руки над башкой держать, молокососы! Быстро встать передо мной, вот тут! – крикнул он, не сдерживая ярости оттого, что теперь понятно стало, что происходило здесь, но – кто был хозяин квартиры, откуда малокалиберка и эти золотистой кучкой высыпанные из коробочки на край стола патроны? И откуда это коммерческое роскошество на столе – коньяк, боржом, шпроты, американская тушенка?

А они стояли перед ним, задрав руки, открывая под мышками мокрые от пота майки, он видел неподдающиеся глаза долговязого паренька, тупо-вялый, исподлобный взгляд толстого подростка, вспотевшего так, что капли висели на гиреобразном подбородке, видел красные, в губной помаде зубы нетрезвой девицы, прикусывающей свисшие на лицо волосы, фальшиво-покорное, недавно смешливое лицо веснушчатого мальчишки с притворным выражением нечаянной вины – и злая неприязнь вместе с безгливостью не отпускала Александра.

– Мне можно?.. – шепотом выдавила девица и жалко улыбнулась кровавыми губами, оправляя юбку. – Мне в туалет...



– Потерпишь, куколка! – оборвал Александр. – Ты ведь тоже кое-что видела, хотя и надралась. Кто из вас стрелял, мне ясно, – проговорил он и с отвращением остановил внимание на каплях пота, падавших с подбородка толстяка. – Не ясно только – зачем. Так зачем же ты, жирная курица, стрелял в девочку, потом в меня? Может, ответишь, пока я добрый?

В тишине комнаты слышно было, как остро звенела, ползала по стеклу и билась оса за тюлевой занавеской.

– Так кто стрелял? – повторил Александр. – Ты? Или пукалка сама выстрелила?

– Не я, – с задышкой выговорил толстый и затоптался короткими ногами, скосил коровьи глаза на долговязого, стоявшего с каменно-ненавидящим лицом; белокурые волосы вызывающей запятой спадали на его лоб.

– А кто? – спросил Александр, перехватив взгляд толстого. – Вот этот длинный, что ли? Как вас, двух дураков, звать-то? Тебя, конечно, Федул? – Он указал на толстого. – А тебя... Альберт, наверно, или Эдуард? – Он усмехнулся долговязому. – Так, что ли? Ну, куколка, угадал я? – И он недобро подмигнул девице, стучащей, как в ознобе, зубами.

– Вова я, – выдохнул толстый и опустил голову. – Отпустите ее. Ни при чем она...

– Ну, а тебя – как величают, Альберт? – Александр опять взглянул на долговязого. – Не Сирано ли ты Бержерак? Не испанский ли ты дворянин Дон Диего? Судя по обстановоч-

ке, вы все здесь неплохо устроились, детишки? Так как тебя? – повысил он голос. – Не ответишь, буду величать тебя дурак или хрен моржовый. Согласен?

Долговязый не отвечал, уставясь с ядовитым презрением в угол комнаты, где валялась на ковре малокалиберка.

– Олег его зовут, – угрюмо проговорил толстый. – Он стрелял и я...

– Молчи, свиной окорок! Молчи! – срывающим баском крикнул долговязый, и кадык задрожал на его длинном горле. – Врешь, колода! Никто не стрелял! Врешь!

Александр взял со стола пачку «Кента», размял в пальцах сигарету, чиркнул зажигалкой, но не закурил.

– Так, значит, ты – Олег, хрен моржовый, – обратился он к долговязому. – Ты стрелял первый, как я понял! Была цель – девочка, не так ли? Ждал, когда она с матерью подойдет к фонарному столбу, и выстрелил. Фонарный столб был ориентир, и дураку ясно. Вторым стрелял ты, Вовочка-совочка, слюнявая мордочка, и стрелял в меня, когда я был у столба. Так?

– А хоть бы и так! – исступленно крикнул долговязый, и в ощеренных зубах появилось что-то дикое, хищное, и запятая белокурых волос запрыгала на взмокшем лбу. – Ты откуда такой взялся в кителе? Нет, я бы не промахнулся! Врезать тебе надо было! Уйди отсюда, лучше уйди! Мы тебя не знаем, и ты нас не знаешь! Думаешь, давить нас будешь, демобилизованный! На тебя тоже найдем кой кого!..

– Давить? Вас? Сопляков? – Александр бросил незакуренную сигарету в блюдце на столе, неторопливо вынул из заднего кармана ТТ, выщелкнул магазин, осмотрел его, вновь выщелкнул в рукоятку, сказал: – Жаль, конечно, патроны. Они у меня тоже на счету. Давить, говоришь? Да, давить я вас буду. Вашим же способом. Вот тебе, долговязое мурло, и тебе, толстяк, прострелю правую руку, а тебе, клоун из дерьмового балагана, сверну скулу, чтобы поменьше улыбался.

Он поочередно переводил глаза с одного на другого, с трудом сдерживая сжатую пружину гнева; пугающее его самого безжалостное чувство к ним не выпускало его из острых когтей.

– А ну-ка, миледи, дуй в туалет и запишись там, пока мы говорить будем! – И Александр махнул пистолетом испуганно порхнувшей в сторону передней темноволосой девицы, командовал: – Ну, ты, Олег, долговязая орясина, ты первый! Клади правую руку на стол! Чтоб на всю жизнь запомнил... Ну! Быстро! Око за око!

Долговязый Олег стоял, не шевелясь, лоб его залоснился, покрылся каплями пота, такими же крупными, какие висели на подбородке у толстого, кадык сделал движение вверх и вниз, словно удушье сдавливало.

– Ну? – поторопил Александр, почти наслаждаясь его страхом, в то же время чувствуя опасную озлобленность этого пацана, отравленного, по-видимому, сознанием своей физической силы и дерзостью какого-то опыта. – Клади руку

на стол, говорят! – Повторил он жестко. – Получишь дырку – и квиты с девочкой, так, считай, Господь Бог велел! Ну? Что стоишь и лупишься? В штаны напустил, птенец желторотый? Ну-ка ты, Вовочка, толстый, пока у тебя рука целая, пощупай у него штаны, мокрые, видать!

– Не надо! Не надо! – вскрикнул веснушчатый паренек и затряс головой, кривя рот кашляющим плачем. – Не надо!.. Не надо! – захлебывался веснушчатый. – Олег, дурак такой, напился и хотел перед девчатами героем, уркой показать себя! Мол, кто из вас может убить человека! А Лидка высмеивать его начала и говорит: «Слабо». Он и стал у окна...

– Молчи! Трус! – крикнул Олег отрывисто. – Пожалейшь!..

– Кто такая Лидка? – перебил Александр.

– Убежала... когда он выстрелил.

«Это та, вероятно, которую я встретил на лестнице», – подумал Александр и спросил с неостывающей злостью:

– Где малокалиберку взяли?

– Малокалиберка моя, – сипло выговорил Олег, едва разлепляя губы. – Отец подарил, моя... собственная.

– То есть?

– Отец подарил. Моя собственная.

– Где отец?

– На Урале. В Свердловске. А что? Я здесь с теткой живу.

– Отец кто?

– Директор военного завода.

– А ты здесь стреляешь из окон? Ну, что с тобой делать? Что со всеми вами, гаденыши, делать? Изуродовать вам лапы, чтобы на всю жизнь запомнили? Чем вас иначе научишь? А ну, ты, снайпер дерьмовый, прострелить тебе лапу на память?

Александр видел, как синеватая бледность расползлась по длинному лицу Олега, стиснутые губы опять разлепились и запрыгали, он выговорил шепотом:

– На! Стреляй! – и выкинул перед собой правую руку с растопыренными пальцами. – Хрена! Хрена!..

– Не надо стрелять! – вскрикнул веснушчатый и заплакал, дергаясь своей жиденькой фигуркой. – Мы не будем больше! Олег храбрится перед нами! Он тронутый и пьяный! Не надо стрелять!

– Виноваты мы, дяденька, – глухо пробормотал толстый, переваливаясь с ноги на ногу.

– Заткнитесь, трусы! Пожалеете!.. – взвизгнул Олег угрожающе. – Пупок лизать будете, предатели, лягаши!

И Александр вдруг почувствовал едкую брезгливую усталость от этой наигранной мальчишеской истерики наверняка знакомого с блатным миром Олега, преодолевающего в себе страх нелепым вызовом, и гадливо сказал:

– Где научился? Бритвы не хватает, пацан. Следует визжать и угрожать бритвой. Подойди-ка поближе. Хочу лучше рассмотреть твою наблатыканную истерику.

– И подойду! Китель демобилизованный! Не испуга-

ешь!.. – выкрикнул Олег и сделал шаг к Александру, смело качнув широкими плечами. – И подойду! Выстрелишь?

– Эх, дурак ты, дурак, – с досадой сказал Александр и быстро втолкнул пистолет в задний карман брюк, затем правой рукой сильным резким тычком ударил парня в переносицу, зная, что удар этот жестоко кровав, испробован не раз в драках, – и парень, икнув горлом, падая спиной, отлетел к окну, врезавшись поясницей в паровую батарею. Он схватился обеими руками за подоконник и так стоял, зажмурясь, оскалив зубы от боли, а из ноздрей текли по подбородку яркие, торопливые струйки, капали на белую футболку, расплывались пятнами.

– Пожалеешь еще, подожди... найдется на тебя кое-кто... – прохрипел Олег, размазывая под носом кровь и разглядывая ее на дрожащих пальцах.

– Если еще скажешь слово, изукрашу, как Бог черепаху, – сказал Александр, не испытывая ни жалости, ни сожаления. – Всех вас, сосунков, я запомнил. Поэтому знайте, что я существую. На этом пока кончено. Ну? Запомнили, что есть закон в мире: кровь за кровь... Считайте это законом войны.

Олег, отклоняясь затылком к стеклу, молча вытирал платком бегущую кровь из носа, толстый угрюмо к тупо смотрел под ноги, веснушчатый же пытался поймать взгляд Александра, силился заискивающе улыбнуться, при этом втягивал в себя воздух, всхлипывал с облегчением, и странным

показалось, что он только что умолял и плакал – слез сейчас не было на его пестрых от конопушек щеках.

– Ясно, кажется, – сказал Александр и прошел в угол комнаты, поднял с ковра малокалиберку. – А эту пукалку я возьму с собой. Вот ты, конопатый воробушек, держи винт и заверни-ка мне его в газеты и бечевкой замотай. Повторять не надо?

«Какой-то идиотизм и безумие, – подумал он, точно очнувшись. – Я шел по улице, потом девочка с окровавленной рукой, кричащая женщина, потом щелчок в фонарный столб... И я в чужой квартире, вижу этих глупых сосунков. Нет, не совсем так. Этот долговязый Олег с мускулистой грудью убьет, не моргнув...»

– Жива ли ваша куколка? – сказал Александр, проходя в переднюю, и постучал в туалет. – Вы в порядке, красавица?

– Н-нет, я не могу, меня тошнит, – слышался жалостный давящийся голос. – Пожалуйста...

– Черт с вами, сидите и тошните, – разрешил, усмехнувшись, Александр. – В другой раз пейте меньше. Ну, ну, игрушку мне, – приказал он, видя, как веснушчатый с показной старательностью обматывал бечевкой завернутую в газеты малокалиберку. – Давай сюда, сорочье яйцо.

– Почему сорочье? – подобострастно изобразил внимание веснушчатый.

– Конопат, как сорочье яйцо.

Он взял укутанную в газеты малокалиберку, постоял

некоторое время на пороге передней, сказал:

– Всех вас, сосунков, пожалел. Если что-нибудь наподобие этой гнуси произойдет в районе Зацепы, знаю, где искать шпану интеллигентскую. Пока, снайперы дерьмовые!

Он медленно спускался по лестнице, еще неуспокоенно обдумывая, что произошло, и уже сознавая, что был чересчур циничен, жесток в столкновении с «интеллигентской шпаной», которую встретил впервые после возвращения из армии. Он все чаще понимал, что его офицерского порыва, бывшей солдатской непримиримости не хватит на то, чтобы к чертовой матери перевернуть тыловую жизнь послевоенной Москвы, сделать так, как он хотел бы, – порой смешно и даже опасно выглядело его желание справедливости, жажда ушедшего в прошлое товарищества, чего он искал в родном городе и не находил, то и дело ожесточаясь, готовый ввязаться в любую драку. Но всякий раз, когда он, уже остыв, вспоминал о своей неудержимой вспыльчивости, бросавшей его в очередную схватку, он чувствовал в этом нечто неестественное – неужели здесь, дома, без войны сдавали нервы и он стал бездумно рисковать, больше, чем в разведке? Что все-таки толкало его на это? Тоска по прошлому? Одиночество? Разочарование после возвращения домой?

В полутемном подъезде Александр остановился, покрутил в руках сверток, соображая, что делать с ним. Потом вышел из прохладной полутьмы на улицу, сплошь тихую, налитую зноем, завернул во двор, тоже пустынный, умертвлен-



ный пекущим солнцем. Тут он нашел помойную яму сбоку сараев, не колеблясь, приподнял крышку и бросил в зловонное нутро, в кишасщее червями месиво завернутую в газету малокалиберку.

## Глава пятая

К концу долгого летнего дня он не знал, что делать с собой – то ли окунуться опять в хаотическую толчею Дубининского рынка с его криками, руганью, пьяным хохотом и пьяной пляской под гармонь в людской гуще, с распаренными хорькообразными мордами спекулянтов, напористо снующими в толпе, с развратно подведенными глазами дешевых проституток, покуривающих у стен пропахших мочой ларьков, с фальшиво-азартными картежными играми, навязчивым гаданием и слепыми шарманщиками, то ли шататься по Замоскворечью, по его переулкам и тупичкам, по Овчинниковской, Озерковской и Шлюзовой набережной, то ли зайти в кинотеатр на дневной сеанс наугад попавшегося фильма, «взятого в Берлине в качестве трофея», или пройти через пышащую жаром асфальта Серпуховскую площадь до Парка культуры, где веяло свежестью от прудов, сесть на скамью под огромными липами на берегу и здесь, у зеленой воды, думать о каком-то золотом времени, счастливом, навсегда утраченном утре, о какой-то отепленной весенним солнцем школьной стене, вблизи которой он и кто-то еще с ним, неизмеримо теперь далекие, сидят в полукруге перед футбольным мячом, многие из тех, с кем он был в отношениях юности, верной, чистой, хотя и соперничающей, но во всех смыслах товарищеской, ибо никто не прощал ни трусости,

ни предательства, ни мелкого фискальства «маменьких сынков», как называли их тогда в школе, может быть, потому, что отличались они, домашние мальчики, аккуратными костюмчиками, выглаженными курточками, чистыми ногтями; кроме того – завернутыми в бумагу бутербродами на завтрак и добросовестно выученными уроками. Он рос в Замоскворечье, признавал неписанные нравы задних дворов и голубятен, и опрятная старательность и даже тщательно причесанные волосы вызывали у Александра и его окружения неизбежное презрение. Его уличной свободе голубятника завидовали безмолвной завистью, а он снисходительно принимал подсказки по алгебре и геометрии, но всегда брал верх по географии и истории, самолюбиво отвергая и вместе уважая тех в классе, кто мог знать больше его.

Он, вернувшись, оказался в пустоте.

В тот месяц – жаркий июль сорок первого года, когда их всех, едва сдавших экзамены за девятый и десятый классы, через райком комсомола призвали на рытье окопов под Смоленском, он не мог на секунду предположить, что сама судьба окажет ему величайшее предпочтение – из всего класса она оставит его в живых. Наверное, это было не точно: кто-то числился в живых из его одноклассников, но где они? В плену? В других городах? В Москве он не нашел их. Но не все было оборвано со школой, потому что в первые дни своего возвращения он зашел в райком комсомола за какой-то справкой для домоуправления и тут узнал, что несколько од-

ноклассниц оставались в Москве, работая в госпиталях, затем поступили в институты, в том числе и Вероника Гречанинова, вернувшись из эвакуации с родителями, теперь, оказывается, училась в строительном институте.

Она жила на Большой Татарской в пятиэтажном доме времен конструктивизма, широкие лестницы были заполнены через огромные окна светом – и здесь, на лестничной площадке, однажды провожая Веронику из школы, он попробовал вдруг обнять ее, но с таким неумением и робостью, что она, раздвинув глаза, засмеялась, откинулась спиной к двери, торопливо стуча в нее каблуком, удивленная его полупоцелуем, каким-то неуклюжим прикосновением то ли к щеке ее, то ли к виску. «Вот это да! Вот это Ромео!» – сказала она и спиной толкнула приоткрывшуюся дверь, исчезая в полутемной передней. Дверь захлопнулась, а он успел услышать: «До свидания, душа моя!» Где она взяла эти слова – «душа моя»?

Он чувствовал ее превосходство над собой, ее иронию, когда на уроках физкультуры она, особенно высокая в синем спортивном костюме, балетной, чуть покачивающейся походкой приближалась к нему, стоявшему наизготове перед турником, двумя пальцами трогала его мускулы и, неизвестно зачем поддразнивая его, говорила весело: «Сашенька, хватит ли твоих бычьих бицепсов сделать вельборот? То есть солнышко... Не приземлись, ради Бога, на макушку, не опозорься перед нашими девочками».

Он краснел, пренебрежительно хмыкая, однако делал независимое лицо, хмуро натирал ладони магниезией и расправлял грудь, хватаясь за перекладину и, пожалуй, со злым щегольством крутил солнышко, завершая упражнение таким выверенным соскоком (чтобы не быть смешным в раскоряченном виде), что одноклассницы награждали его восторженными аплодисментами, а она только с бесстрастной неопределенностью подымала палец, как пресыщенная патрицианка на гладиаторских боях.

В тот день, когда Александр пришел к ней после возвращения в Москву, он чувствовал, что их разделяет несколько жизней, он уже не краснел под ее взглядом, освобожденный от многого, мешающего ему прежде, не удивляясь самому себе, своим словам, жестам, зная по страшному фронтовому опыту, что только действие помогает во всем сиюминутном или самом главном, в том, что люди называют судьбой.

Он снова увидел ее в такой знакомой, такой милой, такой доисторической передней, куда она, с нетерпением постучав каблучком, вошла спиной тысячу лет назад и, увидев ее через тысячу лет в ситцевом домашнем платье, в тапочках на босу ногу, еще после сна непричесанную, он смело шагнул к ней, звеня орденами, и без стеснения взял ее за плечи и, улыбаясь, поцеловал в нежно припухлые губы, сказал то, что с болью помнил не один год: «Привет, душа моя. Видишь, я вернулся. И по-прежнему люблю тебя».

Он лгал ей. Того школьного чувства, нескончаемую слад-

кую муку, он теперь не испытывал к ней, и вкус заспанных губ показался ему чуждо-пресноватым, не вызвал у него долгожданного волнения, и он проговорил с гусарской бесшабашностью:

– Ну, здравствуй же! Пригласи хоть в комнату. Ты не замужем? Может быть, я некстати?

Она смотрела на него остановившимися глазами с выражением страха и растерянности, потом, справившись с собой, сказала чуть слышно:

– Да, здравствуй, Александр. Подожди, пожалуйста, на кухне. Через десять минут я буду готова. Я приведу себя в порядок. Извини.

Минут двадцать он сидел на кухне, светлой, чистой, с белыми шкафчиками, симметричными полочками, не похожей на захлавленную, запущенную кухню их коммунальной квартиры, глядел в широкое окно на улицу, на очередь у булочной, на солнечную утреннюю листву, курил и думал, что с ним что-то случилось, что он в чем-то ошибался и фальшивил сейчас при встрече с Вероникой – откуда взялась эта неприятная жалость к ней, заспанной, растерянной? И почему безрадостным было прикосновение к ее губам? И почему отвратительно было чувствовать это свое глупейшее превосходство над ней, как будто она девочкой осталась в наивном детстве, а он, прошедший огонь и воды, играл опытного, самонадеянного мужчину, которому и сам черт не брат.

Когда наконец она пригласила его в комнату, он поразил-

ся изменению в ее облике: в ее глазах, блестящих откровенным любопытством, в ее новой прическе. Она была в сером расклешенном платье с вырезом, открывавшим ее, казалось, вызывающе гордую шею, украшенную сейчас каким-то серебряным медальончиком; она пригласила его на диван, говоря с радушной приветливостью хозяйки:

– Садись, пожалуйста. И здравствуй еще раз. Не смотри на меня так. Нарядилась ради встречи с тобой. Я рада, что ты зашел. Ты самый счастливый из нашего класса.

– В чем мое счастье, интересно?

Она села возле, закинула ногу на ногу, нестеснительно взглянула сбоку, изучая его слегка красноватое после обморожения лицо, его выгоревшие добела волосы.

– Почему счастливый? Как я знаю, с фронта вернулся пока ты один. Из всех мальчиков нашего класса. Правда, двое не были на войне. Кузьмин и Орехов. Они каким-то образом служили в Москве. В комендатуре.

– Можно было ожидать. Два умных мальчика обозначились еще в школе, – сказал Александр, слыша в голосе ее преувеличенное оживление, своей неестественностью непонятное ему, и он подумал: «Что это мы? Фальшивим оба?»

Она сказала быстро:

– Ты, я знаю, куришь? Дай мне папиросу.

– У меня «Беломор». Совсем неженские по крепости.

– Дай мне «беломорку». Мне все равно.

Он помог ей прикурить, со странным чувством сопротив-

ления увидел, как ее губы кругло обхватили мундштук папиросы, как она осторожно выпустила дым, затем закашлялась, засмеялась. Но папиросу не погасила, опять заговорила оживленно:

– Нам бы с тобой, Александр, полагалось бы сейчас отпраздновать твой приезд. Да у нас ничего нет. Водку, которую получаем по карточкам, мама меняет на хлеб. А отец не пьет.

– Мы можем пойти в ресторан, – сказал Александр с сумасшедшей уверенностью, означающей, что тут нет затруднений, в то же время зная, что ограничен в деньгах: почти все фронтовые были отданы матери.

– Нет, нет, нет! – остановила она. – Ресторан – это страшно дорого! И страшно пошло! И нет смысла. Хочешь, я чаю подогрею? И знаешь, есть плитка шоколада. Настоящего. «Золотой ярлык». Мне подарили на день рождения. Целое состояние.

– Ни чая, ни шоколада я не хочу, – отказался Александр. – Кстати, и водку тоже.

– Да-а? И водку тоже? Вот как! Почему?

– Однажды под Сталинградом после одного удачного поиска в тридцатиградусный мороз пришлось так надраться, что видеть водку не могу.

– Что такое поиск?

– Разведка.

– А надраться? – Вероника подняла стрелочки бровей. –



Это что значит – напиться? Ну и лексикончик. Прелестное фронтовое аргю! Впрочем, не очень похоже, что ты вернулся с войны ангелом или толстовцем. Не пьешь, может быть, ни одного немца не убил? Хотя...

Она чуть-чуть наморщила брови, разглядывая его ордена, договорила, покачивая узенькой туфелькой:

– Хотя... судя по этим украшениям, ты не был на фронте мальчиком-паинькой. Как, впрочем, и до войны. Я помню, ты был самый замоскворецкий в классе. К тому же голубятник, связанный с уличными ребятами.

Александр понял, что фразой этой она пыталась уколоть его, чтобы, быть может, вновь обрести давнее превосходство над ним, и, ощутив это, он вдруг испытал разъединяющий холодок прошедшего времени, приморозивший что-то в душе независимо от его воли. Что же случилось с ним? Он не хотел ничего ломать, он хотел сохранить то, что было тогда, в детском мире, о чем он написал ей в письме из полевого госпиталя после форсирования Днепра. В этом единственном письме, посланном им с фронта, он в несдержанном порыве к прошлому открывал свою школьную любовь к ней, просил прислать фотокарточку, но ни ответного письма, ни фотокарточки от нее не получил.

– Во-первых, Вероника, ордена – это не украшение, – сказал Александр, словно не замечая ее насмешки. – Если уж хочешь, то почти каждое это украшение оплачивается кровью. А мальчишки-паиньки, как ты говоришь, на фронте гиб-

ли в первом же деле.

Она длинно выпустила дым, сложив нежные губы трубочкой.

– И ты был ранен? Расскажи, как это было? Лежал, наверное, в поле, как князь Андрей Болконский, и смотрел в небо. Любопытно, о чем ты тогда думал? Вспоминал ли меня? Ведь я получила от тебя письмо... в сорок третьем году.

– Слушай, Вероника, мне не хотелось бы ударяться во фронтовые воспоминания, – ответил Александр с насилием простодушно. – Я служил в полковой разведке. И было все, что ты не можешь даже представить. Да и знать тебе это не нужно.

Она с высокомерной гримасой сказала:

– Ты меня не любишь!

У него хватило воли ответить шутливо:

– Так же, как и ты меня.

Она заговорила с нарочитым капризным упреком:

– Если бы ты меня любил, как ты написал из госпиталя в сорок третьем году, то ты присылал бы письма каждую неделю. Как другие.

– Почему каждую неделю? И кто это «другие»?

– Я знаю переписку с фронтовиками наших девочек на курсе. Письма приходили просто через день.

– Наверно, для этого у меня не было сил. И возможностей.

Она сделала обиженные губы.

– Не было сил для любви?

И он снова ответил шутливым голосом:

– Трудно объясняться в любви по несколько раз. Как-то становится не по себе.

– Даже, если очень любишь?

– Даже.

«О чем же мы так нелепо и глупо говорим? – подумал он. – И зачем она так назойливо играет обиженную, как будто я в чем-то обманул ее? И почему меня раздражает, как она демонстративно курит и покачивает своей туфелькой?»

– Неужели «даже»? – Она косо улыбнулась уголком рта. – Какой ты холодный!..

Он молчал, оглядывая пронизанную солнечным светом комнату, мягкие кресла под торшером, розовый купол абажура над столом, покрытым бархатной скатертью, свисающей бахромой до огненного сияния натертого паркета, просторный буфет с льдистыми искорками бокалов и посуды – большая ухоженная квартира, занимаемая отцом Вероники, начальником какого-то крупного учреждения, казалась неправдоподобно богатой в Замоскворечье квартирой, не тронутой войной, без опустошительных следов нехваток, голода, обеднения, что так больно видеть было ему в квартире матери.

– Что ты молчишь? Отвечай, – потребовала она, ищущими глазами вглядываясь в его лицо, чувствуя эту необъяснимую замороженность в нем. – Ты как кусок льда! Айсберг! Я тебя не понимаю!.. Тогда зачем ты пришел? Скажи – для

чего? – И, уже не владея собой, она дернула его за рукав кителя. – Пришел показать себя? Покрасоваться передо мной своими орденами? Зачем ты пришел?

– Да, что-то не получается, – сказал Александр. – Не знаю...

Она прислонила руку ко лбу, едва не плача.

– У меня даже голова разболелась...

– Да, да, у меня тоже. – Он встал. – Знаешь, я зайду как-нибудь. И тогда поговорим.

– Ах, вот как? Зайдешь как-нибудь?

Она вскочила, теряя с ноги туфельку от поспешности, тряхнула волосами, гневно постучала каблучком уже надетой туфельки, выпрямилась, сделала к нему шаг и, высокая, касаясь его грудью, глядя ему в глаза своими серыми с капельками слез глазами, заговорила шепотом:

– Не приходи! Лучше не приходи!

Он в безумном спокойствии взял ее за плечи и, притягивая к себе, сказал:

– Жизнь идет по принципу: пропадай моя телега, все четыре колеса...

И в том же головокружительном безумии поцеловал ее в сопротивляющиеся прикушенные губы.

\* \* \*

Он вышел от нее в состоянии случившегося сию минуту

тихого сумасшествия, убеждая себя, что между ними ничего не было и не могло быть перед войной. И ничего не может быть теперь. Тогда, в мальчишеские годы, он каждый день видел ее в классе, ее высокую, «павлинью», шею, прямую спину гимнастки (о походке Вероники шептались за ее спиной ревнивые подружки), видел непропускающие глаза, иногда переполненные смехом, тонкий профиль со слегка вздернутым носом, когда, задумчиво подперев подбородок, она сидела за партой, не слушая учителей, устремив неподвижный взгляд в зеленое пространство школьного парка за окном. Во время лежания в госпитале в памяти вставало прошлое, школьное, ночные разговоры раненых вертелись вокруг дома, семьи, жен, любовных встреч, знакомств и разлук и, быть может, тогда он внушил себе, что без Вероники не представляет возвращения с войны – и написал ей письмо, горячее, наивное.

Но когда Александр вышел от Вероники, на душе было тошно. От того, что встреча была нелепой, унижающей обоих. Он, видимо, до конца не понял вдали от Москвы, что ее молчание после его наивно-искреннего мальчишеского письма было ответом ее безразличия к его открытой сентиментальной слабости, что он презирал в себе и в других.

«Что это случилась за чушь со мной? Я знаю, что она не любит меня, фальшивит, изображает себя забытой, обвиняет меня в черствости, холодности. К чему это?»

Он уходил от Вероники с твердым решением больше не

приходить к ней, забыть ее, веря, что это ему удастся. Однако какая-то тоненькая звенящая паутинка опутывала его, протягивалась к дому на Большой Татарской, и не было сил ее оборвать. Обрыв этой паутинки толкал его в знобящую ледяную пустоту. «Не приходи! Лучше не приходи!»

\* \* \*

Через неделю она сама позвонила ему и пригласила к себе. И наперекор своему решению он пришел, и эта вторая встреча была настолько ошеломляющей и вместе предопределенной, что уже не было сомнения в некоем роковом совпадении.

Она открыла дверь, почему-то взяла его за руку и, пятясь из передней, излишне гостеприимно улыбаясь Александру, сразу же за порогом плавным жестом показала на диван, говоря безмятежным голосом:

– Познакомьтесь, пожалуйста. Я рада вас познакомить.

Навстречу Александру встал с дивана светловолосый капитан, летчик, с изящным, очень бледным, совсем алебастровым лицом; новенькое выходное одеяние сидело на его прямой фигуре безупречно, ордена переливались золотом – образцовый герой неба, «аристократ войны», как беззлобно называла летчиков пехота, разведка и всякая солдатская кобылка, ходящая ногами по земле. Летчик вздернул голову, левая бровь его мелко заходила, как от тика, и он, не протя-

живая руку, представился не без надменной небрежности:

– Летчик-истребитель, гвардии капитан Соловьев. Честь имею.

«Вроде третий парень, но набивает цену. „Честь имею...“ – подумал Александр и, тоже не подавая руку, представился непринужденно:

– Честь имею. Лейтенант запаса Ушаков. Командир взвода разведки.

Наступило тягостное молчание. После жары прошел дождь. Из открытого окна доносилось уходящее ленивое погромыхивание за крышами. Они стояли друг против друга, не говоря ни слова, оба ждали, кто заговорит первым – о чем заговорит? О погоде? Об «аристократах войны»? О разведке? О чем? Вероника стояла возле стола, заложив руки за спину, и тоже ждала, переводя смеющийся взгляд с одного на другого, точно бы подталкивая их: ну, что вы стоите, как истуканы? Подеритесь, что ли?

И Александр неожиданно увидел этот взгляд и тут же увидел за ее спиной на бархатной скатерти стола сложенные штабельком три плитки шоколада «Золотой ярлык», того самого шоколада, с которым она в первую встречу приглашала его пить чай, и не без шуточной вежливости повторил:

– Честь имею, честь имею, товарищ капитан.

– Ну, поговорите же наконец! Вы ведь фронтовики! – воскликнула Вероника. – Вдруг вы встретились у меня – и что? Вам говорить не о чем? Или вам что – подражаться хочется?

– Милая Вероника, – сказал Александр с той же деланной вежливостью. – Я не хочу быть гладиатором и погибать на глазах у прелестных матрон. Прочитай лучше «Спартака». А к твоему знакомому летчику я ничего не имею. Зачем он мне нужен!

– Но имею я! – оборвал капитан решительно. – То есть разговор с тобой, лейтенант. И не здесь. А в другом месте. И я попросил бы тебя, разведчик, прогуляться со мной по свежему воздуху. Согласен прогуляться?

– Полностью.

– Извини за все, – проговорил капитан и мягко подошел к Веронике, мягко вытащил ее руку из-за спины и, дрожа бровью, церемонно поцеловал ее пальцы.

Александр помнил, как последождевой ветер уходящей грозы еще порывами гнул ветви лип, срывал с листьев капли, покачивал мокрый колпак фонаря над их головами, а они оба остановились на углу Вальной, вблизи галдевшей головами «забегаловки», где только что выясняли и не выяснили отношения. Капитан, в заломленной на затылок новенькой фуражке, в новой суконной гимнастерке, с тремя орденами, статный красавец, стянутый ремнем, как корсетом, и Александр, по ранениям демобилизованный, ушедший в запас лейтенант в довольно-таки поношенном кителе с орденскими колодками, должно быть, с виду невзрачный рядом с боевым летчиком, но сдержанно-злой и совершенно трезвый. Он не пил в «забегаловке», лишь равнодушно чокался



с капитаном и отставлял стакан.

– Я тебя еще раз предупреждаю, родной, – говорил капитан с уверенностью и властно упер указательный палец в грудь Александру. – Ходить к ней буду я, а не ты! Ее фото со мной в самолете горело... Как талисман, со мной оно было, понял? Это не туфта. Запомни, не лезь между нами, лейтенант! Это для тебя опасно! Все понял? Предупреждаю!..

– Нет. Не понял, – Александр оттолкнул палец, упирившийся ему в грудь, заговорил резко: – Ходить к ней или не ходить – ты мне не прикажешь! Плевать я хотел на твои предупреждения! И давай на этом кончим разговор!

Красивое лицо капитана изуродовалось судорогой, стало неузнаваемым, как маска, зубы обнажились в оскале, и он отрывисто начал выталкивать запальчивые слова:

– Если я застану тебя у нее... за амурным чириканьем... если ты будешь ходить к ней... – он задохнулся, глаза яростно выдавились, пена выступила в краях рта, – если застану у нее – пристрелю!.. Понял? Пристрелю, как собаку!..

И, не договорив, он шагнул к Александру, издав горлом влажный всхлип, цепко схватился за кобуру пистолета, пальцы заскользили по кнопке, будто вырвать ее хотели, а его исковерканное судорогой лицо и этот угрожающий жест вдруг всколыхнули в Александре приступ бешенства. Он рванулся к нему, сжал руку, облепившую кобуру, и так зло дернул ее книзу, что капитан, вскрикнув, качнулся назад, в то же время тычком левой руки неловко, скользяще ударил Алек-

сандра в висок.

Удар был несильный, но багровой вспышкой ожгло глаза, и, не ожидая удара, не думая всерьез драться с ним, нетрезвым, почти плачущим в бессилии ревности, Александр кинулся на него с мстительным порывом, завел его локти за спину и, еле сдерживаясь, чтобы не хлестнуть его по лицу, со всей силы толкнул от себя, сказав сквозь зубы: «Прощай, капитан!» Тот поскользнулся на маслянистом асфальте, фуражка слетела с его головы, и он упал бы на тротуар, если бы обеими руками не уцепился за фонарный столб, стонуще выкрикивая:

– Убью, сволочь! Тебе на свете не жить! Семь пуль в лоб выпущу! Ты ее, гад, не любишь, она сама сказала! А я люблю ее! Я демобилизовываюсь... я женюсь на ней!.. Не мешай, гадина! Ты ей голову закрутил! Как собаку... как собаку убью! Или сам застрелюсь!..

Он нетвердо стоял на ногах, схватив фонарный столб, и плакал. Александр подошел сзади к нему, беспомощному, расстегнул кобуру, вынул пистолет, знакомый фронтовой ТТ, выщелкнул из рукоятки магазин с патронами и вложил пистолет обратно в кобуру.

– Прощай, капитан, – проговорил он как можно равнодушнее. – Утешься. Я ее не люблю. А магазин я взял на память.

И с рыцарской небрежностью подбросил на ладони магазин, сунул его в карман.

Капитан неуклюже отпихнулся от фонаря, лицо его без слез плакало и дергалось.

– Отдай патроны! – крикнул он сдавленным голосом и протянул руку. – Дай, говорят, сука! Ух, как я тебя, сволочугу, ненавижу! Больше фрица... Ненавижу! Убью!.. Весь магазин бы не пожалел! С сука!

Александр посмотрел на его дергающееся, искаженное ненавистью лицо, недавно самоуверенное, высокомерно-вызывающее, подумал: «Да ведь он контужен, бедный парень! Знакомо это. Водка на него подействовала сразу».

– Возьми свои боеприпасы и пошел бы ты... – проговорил Александр и бросил магазин на грязный асфальт... – Боевой привет славной авиации! – И ногой подтолкнув магазин поближе к фонарю, добавил: – В следующий раз отберу пистолет, если будешь без толку лапать его на заднице!

Он говорил жестокую глупость, понимая, что был сейчас сильнее контуженного капитана, и одновременно проклиная себя за ерническую наглость, за то, что не получилось разговора с ним, в чем, вероятно, был виноват он, Александр, человек относительно здоровый теперь: фронтовые ранения уже не беспокоили его.

С напряжением в лице (чувствовал, как похолодели губы), он козырнул летчику и пошел по хлопающим на тротуаре лужам в сторону, противоположную Павелецкому вокзалу, откуда его соперник должен был на пригородном поезде ехать в расположение части.

«Где же наше фронтовое братство?» – думал Александр со злой издевкой над собой и непроизвольно оглянулся на углу. Возле фонаря капитана уже не было. В предзакатном воздухе золотисто светилась окнами громада вокзала.

\* \* \*

... На Большой Татарской он остановился напротив дома Вероники и посмотрел на окна в пятом этаже с мутным волнением. После объяснения с летчиком он не звонил ей и она не звонила ему. Но все, что было связано с Вероникой, оставляло в нем вязкую горечь, где виноват был, конечно, он, внушивший себе глупейший самообман, и все же около этого дома что-то шевельнулось в душе отчаянное: а не зайти ли вот сейчас, не взглянуть ли ей в глаза и не сказать ли: «Поздравляю тебя с прекрасным женихом. Парень что надо. „Золотой ярлык“ будет приносить счастье и все будет в порядке».

И с презрением к самому себе отвергал это.

«Неужели хочу мстить? За что? Да ведь она намеренно пригласила к себе, когда у нее сидел этот летчик, чтобы я, глупец, все понял».

Потом он вышел на Озерковскую набережную, долго стоял, упираясь локтями в чугунные перила на Горбатом мосту, глядя на Канаву, теплую, с радужными маслянистыми пятнами над деревянными, покрытыми зеленью плесени свая-

ми, видными сквозь просвеченную солнцем воду. Здесь, в этой Канаве, замоскворецкие мальчишки купались в тридцатых годах, «саженками» переплывали ее несколько раз, «солдатиками» ныряли со старого моста, наслаждались свободой, собственными криками, прогретой солнцем водой, даже сладким запахом нефти, которая павлиньими перьями играла на шумевшей волне, набежавшей от прошедшего в сторону Яузы буксирчика. Когда это было? И сколько их осталось в живых? Тех, кто собирался сюда из ближних дворов. В этом райском мальчишеском уголке никого не было сейчас. Где они, послевоенные москворецкие пацаны?

От воды шел несвежий, теплый воздух. Набережная была намертво опалена солнцем.

Он выкурил папиросу, подхваченный едким страхом одиночества среди зловещей городской пустыни – чувство, однажды испытываемое им не на войне, а дома, в кошмарном сне, где он погибал, оставленный всеми.

Он бросил папиросу в воду, проследил, как ее вяло покрутило течением под мостом, спустился на набережную и бездумно двинулся по теневой стороне переулка в запахах пыльной листвы, размякшего асфальта, напоминавших запахи детства, когда после купания, счастливые, возвращались домой в прилипших к телу рубашках, с мокрыми волосами, с пресным вкусом мазута во рту.

До сумерек он бродил по знакомым и незнакомым переулкам. Неизвестно зачем забрел на перрон Павелецкого вокза-

ла, сидел в горячей тени на горячих скамейках пришкольных сквериков, снова думал только о том, как выйти из создавшегося положения, которое тревожило его несколько дней? Фронтовые деньги, отданные матери, кончались, за ордена и медали он получил в сберкассе до копейки; великолепную зажигалку – никелированный пистолетик, стреляющий огоньком, раскладной немецкий нож, удобно совмещающий в себе ложку, вилку, штопор и ножницы, – эти трофеи были проданы на Дубининском рынке две недели назад, денег хватило ненадолго. Оставался последний, привезенный с фронта немецкий трофей – офицерский компас в кожаном футляре, который не удавалось продать. Что ж, он продаст и его в конце концов – а дальше что?

Часы? Жалко, конечно, но придется пойти и на это. А дальше?.. Разгружать уголь или дрова на товарных станциях под Москвой? Впрочем, и такое не страшно. Ну а дальше? «Дальше» уходило в дымную бесконечность, в необозримый провал, где он не мог вообразить себя – и тут дохнуло на него нехорошим предчувствием, и тупая тоска стиснула его. «Потом, что будет потом? А потом – суп с котом?»

## Глава шестая

Еще в коридоре он услышал возбужденные голоса и постоял некоторое время, хмуро думая, что это за гости у них. Из-за двери доносился энергичный фальцет Яблочкова, врача-психиатра, лечившего мать:

– Если уж хотите, то старики чаще всего теряют ощущение смены и движения, чаще всего, ибо живут одной минутой! Нередко их жизнь – сон без продолжения! В мои же годы смерть – ближайшая соседка, старость – нейтральная страна!

– Нейтральная? Это как же?

– Но-о... Жизнь следует преобразовать изнутри, если уж хотите, Исай Егорович! Взорвать нейтралитет изнутри! Мы живем на обочине счастья, потому что ослушиваемся самих себя! Раствление духа! Отступники!

– Перестаньте глупить, Михаил Михалыч! Как это – взорвать изнутри? Какие отступники? – глухо гудел Исай Егорович, покашливая от волнения. – Устроить внутри себя революцию и разнести себя в клочья? А смысл?

– О, голубчик мой бесценный, инженер мой золотой, жизнь создает идеи и понятия, а не идеи и понятия создают жизнь. Че-пу-ха! Питекантропство! Неандертальство!

– Михал Михалыч, побойтесь Бога! Вы способны упиваться действительностью? А если ваша действительность: шаги от кормушки до туалета? Простите, Анна Павловна,

за вынужденный кулёр-локаль военных лет. Я хочу одного, доктор, что по вашей профессии: душевного спокойствия. И больше ничего. Мы все смертельно устали после войны...

– Покой? Во имя чего? Душевный комфорт – глупость! Самодовольство – идиотизм! Пресыщение – тупость! Непокосимые истины – вечны: голод, боль и страдание! Но-о...

Александр вошел, не дослушав конца фразы.

В комнате его опахло теплой сладковатой пряностью вина, совсем забытым праздничным запахом, смешанным с горьковатой духотой папиросного дыма. Сиреневым парашютом висел низко над столом наполненный светом довоенный абажур, на столе как-то непривычно было видеть две бутылки красного вина, тарелку со сказочной горкой маленьких мандаринов, очищенная кожура которых, белея внутренней стороной, лежала на скатерти игрушечными корабликами, как много лет назад в праздничные вечера. Александру бросилось в глаза и это дорогое вино, и мандарины, и то, что мать, по обыкновению закутанная в домашний халат, сидела за столом в старом потертом кресле, курила, а мягко-задумчивые глаза ее взволнованно светились, причесанные волосы с дорожками седины были стянуты на затылке в пучок. «Мама выпила вина», – подумал Александр. Исай Егорович, наряженный в куртку, выбритый, сидел на диване, несуразно поворачивал в костлявых пальцах стакан с вином и имел облик несколько оторопелый – два черных крыла, открывая тропинку пробора, распались на его голове, закрывая уши,



торчали по бокам взъерошенными перьями, смуглые скулы пестро краснели пятнами, выдавали его смешное опьянение. По комнате из угла в угол быстро ходил на крепких ножках Яблочков, маленький, румяный, с большой лысиной, и внушающим трескучим голосом говорил, отчего остро-долгоносое лицо Исая Егоровича вытягивалось. На миг Яблочков замолчал, бросился к Александру, тиская ему руку очень мощной и крупной рукой, что было удивительно при его малом росте.

– Как дела, Александр?

– На ходу. В вертикальном положении, как видите.

– Не соображу! – захохотал Яблочков, показывая золотые зубы в глубине рта. – Что значит в вертикальном положении?

– Так говорили в разведке, когда все в порядке, – значит, не ранило, не ухлопало, – ответил Александр, переводя глаза на мать, с беспокойством угадывая, почему врач, который после ее выхода из больницы время от времени посещал их дом, сегодня в таком приподнятом настроении, и откуда это дорогое вино и мандарины на столе, и почему пьяненький, как муха, Исая Егорович сконфужен громким разговором, который напористо ведет Яблочков, человек, не похожий на врача, что, в общем-то, нравилось Александру так же, как его врачебная искренность, далекая от успокоительной болтовни у постели больного: «Ничего, ничего... будем надеяться». Однажды он попросил Александра проводить его и по дороге от дома до конца переулка рассказал о болезни матери,

начавшейся со смертью отца, определяя ее нервное заболевание плохо излечимой тоской, душевной усталостью, утратой вкуса к жизни, коротко – нежеланием жить. «В больнице она бредила только встречей с вашим отцом там... в краях заоблачных... и с вами, если вы убиты...»

– Значит, не ранило, не ухлопало – отсюда вертикальное положение! – повторил Яблочков одобрительно. – Садитесь, Александр, за стол, выпейте хорошего вина и закусите мандарином во славу русского оружия. Вино и мандарины – подарок моего пациента из Грузии, танкист, лечился у меня, тяжелая контузия на Одере. Вместе с бутылками вина прислал записку такого содержания: «Светлейший, кавказского вам долголетия. Ваш Гога». Прекрасно, изумительно! В вертикальном положении, говорите? Не без смысла! – повторил Яблочков, живо заходя в комнату, страстно сверкая очками в разные стороны и, подобно магу на сцене, распространяя вокруг себя веселую энергию. – Садитесь, садитесь, Александр, и поучаствуйте в нашем со-бе-се-довании с чудесным Исаем Егоровичем!..

– Посиди со мной, – сказала мать, приглашая Александра слабой, жалкой улыбкой, которая так трогала его («Анютини глазки грустят», – иногда нежно шутил отец), и Александр сел возле, Исай Егорович чересчур услужливо налил ему в стакан вина, мать добавила тихонько: – Побудь с нами, я тебя почти не вижу. Ты приходишь только ночевать...

– Мама, ты так и не бросила курить после больницы, –

сказал Александр. – Тебе не вредно?

– Анне Павловне вредно только насилие над собой. Насилие, тормозящее динамический стереотип ее желаний! – вмешался Яблочков и с бодливым упрямством нацелил лысину на Топоркова: – Ну что ж, продолжим? Будете спорить, Исай Егорович? Или – пас?

– Не, не пас! Попробую, – неловко взъерошился Топорков. – Вы вот... как врач, наверное, сказали... о непоколебимых истинах... А как же... как же тогда любовь? Это же... – на его лбу разводами пошли красные пятна, он нервозно отхлебнул из стакана и уставился на Яблочкова.

– Истина со слишком.

Исай Егорович ошеломленно заморгал черными глазами.

– Разве может быть истина со слишком, Михал Михалыч?

– Нету истины со слишком. Но есть понятие «со слишком!» Слушайте сюда двумя ушами! – захохотал Яблочков. – Если из глины слеплен Бог, то это уже Бог, а не глина. То, что сегодня правда, завтра уже ложь. То, что утром мода, вечером – мерзкая пошлость. То, что в нынешний день красота, завтра – безобразие. Остается одно – сверх чуть-чуть или «со слишком»! Самовнушение, да-с, драгоценнейший мой инженер! Красота – это то, что нам нравится. А не объективная реальность! Кто может выделить красоту из хаоса вранья! И это – прекрасно, это замечательно, золотой мой инженер! Не красота спасет мир, а это «со слишком»! То есть – внушение идеи любви к тому, что человеку нравится, а не

к тому, что суют под нос как скипидар. Обчихаешься! Не хватит носовых платков, придется рвать простыни. Вот так, добрейший Исай Егорович! Анна Павловна, голубушка, не надоели мы вам своими прениями? Стоп! – круто прервал себя Яблочков, стремительно направляясь к столу, сияя своим румяным жизнерадостным лицом, взял худенькую руку улыбнувшейся Анны Павловны и с восторженным мычанием поцеловал. – Кстати, сегодня я доволен вами. Папироса и немного вина не во вред. Сегодня вы хорошо выглядите. Я доволен, доволен вами. Мда-с!

«Мама действительно выглядит лучше», – подумал Александр, молча отпивая сладковатое густое вино.

– Позвольте... Почему не красота, по Достоевскому, именно это ваше «со слишком» спасет мир? Позвольте, не понимаю, – не унимался Исай Егорович с обалделым несогласием, а черные клочки волос торчали около ушей растопыренно и возмущенно. – У вас какое-то безумное убеждение! Это связано с вашей профессией... с психиатрией? Неужели вы все знаете о человеке? Даже страшновато... Дико! Неслыханно!..

– Кое-что! – потряс пальцем в воздухе Яблочков. – Моя психиатрия замечает везде весьма уловимое сладострастие злобы. Только красота может выделить, так сказать, добродетель из хаоса лжи и злобы. Вернее: то самое «со слишком». В конце концов это умение взять чистую ноту до или ля! Чистую, как лебединое перо! Среди грязи, батенька!

– Позвольте, – робко запротестовал Исай Егорович, стесненно взглядывая на Анну Павловну, вроде бы смущаясь своей назойливости. – Но есть плохие и хорошие люди... Не все ведь хотят... И еще хуже... Когда началась война, можно было подумать, что белый свет не для человека, а для человекоподобных животных. Неужели зло в самой природе было устроено? Дико как-то... Две тысячи лет существования христианства – и что? Или зло в самом человеке? И... и во всех нас?

– Бога и природу не трогайте! Но вы – гигант мысли, Исай Егорович! – вскричал одобрительно Яблочков, потирая руки. – Все правильно и парадоксально! Везде тысячи исключений из правил! Все противоречиво! Все в нашей жизни напоминает зебру! В среде медиков говорят следующее. Человек рождается с трагической утратой, о которой он заявляет своим первым криком, появляясь на свет, – это утрата бессмертия. Хотя акушерки, держа в руках младенца, говорят: «Ну, „ура“ закричал». Радость и трагедия, батенька мой, ходят об руку. Отсюда все несовершенство гомо сапиенса! А вы знаете, милый инженер, что такое укушение бешеной собакой?

– Н-нет, – промычал Исай Егорович обескураженно.

– Мда-с! Такова сель ави! – отчеканил Яблочков. – Укушение бешеной собакой произошло в Германии. Иногда это случается со всем человечеством, иногда с большой группой людей.

– Укушение собакой? – пробормотал Исай Егорович.

– Мда-с! – вторично отчеканил Яблочков и, снова смягчась, добрея и голосом, и всей своей низенькой плотной фигурой, приблизился к столу, склоняя большой лоб. – Анна Павловна, голубушка, не утомили мы вас? Зверским спорщиком оказываюсь всякий раз я, как только вижу уважаемого изобретателя, Исаю Егоровича, насыщающего наше социалистическое общество радиоточками.

И, выражая лицом позволительную вольность врача, он взял бледную руку Анны Павловны и почтительно-невесомо поцеловал ее. Анна Павловна сказала:

– Нет, спорьте, спорьте, пожалуйста, мне интересно. – И потянулась к раскрытой пачке «Казбека», тоже, видимо, подаренной Яблочковым. Но тот ласково положил ладонь на ее руку, посоветовал не очень настойчиво:

– Если возможно, то не больше трех за вечер. Лучше вино или мандарины. Ну-те-с, друзья, пригубим... – И гусарски тряхнул головой, по-прежнему излучая расположенность к товариществу, разлил всем по стаканам вино, стоя выпил и, дружелюбно подмигнув Александру, довольно-таки комично изобразил щегольское обтирание усов. После чего Александр подумал: «А доктор все-таки свойский мужик». Исай Егорович к стакану не притронулся, пугливо скашивал выпуклые чернильные глаза то на пышущего здоровьем доктора, то на Анну Павловну, отвечающую доктору чуть заметной улыбкой, которая, мнилось, терзала Исаю Егорови-

ча, будто поверженного бесконфузной смелостью Яблочкова, которому, наверное, благодаря профессии было позволено то, что не позволено другим и ему, Исаю Егоровичу. Исай Егорович вдруг с нелепой смелостью схватил свой стакан, выпил вино, как пьют воду, не разбирая, по-видимому, ни вкуса, ни запаха, поперхнулся кашлем, потом выражением долгоносого лица выказывая решимость сразить Яблочкова, воинственно оперся локтями на острые колени.

– Вот вы врач... Вот вы все знаете!.. Скажите, что такое наша жизнь и что такое наша смерть? Вот вы сказали о крике младенца...

Яблочков в недоумении почесал пальцем голую макушку и, подумав, артистично поклонился Исаю Егоровичу, даже шаркнул ножкой.

– Рукоплещу за комплимент. Однако... все знать очень утомительно. И – неприятно-с! Тем не менее – никто из человек не способен осознать ни свою жизнь, ни свою смерть. Мое личное убеждение весьма субъективно, оно таково: смерти нет. Есть вечность духа.

– Это вы как врач говорите?

– Как врач я чувствую на зубах только вкус боли пациента, почтеннейший Исай Егорович.

– А как же ваш младенец? Что-то вы противоречите...

– Нисколько! Предназначенное расставание с земной обителью – трагедия каждого. То есть – в некий час вас выселяют из обжитого земного дома и переселяют в другое про-

странство, в вечность, без вина, мебели и водопровода, которые там бессмысленны и не нужны.

– И вы, врач, верите в, так сказать, надмирное существование?

– Это не существование. Это нечто другое, дорогой Исай Егорович. Умоляю – не будем касаться запредельного, ибо мы с вами отнюдь не разумнее древних греков и вселенских мудрецов, включая Льва Толстого, Циолковского и даже Чехова, материалиста, очень циничного в этом великом вопросе. Но и доктор Чехов в конце жизни поверил во что-то... в нечто... Александр, голубчик, – уважительно позвал Яблочков, оборотив к Александру бодрое полнокровное лицо. – В вашем книжном шкафу видел изумительную книженцию, сказки «Тысяча и одна ночь». Принесите, будьте любезны, там есть чудесное... к нашему разговору. Вам не трудно?

– Совершенно нетрудно, – отозвался Александр, с особым любопытством воспринимая рассуждения Яблочкова, соглашаясь и не соглашаясь с ним, веря в некоторые приметы и предчувствия на войне, порой завершавшиеся смертельным исходом. Он не отрицал и то, что было вовсе необъяснимо, как фронтовые суеверные знаки, загадочные предупреждения, проверенные и на своей шкуре, и чужим опытом на передовой: разведка в полнолуние, празднично чистое бритье перед боем, хвалы начальства и расслабленность после награждения и удачи.

В большом книжном шкафу со скрипучими дверцами (до



войны ночью часто был слышен этот скрип), когда-то сплошь забитом книгами, собранными отцом за многие годы, теперь зиявшим пустотами на тех полках, где стояли дореволюционные собрания сочинений классиков, Александр нашел читанный еще в школе томик арабских сказок в издании «Академии», принес его Яблочкову, и тот, не садясь к столу, с удовольствием погладил корешок книги, сдернул очки и начал ловко перелистывать страницы, отыскивая нужное место, лицо его без очков обмякло, а глаза, казавшиеся за стеклами пронзительными, стали вдруг голубыми, детскими.

– Вот, пожалуйста, – сказал он свежим голосом и потряс очками в воздухе. – Все сказки Шахразады кончаются так: «И они жили в счастии, радости, наслаждении и благоденствии, пока не пришла к ним Разрушительница наслаждений и Разлучительница собраний». Гени-аль-но! В этом вся философия жизни и смерти! Спокойное и мудрое разумение! Анна Павловна, вы давно читали эти прелестные сказки? – обратился он к матери с дружелюбной ласковостью в голосе.

Она не ответила ему, только слабо улыбнулась. Исай Егорович внезапно рассмеялся, и в его смехе проскользнула ревнивая враждебность.

– Что за наслаждение? Какое тут... простите... благоденствие? – выговорил он, опять поперхнувшись от возбуждения кашлем. – Патока! Мармелад! Если хотите, это какое-то легкомыслие! Кого вы утешаете? И зачем? Наша жизнь, простите, состоит из горя, бед и страданий, а вы восторгаетесь

какими-то сказочками!

– О! – И Яблочков, вмиг заинтересованный этой вспышкой Исаия Егоровича, бросил очки на широкий нос и тоже рассмеялся. – Как говорят, ваш язык, дорогой Исаия Егорович, сорвался с привязи! Продолжайте! Не насытитесь око зрением, не наполнится ухо слушанием. Познать мудрость и красоту, познать безумие, безобразия и глупость – это есть жизнь, о которой вы говорите. Все остальное – черт знает что с бантиком справа!

Серое в пятнах лицо Исаия Егоровича наливалось зеленой бледностью. Он сказал:

– Вы даете понять, что считаете меня дураком. Благодарю вас. Можете считать меня и пессимистом. То есть внутренним эмигрантом, как называют у нас людей такого рода. Я болезненно вижу плохую сторону нашей жизни... и не верю в перемену земного дома. Чудовищная мистика у нас получается так, что хвост виляет собакой.

«Зануда, – подумал Александр. – Похоже, что он ревнует Яблочкова к матери, и нудит, и злится, чтобы не быть вахлаком...»

– О, Господи, спаси и пронеси! – вскричал с жаром Яблочков и перекрестился. – Хвост виляет собакой – это уже дьявольщина! Гоголь! Вий! Правда, там подобного влияния я не помню. Так вот, Исаия Егорович, за дурака, конечно, я вас не считаю. Но позволю, с вашего разрешения, сказать: то, что я говорю, вы, прошу миллион извинений, не понимаете,

а то, что вы понимаете, я никогда не говорил. Скажите, чего вы боитесь, дорогой?

– Того, чего и вы.

– Ну, это весьма проблематично. Мы слишком разные люди. И все-таки, чего вы боитесь? Вы весь напряжены, возбуждены, натянуты как струна! Какова причина?

На позеленевшем лице Исаия Егоровича пребывала жалкая гримаса неприязни и растерянности.

– Вы судите обо всем со смелостью невежды.

– Вот это вы меня здорово! Вот это совсем прекрасно! Только почему такая дряблая нерешительность? Надо было прямо в физиономию рявкнуть по-медвежьи: «Ба-ал-ван, лысый хрыч, нужны мне ваши суждения, как нашей козе контрабас или... рояль фирмы „Беккер“!»

– Я стыжусь за вас, – пробормотал Исаия Егорович. – Вы плохо воздействуете на Анну Павловну.

Яблочков, нисколько не обиженный, заходил по комнате, с лукавым весельем посверкивая очками в сторону Анны Павловны, которая, чудилось, с болезненной завороченностью слушала его, подперев худенькими кулачками подбородок, и в этой позе ее, в закутанной в халат фигурке было что-то схожее с девочкой не от мира сего, слабой, хворой, беззащитной. Александр со сжавшимся горлом вспомнил слова Яблочкова: «У вашей матери серьезная нервная болезнь – нежелание жить» – и сказал несдержанно:

– За кого вы еще стыдитесь? Чепуха какая-то, детские

финтифлюшки! И не вмешивайте в ваш спор мать. Городите черт-те чего.

Мать вздохнула.

– Саша, сынок, по-моему, ты раздражен и груб. Ты обижаешь... Ты несправедлив...

– Анна Павловна, голубушка! – воскликнул Яблочков, не изменяя ободряющего выражения лица, и, подойдя к окну, широко распахнул форточку. – Если и было какое-то раздражение, то, поверьте старому медику, яд его вышел в раскрытую форточку и еще не проник в энергетическую оболочку нашей ауры. Ссоры между мной и Исаем Егоровичем нет. Есть маленькая разница в мыслях, понимаете ли! А мысль – это следствие динамического объединения нейтронов, как заявляют американские физики и следом некоторые советские инженеры. Не так ли, Исай Егорович? А? Ди-нами-чес-кое объе-ди-нение – это просто прелестно! Еще раз подтверждает, что человек – это робот, машина, механизм, подобный трактору, велосипеду или утюгу!

– Я этого не говорил! – встрепенулся Исай Егорович, размахнувшись волосами над ушами черными крыльями, как будто он взлететь хотел, и видно было, что примирительные слова Яблочкова не остудили его. – Я не занимаюсь философствованием, как вы, – договорил он.

Яблочков добродушно захохотал.

– Но я-то не о вас и не об этом! Вы просто хотите сказать, что красота – красива, а безобразие – безобразно! Не

так ли, Исай Егорович? – Яблочков вновь заходил из угла в угол, потом, замедляя шаги, остановился посередине комнаты и заговорил, переменяя тон: – Я хочу сказать совершенно другое. В свои пятьдесят лет я утвердился в этом непреложно. Понятия «плохой» или «хороший» не исчерпывают сути человека и нашей жизни. Надо любить жизнь ради нее самой. Вопрос: а смысл всего этого? Ответ: цель жизни – в самой жизни. Главным образом в личной и духовной. Всякие громкие политики и высокие политэкономии – к шуту гороховому! – Он замолчал, спохватившись, озираясь с развеселым прищуром за очками на двери в коридор, но тут же, махнув рукой, продолжал с убежденностью проповедника: – Надо постараться жить в гармонии с землей и самим собой. Все мелкие заботы и тревоги – в мусорную корзину! Как обременяющий хлам! Все ничтожное сокращает жизнь. И верить, верить, что придет пора радости и света, а не конец мира! И помнить слова самого великого человека из самой великой книги: «Не умрем, но изменимся». И наступит очищение души и облегчение. Тогда, поверьте, Анна Павловна, все обретет значение и цену: каждый день, каждый час нашей жизни. И ради Бога, не ругайте меня за то, что я вместо какого-нибудь дурацкого элениума притащил вам хорошего вина, что веселит душу. Вам надо немножко встряхнуться. По желанию – рюмку вина и три папиросы в день. Гуляйте, смотрите на небо, на тени от деревьев. И тогда на земном пути еще много прекрасных минут будет. Природа-матушка –

наивысший разум. Отдаться надо ее власти – естественному.

– И вы, доктор, отдаетесь... Этому... – кривя бескровный рот, возразил Исай Егорович. – Этому оптимизму?

– Насколько хватает моей воли, – ответил Яблочков, не обращая внимания на задиристое подергивание рта Исае Егоровича, и энергично заторопился, устремляясь к столу, навстречу поднятым глазам Анны Павловны, ставшим испуганными, точно бы прозрачными. – Я прощаюсь с вами, голубушка, ухожу с чувством хорошим. Вы сегодня молодцом, я вами доволен. Мы увидимся с вами через неделю. Или, если что, звоните в ординаторскую, и я прискачу на вороных...

И в эту минуту, когда он говорил эти бодрые слова, случилось что-то, чего Александр сначала не уловил: низенький Яблочков, склоняясь, стоял перед столом, взяв невесомую руку матери, чтобы поцеловать, а мать, не вставая, сидела с дрожащей улыбкой, опустив веки, удерживаясь, чтобы не заплакать.

– Побудьте еще, – шепотом сказала она, думая, вероятно, что ее никто не услышит. – Мне будет плохо.

«Мама больна. Я только сейчас по-настоящему понял, как она больна, – промелькнуло у Александра. – Почему она сказала, что ей будет плохо?»

Яблочков надолго приложился к ее сухонькой руке, маленький, лысый, преданный, потом ответил сниженным голосом:

– Я должен побыть с семьей. Как только вы позвоните, я

приеду... в любой час.

– Пожалуйста... умоляю...

Исай Егорович, втянув голову в плечи, весь сникнув, неслышно поднялся и, с робостью двигая ослабевшими ногами, зашаркал во вторую комнату, на пороге выговорил, не прощаясь ни с кем в отдельности:

– Спокойной ночи.

И прикрыл за собой дверь тщательно, наглухо отгораживаясь от голосов, от звуков в смежной комнате.

Александр пошел провожать Яблочкова до угла, шагая по неяркому свету уже зажженных фонарей. Михаил Михайлович говорил свежим голосом, как если бы ничуть не устал за целый вечер от долгих разговоров:

– Анну Павловну мы подыдем на ноги, Саша, уверяю вас. Иногда жизнь становится коварной топью, и главное – не дать ей засосать себя, опустить руки, умертвить природную естественность. И все же не посвящайте мать в ваши неурядицы, которых у вас наверняка хватает. Говорите с ней о самом обыденном, простом, небезнадежном. Иначе она постоянно будет возвращаться в прежнее состояние.

– Спасибо, Михаил Михалыч, я понял.

\* \* \*

Сон долго не приходил, он лежал с открытыми глазами, глядел в слоистую темноту, шевелившуюся под потолком,

слышал, как ворочался на кровати, прерывисто вздыхал Ис-ай Егорович, и с раздражением вспоминал, как он пришибленно ежился, словно бы сразу постарев и похудев, с ужасом косился на мать, когда она заворуженно смотрела на Яблочкова, как, ссутулясь, старчески шаркая, вышел из комнаты, заметив проступившие на веках матери слезы («Пожалуйста, умоляю...»). И невозможно было не видеть, что Исай Егорович, уже не справляясь с собой, в страдальческом бессилии ревнует мать, возражая и вступая в спор с Яблочковым.

«Если он действительно ревнует мать к Яблочкову, то это, конечно, сумасшествие, – думал Александр. – У Яблочкова двое детей. Да ведь и за пятьдесят ему. Ерунда и чепуха! Но почему Исай Егорович вызывает у меня какую-то скользкую жалость?»

Было тихо в доме. Где-то под полом вкрадчиво скреблась мышь. И равномерно падали в тишине замедленные капли из крана на кухне.

Александр закрыл глаза и, чтобы уснуть, стал считать эти капли, успокаивающе однотонные ночные звуки, заставляя себя ни о чем не думать, но вдруг возникало из солнечного блеска месиво голов, потные, азартные лица, рыночные палатки, пьяный парень с залитой кровью грудью, золотой портсигар на столе голубятни, задымленные дерзостью узкие глаза Кирюшкина, играющего трофейной финочкой, закопченный подвал разбомбленной школы, умоляющие глаза матери, потом равнодушно пустые окна Вероники над пыльными-



ми верхушками лип – все мешалось, сталкивалось, наползая с разных сторон, сдавливая его непонятной тревогой и тоской. Он открывал глаза, понимая, что все это не сон, что заснуть он не может, неуверенно решил, что, наверное, надо бы закурить и просто лежать и думать о том, что произошло за эти дни и могло завтра произойти с ним, с матерью, с Вероникой, и тут же опять погружался в хаос голосов и лиц, где необъяснимо было его присутствие, его место – кто он? Зачем он? Кто они, чужие ему, явно способные на все? Портсигар, деньги, голубятня... «А мне, в сущности, все равно, это их дело. Что ж, бывшие урки были у меня во взводе. Хорошие были разведчики. Правда, всегда приходили с трофеями: парабеллумы, вальтеры, офицерские кортики, часы... Да какое мне дело до золотых портсигаров! Главное – кто я теперь? Как жить? Никто не подскажет, кроме самого себя. И второе главное: как мы будем жить с матерью?..

Он заворочался на раскладушке, открыл глаза, глядя в темноту, душную, безучастно давившую немотую ночи; без надежды уснуть стал прислушиваться к одинокому стуку капель на кухне, и внезапно ему показалось: донесся из тьмы тихий мычащий стон, звук задавленной муки, как будто кто-то плакал в подушку, душил подушкой рыдания – ж, мгновенно стряхнув полузабытье, Александр быстро сел на раскладушке, немного подождал, спросил:

– Исай Егорович... Это вы?

Ответа не было. Александр лег с досадой на себя оттого,

что стон ему почудился от бессонницы и духоты или оттого, что Исай Егорович так тяжело застонал во сне, мучимый кошмарами.

«Странно: он не нравится мне, я не хочу, чтобы он был в нашем доме, но почему мне жалко его?» – подумал Александр и тотчас вторично послышалось горловое мычание, заданное подушкой.

– Исай Егорович, что с вами? – позвал Александр уже громко. – Вы спите... или плохо вам?

– Я не сплю... я не могу... – вытек из непроницаемой черноты всхлипывающий стон, затем медленно затрещала кровать под повернувшимся телом, после чего засипело учащенное дыхание, прерывающе скачущий шепот: – Александр Петрович, я вас прошу, умоляю... выслушать меня... Вы не расположены ко мне, я знаю, я чувствую, но не могу вам не сказать, иначе создается двусмысленность, отвратительная ложь... Я раньше хотел вам все искренне... по-мужски, но не хватало, не хватало сил... Хоть сегодня выслушайте, я должен знать, как вы...

– Что я должен знать? – спросил Александр, сбрасывая ноги с раскладушки. – Что ж, давайте по мужски.

Стало слышно шершавое движение в темноте, задавленный перхающий кашель, потом зашлепали по полу босые ноги, и возникло возле раскладушки какое-то дуновение теплоты, запаха голого тела, шепот, тот же робкий, прерывистый от перехваченного дыхания:

– Александр Петрович, поймите, я хотел бы...

– Вы что, на полу, что ли, сидите? – досадливо спросил Александр. – Если хотите говорить по мужски, садитесь на раскладушку, а не торчите на полу.

– Нет, что вы, не в этом дело, мне удобно на корточках, я не избалованный жизнью человек. Ваш отец, мой друг, считал меня за чудака, но любил, а я глубоко уважал его и вашу мать, Анну Павловну, поэтому я уважаю и вас, Александр Петрович, и мне не безразлично ваше отношение...

– Да о чем вы в конце концов? – нетерпеливо перебил Александр, догадываясь, о чем намеревался говорить Исай Егорович, не видя его, только неприятно чувствуя его по теплу, запаху и дыханию. – Какое отношение? К кому? К вам?

– Нет-нет, – захлебываясь, заговорил Исай Егорович и задвигался где-то рядом у раскладушки в нервном возбуждении. – Я не о себе... Вы можете ко мне относиться с предвзятостью. Я могу вызывать несимпатию, да, да, я другого поколения... отживающего... я чудака, но я никого не предал... и не предал вашего отца в тридцать восьмом году. Когда меня вызывали. Боже, Боже, тогда было поголовное предательство. Тогда интеллигентный человек на Лубянке мне говорил, угощал чаем, и какое-то печенье даже было. Он говорил таким приятным голосом: нам нужны предатели, чтобы самим очиститься... чтобы очиститься всему народу. И убеждал, что таков был Иуда, он взял на себя все. И теперь прощен и понят многими. Понимаете, понимаете? И гово-

рил, что с этой верою невозможное станет возможным... Я не предал, не предал вашего отца, и он это помнил... до своей гибели... И это знала Анна Павловна...

Он задышал ртом, в волнении ему недоставало воздуха, но по-прежнему не видно было ни его лица, ни плеч, ни рук, сидя на полу перед раскладушкой, он весь сливался с мраком комнаты, и иногда, на короткий миг, что-то фосфорически светилось и гасло вблизи кровати: то ли глаза, то ли зубы Исаия Егоровича; в этом бредовом бормотании его было крайнее возбуждение, близкое к припадку сумасшествия, и Александр сказал:

– Договаривайте все, Исай Егорович, только спокойней.

– Только выслушайте, выслушайте меня до конца, не прогоняйте, – заговорил Исай Егорович, заглывая слова. – Я хочу искренне, чистосердечно... чтобы вы не составили обо мне неправильного... простите, ложного представления... За три дня до смерти... до кончины вашего отца... мне разрешили... я был целый час в госпитале. Мы разговаривали. Он чувствовал себя плохо. Рана в груди мучила его. И удушье приносило страдание. Он еле говорил. Он уже предчувствовал... и когда прощались, вдруг сказал мне: «Если что, не забудь Аню, помоги». Поверьте, это было за три дня до гибели Петра Сергеевича. Наверно, о последней встрече со мной он рассказал и Анне Павловне...

– Почему вы так решили? – спросил недоверчиво Александр.

– Когда бомба попала в школу и привела в негодность наш дом, я зашел проведать Анну Павловну и не скрыл квартирную беду, а она сказала, что я могу пока жить в комнате Петра Сергеевича...

– Выходит, не вы помогли матери, а она вам?

– Нет-нет, я все что угодно: зарплату, продуктовую карточку – все, все готов отдать!.. Все, что у меня есть, все-все! – шепотом вскричал Исай Егорович и, опомнясь, видимо, зажал ладонью рот, чтобы не разбудить в соседней комнате Анну Павловну, договорил заглушённой хрипотцой: – Но она не берет, ей ничего не нужно, она ведь живет, как монашенка, на хлебе и воде, на двух ложках супа... Вы же видите, какая она худенькая, как девочка, только глаза одни. Я удивлен, как она сегодня выпила вина, курила. Александр... Александр Петрович... – поднял голос Исай Егорович. – Я плохо верю доктору Яблочкову, он не лечит, а своим внушением возвращает Анну Павловну! Это не доктор, а какой-то кавалер, гусар, странный философ от своей отвратительной психиатрии! Петух!

– Не думаю. Яблочков настоящий мужик, как я понимаю, – несогласно сказал Александр. – Мать ему верит, я видел это сегодня.

– Да, ему верят, ему – да! Ему конечно! – вскричал Исай Егорович в ладонь, зажавшую рот. – А мне – нет! Не швырнуть ли меня в мусорный ящик? К крысам! К тараканам! В грязь! Под каблуки петухов-психиатров, которые издевают-

ся надо мной в присутствии Анны Павловны! Пусть я кажусь кому-то чудаком, пусть я – ходячее недоразумение, но и у меня есть человеческое самолюбие, стыд, мужская честь, да-да, честь – безумнейшая щепетильность! – И хлопнувшем шепотом в отчаянии добавил: – А впрочем – чести уже нет!..

– Да в чем дело? – не сдержался Александр. – При чем здесь честь?

– Я растоптан сегодня на глазах Анны Павловны!

– Нич-чего не понимаю! Кем растоптаны?

– Я растоптан сегодня гусаром, индюком, соблазнителем!

Он нечестен, нечестен, он лжет, этот врач, врет и обманывает! Он сведет в могилу Анну Павловну!

– Да что за хреновину вы порете? – взорвался Александр. – Что за фигня?

Была минутная, ударившая звоном в ушах тишина, какая бывает на рассвете после разрыва одиночного снаряда среди еще ночного безмолвия – и Александр даже озяб от воющих звериных звуков, от грубого мужского плача, которые рвались из непроглядной ночи вместе с бредовой скороговоркой:

– Режьте, стреляйте, убивайте меня, я ничего не могу с собой поделать! Я несчастный человек, я люблю, давно люблю Анну Павловну, я люблю ее больше жизни!.. Я готов быть ее рабом, слугой, я не могу жить без нее! Она никогда не согласится быть моей женой, она стесняется вас, своего сына, но я...

– Что? Договаривайте уже все! Договаривайте...

Исай Егорович загнанно дышал перехваченным слезами горлом, потом договорил обреченно:

– Но я знаю... вы будете против, если бы даже Анна Павловна согласилась.

Александр молчал, чувствуя, как разрастается в нем неопределенная боль, какое-то рвотное, давящее ощущение, досада и жалкая горечь от этой оголенной искренности Исай Егоровича, от его зажатых ладонями рыданий, от кислого запаха вина и пота его разгоряченного тела. И он сказал насколько можно уравновешенно:

– Я никогда ни в чем не буду мешать матери. Но надо сойти с ума, чтобы сделать то, о чем вы говорили. Мама нездорова.

– Да-да, я сошел с ума, я потерял всякое здравомыслие! Я потерял... Я хочу быть слугой, рабом!.. – заторопился судорожно Исай Егорович. – Только я смогу быть верным другом Анны Павловны, я посвящу ей всю жизнь, без остатка, все свое время, всю свою душу. Я люблю ее, понимаете, люблю много лет!.. Как только увидел ее, когда она...

И он опять застонал, замычал в ладони, охваченный новым приливом истерического неистовства влюбленного безумца, поражая Александра своей немужской слабостью.

– Прекратите. Успокойтесь, – прервал Александр, подавляя раздражение. – Ложитесь спать. Дать вам бром?

– Зачем? Зачем?

– Ну, как хотите. Я пойду покурю на крыльце. Ложитесь все-таки спать.

Он потянул со стула брюки, надел рубашку, на цыпочках прошел через комнату, где спала мать, после долго сидел на крыльце, курил, смотрел на звезды, играющие голубым блеском над крышами сереющего в предрассветном воздухе двора.

Ему не хотелось возвращаться в комнату, продолжать разговор, слышать мучительную искренность переставшего владеть собой Исаея Егоровича, обезумевшего в своем ревнивом чувстве к матери – неприятна была и его чудаковатая одержимость, и его ничем не прикрытая слабость, и его готовность к унижению.

«А что, если мать согласится иметь такого покорного ей раба? – подумал неуспокоенно Александр и поежился на ночном ветерке. – Нет, этого не может быть».



## Глава седьмая

– Это ваша красота похитила мой разум. Вы своей красотой смущаете восходящее солнце.

– О, Эльдар, комплименты напрасны. Я душевно отравленная Гретхен. Я ненавижу весь мужской пол. И не надеюсь, и не распускай слюни. Хотя глаза у тебя, как у молодого верблюда.

– Такова будет награда... Часть двадцать третьего стиха пятьдесят шестой главы Корана.

– Твоя награда – тюрьма или смерть, косоглазый Эльдарчик. Рано или поздно. Вы с Аркадием одной веревочкой связаны.

– О, Нинель, несравненная! Наутро после первой брачной ночи муж может увидеть лицо своей жены после свершения брачного обряда. Но я вижу тебя сейчас, о луноликая гурия.

– Какой еще обряд? Ха-ха! Надрался, Эльдарчик?

– Мусульманам пить вино запрещается. Терпи, если терпели – часть тридцать четвертого стиха сорок шестой главы Корана. Я танцую с тобой – и ум мой улетел от радости.

– Мусульманин, поверни ко мне свою физиономию!

– А, это ты, Роман! Тебя интересует богоподобная Нинель?

– Мусульманин! Улетай вместе со своим умом и Кораном и уступи гурию православному. С Сафо хочу потанцевать я.

Нинель, своей красотой вы превращаете богомольца в безбожника! Эльдар – наивняк. Я – вполне приличный мужчина. Он еще не знает, что добродетель женщины – личина дьявола, Дон Жуан соблазнил тысячу трех женщин. Его личный бухгалтер Леперело вел счет...

– Эльдарчик и Роман! Боже! Два умника – два трепача! С ножовой линии. Это вы меня думаете соблазнить, лопухи? Кому же, вы думаете, я отдам предпочтение – мусульманину или православному?

– Воистину берегись жен своих... – часть четырнадцатого стиха шестьдесят четвертой главы Корана.

– Запрись, Эльдар, цитатами, не удивляй памятью шизофреника! Цыц! Я сейчас начну цитировать Библию! Бог един и троичен – в этом уверены христиане. Да будет же слава одаряющему и вездесущему. Вселенское аминь. Нинель, какого святого? Изображаете из себя Сафо, а сами так задеваете меня коленками, что я начинаю гореть, как в аду! Соблазняйте?

– Никогда! Кого я хотела бы соблазнить, то это – Людочку! Потанцевать с ней. Она – очаровательна.

– Тогда прощайтесь с белым светом. Аркадий вас задушит двумя пальцами и как тряпку выбросит в окно. Вы опять стучите в меня коленками?

– Что ты изображаешь из себя, Роман? Сексуальные часы?

– О, обезбоженный мир! Я краснею за вас, Нинель. А ты, Роман, забываешь себя. Ты бросился в грех.

– Не красней, Эльдар. Иди выпей боржоми, если водку тебе нельзя, чему я сочувствую.

– Если мы живем не так, как надо, то призовем на помощь Аллаха. Оргийное безумие... Ты согласен, Роман?

– На дворе третье тысячелетие от прихода Иисуса Христа. Дионисовский избыток сил и безумие. Я сейчас уйду и уволю Нинель. Она меня замучила коленками.

– Ромочка! Никуда я с тобой не поеду. Ты не для меня. Вы, ребята, трепачи, занятные философы, но как вы мне надоели со своими молебнами. Что вы ко мне прилипли оба?

\* \* \*

Александр, отхлебывая вино из стакана, сидел на диване, немного в стороне от общей толкучки, оглушенный пестрым хаосом голосов, смехом, криком спорящих, звуками уже замученного патефона, то хрипевшего горлом Армстронга, то изнывающего в любовной истоме аргентинского танго, ни с кем не знакомился, не вмешивался в разговоры, наблюдая за танцующими, знавшими и, по-видимому, не знавшими друг друга, изредка ловил на себе беглые взгляды, вопросительно-острые, готовые к враждебности, легковерные, расположенные к знакомству, равнодушные, беспричинно заносчивые, нетрезвые – все это новое, впервые увиденное им, занимало его, возбуждало любопытство, и он был доволен тем, что Кирюшкин, пригласивший его в эту компанию, дал ему

абсолютную волю, без обязательств («Делай что хочешь, пей вино и смотри на этот московский зоопарк, кое-что увидишь интересное»), без соблюдения каких-либо нудных общений и формы поведения – здесь была полная свобода.

Утром Кирюшкин позвонил по телефону, спросил, знают ли он, что такое богема, Александр ответил, что имеет отдаленное представление, после чего был приглашен на квартиру одного известного художника, где соберутся студенты, всякая тыловая шантрапа, но будут и свои ребята, которых он, Александр, уже знает.

Они запоздали (так хотел Кирюшкин), а когда на третьем этаже большого дома в конце Кропоткинской вошли в квартиру художника, дохнувшую папиросным дымом, накатом перемешанных голосов, запахом еды и вина, Кирюшкин поднял руку, приветствуя всех сразу: «Вилькомен, дамен унд херрен!» – и сейчас же подвел Александра к ближней танцующей паре, дружески похлопал по спине молодого человека с женственными пухлыми губами, сказал шутливо: «Ос-сади на плитуар», – и осторожно взял под локоть длинноногую девушку, заметную рассыпанными по плечам золотистыми волосами; она приветливо улыбнулась ему, слегка тряхнула головой, прямо и удивленно посмотрела на Александра, когда Кирюшкин, по-прежнему несерьезно, сказал: «Это герцогиня Лю, или Людмила, будущее светило медицины, а это лейтенант гвардии Саша, или Александр, бывший командир взвода разведки».

С той же смелостью глядя ему в глаза, она протянула руку, и он так нерассчитанно пожал ее теплые пальцы, что она немного наморщила лоб, но сказала тоном гостеприимной хозяйки, принимавшей давно знакомого гостя:

– Сегодня за столом никто не сидит. Стол, как видите, вон там, у стены. Каждый наливает сам себе. Пожалуйста, Александр.

– Чувствуй себя, как в голубятне Логачева, – приободрил Кирюшкин. – Помню, ты водку не пьешь, пей вино. И знакомься, с кем душа пожелает.

Вероятно, этот парень не знал, что такое невозможность; сухощавый, крепкий в плечах, одет он был сейчас в щегольские белые брюки, черный обталенный пиджак; мягкая рубашка с расстегнутым воротом; жесткие зеленые глаза светились усмешливой дерзостью.

– Занимай выгодную позицию, Александр, – сказал он весело.

Тут же к Кирюшкину суетливо подошел вылощенный человек с толстыми бровями, с желчно опущенными уголками рта, приветственно сделал ныряющее движение морщинистой шеей, туго стянутой воротничком с клетчатой бабочкой, спросил скрипучим голосом:

– Как ваше дело ладится?

– Что?

– Как ваше дело ладится?

– А вам, простите, какое дело?

– Аркадий – парень из окопов, поэтому еще не отвык говорить грубости, – со строгой укоризной остановила его Людмила. – Лучше познакомьтесь. Это Евгений Григорьевич Панарин, прекрасный художник, ценитель, скупщик картин, хозяин этой квартиры.

– Лю, виноват, – Кирюшкин изобразил повинное выражение поклоном своей белокурой головы. – И вы, Евгений Григорьевич, примите тысячу извинений от огрубевшего в окопной грязи солдафона. Дела мои ладятся прекрасно. Но в живописи не понимаю ни гу-гу. Моя стихия – иная.

– Чудно, чудно.

Евгений Григорьевич нервно дернул подбородком, поправляя бабочку, еще ниже опустил желчные уголки рта и отошел как-то боком, точно бы опасаясь повторной грубой выходки Кирюшкина, который, нежно усмехаясь, легонько притянул к себе Людмилу и – как ребенка – поцеловал ее в кончик носа.

– Что за демонстрация превосходства? Ты одурел? – сказала она медлительным голосом, и щеки ее порозовели. – По-моему, ты представил, что целуешь в лоб лошадь, спасающую тебе жизнь. Фронтальные шалости.

– Милая Лю, я готов на глазах у всех встать перед тобой на колени и сказать, что я грубейший осел двадцатого века, но преклоняюсь перед одной принцессой в этом доме и приглашаю ее на танец, рискуя быть опозоренным, освиственным, ошиканным!

– Представляю тебя к шпаге за храбрость! – Она тряхнула золотистыми волосами и рассмеялась, глаза ее заискрились бесовским лукавством. – И все-таки какая нравственная распущенность произносить пошлейшие фразы, даже не краснея. Как вы на это смотрите, Александр?

Она взглянула на него с товарищеским поощрением, а он, ошеломленный фразами Кирюшкина, его новой интеллигентной манерой говорить, его великолепным черно-белым костюмом, подумал: «Кто же он в конце концов, этот Аркадий?» – И, плохо расслышав вопрос Людмилы, ответил без поиска остроумных слов.

– Говорить обязательно?

– Не встанете же вы под знамена умного молчания среди говорунов?

– Действуй по своему усмотрению, Саша, без всяких уставов. На уставы – наплевать. Говоруны – не в счет. Кроме нас, – поддержал Кирюшкин Александра, в то же время с небрежной церемонностью взял за талию Людмилу, покорно положившую руку на его траурно-черное плечо, и они двинулись в танце, отдаляясь и отдаляясь от Александра.

Вокруг стола, придвинутого к стене, шумела толпа гостей – здесь стоя пили, закусывали, вероятно, рассказывали анекдоты и хохотали парни в гимнастерках и молодые люди в пиджачках. И Александр увидел среди незнакомых лиц знакомых парней из окружения Кирюшкина, с которыми познакомился в забегаловке и в голубятне Логачева. По крошечным

дробинкам глаз, по торчащей злой щетинке усов он сразу выделил Логачева, тот истово жевал бутерброд с колбасой, лошадиному кося голову на хохочущих соседей в пиджачках, мрачноватый, вроде бы разучившийся или не умеющий смеяться в «гражданской компании»; от жевания крупные желваки двигались по его широким скулам. Рядом с ним глыбой стоял «боксер», его друг, почти глухой на одно ухо, наводчик из «катюш» Твердохлебов, стриженный ежиком, в гимнастерке со свежим подворотничком, оттеняющим его толстую загорелую шею, и клещатой рукой держал стакан с водкой.

– Привет! – кивнул Александр, подходя к столу и не без труда отыскивая вино среди бутылок.

– Здоров, еныть, – отозвался Логачев, дожевывая бутерброд, облизывая пальцы, и тут же потянулся к бутылке с водкой, налил полстакана себе, нашел чистый стакан, поставил его перед Александром, готовый налить и ему, но тот остановил его.

– Налью сам. Я – вино.

– От яп... понский бог! Будешь жить тыщу лет, еныть, – равнодушно выругался Логачев и щедро плеснул из бутылки в стакан Твердохлебова, который, рискуя разбить стакан, молча и крепко чокнулся с Александром, вылил водку в широко раскрытый рот и так оглушительно крикнул, что на него оглянулись.

– Крепка советская власть, – сказал он гудящим басом. –



Продрало до дна!

– Ну, медведь, льет, как в воронку, и хоть бы хрен, – с выражением некоторого восхищения заметил Логачев и глянул жгучими дробинками глаз на Александра. – А ты чего с вином худахаешься? Рвани водки: ошпарит – и уши топором!

– Каждому – свое, – сказал Александр.

– Что? – загудел, не расслышав Твердохлебов. – Чего, емое? Пей, мать твою за ногу! Аркашка говорил: ты навроде разведчик? Чего стесняешься?

– Что за общество собирается у Панарина, не могу понять. Вам что-нибудь это говорит, Аллочка? Абсурд! – уловил Александр сниженно-пренебрежительный голос за спиной. – Эстет, известный художник приглашает каких-то субъектов, странных людей, каких-то солдат, как будто тут казарма, где позволено материться и пить водку, как из корыта.

Александр обернулся с терпким интересом. Молодой человек в светлом пиджаке, гладко, до блеска волос причесанный на косой пробор, с белыми женскими руками и надменно-красивым лицом разговаривал с неумеренно полной в бедрах девушкой, глядевшей на него черными, как бы влажно-липкими глазами. Она сказала виолончельным голосом:

– Панарин – чудак, все ищет какие-то типажи среди молодежи и любит, когда собирается Бог знает кто. Но тут фронтовики...

Светлый пиджак налил в рюмку немного водки, понюхал водку с видом знатока ее вкусовых качеств, но не отпил, по-

ставил ее обратно на стол.

– Не Бог знает кого, а черт знает кого. И водка какая-то сивуха. Для солдат, что ли, куплена на Тишинке. Много званных, да мало избранных. Абсурд какой-то!

В те дни своего возвращения Александр начинал догадываться, что люди, не нюхавшие пороху, либо играют заданную или внушенную себе роль, либо заняты суетой самосохранения, заботой о куске хлеба, либо ведут отраженное существование циничной и усталой души. И вместе с тем он испытывал раздражающую неприязнь к тем, о ком с первого раза складывалось отрицательное мнение, нисколько не задумываясь, что подумают о нем самом.

– Чем же вам так не нравятся солдаты, интересно бы знать? – вмешался в разговор Александр, загораясь, но прозвонив слова спокойно.

Светлый пиджак зло пошевелил тонкими ноздрями.

– То, что вы, солдат, подслушиваете... и вмешиваетесь в чужой разговор и, несомненно, думаете, что ваши ордена вам все позволяют! Но, как известно, война кончилась! И все привилегии кончились!

– Конечно, – с трудом согласился Александр. – Не всегда разумно говорить всю правду, но все же иногда надо. Простите великодушно, вы – предостаточный дурак, как когда-то говорил мой начальник штаба.

Светлый пиджак выпрямился с язвительным достоинством.

– Это вы обо мне так сказали?

– Мой начальник штаба сказал, а не я.

– Никакого здесь начальника штаба нет.

– К сожалению. Ну, тогда, значит, я.

– Послушайте, в-вы!.. В золотом девятнадцатом веке я бы вызвал вас на дуэль... и убил бы без сожаления. За оскорбление!

«Что же, этот парень, видимо, умел постоять за себя».

– Зачем же возвращаться в девятнадцатый век? – возразил Александр с наигранной серьезностью. – Давайте приступим сейчас. Хотя бы на вилках. Я к вашим услугам. Вот ваше оружие...

Он взял со стола вилку и с театральным рыцарством протянул ее светлому пиджаку, чувствуя в себе омертвляющую ярость, которая подхватила его, навязывая вынужденную и малоприятную враждебную игру.

– Хамство какое, – ядовитой змейкой прополз шепот маленькой брюнетки, и Александр наткнулся на ее влажно-липкий взгляд.

– Благодарю вас, крошка, – сказал он с милой почтительностью.

Вокруг стола приумолкли, стихли анекдоты и смех, перестали пить и жевать, на нетрезвых лицах появилось разнообразное удивление. Сурово нахмуренный, плохо выбритый парень в поношенном кителе, на котором были нашиты две ленточки ранений, скрестив руки на груди, неодобрительно,

исподлобья всматривался в светлый пиджак. Сосед парня, одетый в серенькую куртку, длинношей, в очках, видимо, студент, кривил шею вбок, изображая уныние от негаданно затеянного злоречия около стола. И Александр услышал, как он шепнул нахмуренному парню в кители: «Максим – утомительно глуп и самонадеян». А Логачев, покачав головой, расширил грубоватое лицо улыбкой удовольствия, отчего вздыбились щетинистые его усы, наклонился к маленькой брюнетке, будто к девочке, погладил своей просторной ладонью по волосам (при этом брюнетка норовисто дернулась, подобно молодой взнузданной кобылке), сказал растроганно:

– Чего ты, маленькая, выиграла некультурно? Все тихо, мирно надо, с женской точки зрения. Вот у меня жена – тоже маленького роста, а женщина неругачая, обходительная. – Потом, поворачиваясь к Александру, большим пальцем ткнул через плечо в сторону светлого пиджака: – А этого антиллегента пошли на эти самые три буквы алфавита – и дело с концом!

– Уйдем отсюда, Максим, уйдем немедленно! Я ничего не хочу иметь с этим домом! – негодуяще закричала маленькая брюнетка, и глаза ее метнули отравленные стрелы в направлении Александра. – Правильно, правильно говорят, что между нами пропасть! Пропать, пропась, какая-то яма! Мы никогда не пойдем друг друга! Вы из другого мира, вы убивали, убивали... и вы способны на все!..

– Поточнее, очаровательная паненка. Между кем и чем

пропасть? И кто кого и зачем убивал? – проговорил Александр.

– Уточняю. Яма между поколениями. Между тем, кто убивал, и теми, кто занимался наукой, – сухо ответил светлый пиджак. – Вы вернулись с фронта и хотите быть господами. Не выйдет! Вы отстали во всем – в образовании, в знании нормальной жизни, в культуре...

– А кто вы такой?

– Я – аспирант технического вуза, с вашего разрешения. Мой отец – профессор, всю жизнь занимался...

– Чего-о? – протянул грозно Твердохлебов, молчаливо прислушиваясь, но плохо слыша, от этого большое угрюмое лицо его прицеленно напряглось, как у всех людей с поврежденным слухом или контуженых, и вдруг он ударил кулаком о кулак, как молотом в наковальню, и заревел по-медвежьи:

– Брысь отседа, стервы антиллегентские! Я т-те покажу, курица мокрохвостая, как мы убивали, а вы в тылу в сортирах от поноса сидели, понимаешь ты!.. На абажур заброшу вместе с хахалем и будешь висеть, пока пожарные не снимут!

Он затоптался на бревнообразных, обтянутых хромовыми сапогами ногах, лицо его пребывало в неистовстве.

– Миша, друг, охолонь, – обеспокоенно успокаивал Логачев и положил руку на его крутое плечо. – Давай лучше выпьем ради удовольствия и за нашу победу. Смерть немецким захватчикам. И коли что, опять будем убивать оккупантскую

сволочь. Так-то оно, барышня красивая, хорошая... – прибавил он с деликатной обходительностью, в которой звучала скрытая едкость. – Так что извините, ежели мы немцев убивали...

– Боже, Боже, Боже!.. – вскрикивая, схватив за руку и потянув за собой светлый пиджак, маленькая брюнетка кинулась прочь от стола, и Александр увидел в ее перекошенных бровях страх и презрение.

«Да, конечно, – подумал Александр с колючим холодком в душе, – да, воевали мы и победители мы. А рядом с нами они, невоевавшие, не чувствуют свою близость к нам, хотя почти наши одногодки. Но я и не хочу фальшивого внимания этих девочек и мальчиков. Мы как будто из разных стран. Как будто мы разной крови. Мы – чужие».

И чувствуя это, все более убеждаясь в том, что после возвращения в Москву его уже перестало что либо особо поражать в новой жизни, он с сожалением на секунду подумал о желании примирения всех, кто, не зная один другого, зажегся злобой, но только сказал безразлично:

– Слабак оказался. Мышь.

– Кто? – спросил молоденький студент с нервным взглядом. – Вы кого имели в виду?

– Пиджак. – И заметив на пареньке затсрханный пиджачок, сидевший на нем как-то неуклюже, косо, Александр добавил: – Тебя не имел в виду. Говорю о светлых пиджаках тылового предназначения, сшитых в папиных ателье.

– А ваш Кирюшкин? Ему можно?

– На нем пиджак черного цвета, сшитый не в ателье. Он завоевал и фрак, мальчик.

Возле передней образовалась толпа из студентов, раздавались взбудораженные голоса, среди которых выделялись возмущенные вскрики маленькой брюнетки: «Это невыносимо! Нас оскорбляют! Над нами издеваются!»

И водоворотом крутились вблизи толпы танцующие, с милым любопытством прислушиваясь к голосам.

В это время к столу подошел Кирюшкин, тихонько напевая: «На палубу вышел, а палубы нет», – он, казалось, не интересовался тем, что происходило у двери передней, он был в отличном расположении духа, чистейшая рубашка, расстегнутая на сильной шее, сверкала белизной, придавала ему беспечный праздничный вид. Кирюшкин, обнимая, оперся на плечи Логачева и Твердохлебова.

– Налейте, братцы, рюмку водки. Чокнемся за жизнь.

С усердием ему налили через край. А он из переполненной рюмки отлил в стакан Твердохлебову, сказал:

– Значит, еще любите, черти, – чокнулся со всеми, выпил и, не закусывая, спросил: – Кто тут и что нахрюкал, подняв панику в тылу? Визг, как в румынском бардаке.

– А, чепуха! – сказал Александр.

– Чистоплюй московский, хмырь тыловой, – пояснил Логачев с угрюмой деловитостью. – Девица – истеричка, ровно из трофейного фильма. Была провокация. Чистоплюю ника-

ких оскорблений не нанесено. Даже о трех буквах сказано не было русским языком. Ни-ни, пальцем никого не тронули.

– Ладно, ребята, давайте покурим, – Кирюшкин щелчком раскрыл золотой портсигар, которым так интересовался некий Лесик, запомнившийся Александру паренечек в кепочке, с бледным младенческим пухлощеким и в то же время старческим лицом, приходивший со своими друзьями к Кирюшкину в голубятню Логачева. – Разглагольствуете, как в академии. Без мата. Знаю, что ваши языки не положить на вешалку, – сказал он без упрёка, предлагая каждому портсигар, набитый дорогими папиросами. – Но лучшая тактика – не наводить панику среди мелюзги. Должны помнить, что это хата культурная, мы, так сказать, в интеллигентном обществе, поэтому – держать себя чинно, благородно, как говорится. Боже, положи молчание устам моим... Даже если задирается какая-нибудь моль. Здесь мы гости. На улице разрешается бить морды как чайную посуду. Здесь – терпение. В норме, конечно.

– Так бы и врезал ему по фронту, чтобы заикал от радости, – сказал обещающе Твердохлебов, огромными пальцами пытаясь ухватить и никак не ухватывая папиросу в портсигаре. – Тыловая крыса в причёске. Туда же еще прет, антиллегентская витрина небитая.

Кирюшкин похлопал Твердохлебова по его просторной спине, счел нужным пошутить, чтобы снизить накал:

– Сократи свои речи, Миша. В старых романах писалось



приблизительно так: он засучил рукава и много раз кряду залепил ему по морде. Рукава не засучивай, а пей водку и закусывай бутербродами. Не подставляться! – повелительно сказал он, закуривая. – Но... и не изображать простодушное народонаселение. Палец в рот никому не класть – до ушей сгрызут. Но и держать знамя вольных рыцарей духа, свободных как ветер! Где они, женщины с безоблачным взором? – сказал он уже иным тоном, обводя дерзко прищуренными глазами комнату.

Он нашел Людмилу в группе танцующих: весь грозно-сосредоточенный, с усердным щегольством, ее вел, подчеркивая па «танго», то мелкими, то крупными шагами, пожилой человек с толстыми, брезгливо взъерошенными бровями, с клетчатой бабочкой и в клетчатых брюках, кажется, художник, хозяин квартиры. Кирюшкин сказал:

– Вот еще один интендант. Возможно, заправский кавалер. Но – дряхлолетний. Того и гляди из штанов выпрыгнет. Смотрю на него с чувством глубокого сожаления и скорби. Но – прыток...

– Ты что-то шпаришь сегодня по-книжному, как Эльдар по Корану, – сказал Александр.

– Эльдар показывает пример, – отшутился Кирюшкин. – Читал всю ночь классику, чтобы поумнеть и понежнеть. А потом учти, дорогой Сашок, я ведь книжник. И бывший скубент, как говорили извозчики в прошлом веке. Кстати – с Эльдаром были на одном курсе. Как фронтовик был легко

принят на первый курс ЭМГЭУ, но ушел через полгода на вольную жизнь. Тебе это понятно?

– Не могу ответить.

– Да это и не имеет значения. Я да, наверно, и ты стали за войну вольными птицами. Так, что ли? Хозяевами своей судьбы. Несмотря на приказы, подчинение и прочее. Согласен?

– Пожалуй.

– Так полетаем еще вольными птицами.

Кирюшкин говорил все это беспечно, держал под руку Александра, направляясь с ним к толпе, топтавшейся вокруг патефона, затем отпустил его, наставительно сказал:

– Действуй, Сашок, – и направился к Людмиле. А ее, послушную, заметно побледневшую от волнения, поворачивал и вращал со свирепым упоением художник в клетчатых брюках, клетчатая бабочка его болталась, как уши на жилистой шее.

– Извините за вторжение, Евгений... мм... Григорьевич, – утонченно-воспитанно произнес Кирюшкин, задерживая их танец знаком руки. – Мне необходимо конфиденциально поговорить с Людмилой. Надеюсь, Евгений Григорьевич, вы меня простите за столь несветское вмешательство.

«Он серьезно или это вежливая издевка, какое-то актерство? – подумал Александр. – Нет, этот парень не так прост. Вчера он показался мне отчаянным артиллеристом, уверенным в себе фронтовым старшим лейтенантом, которому по-

сле войны и море по колено, а сейчас – это чистый тыловой мальчик, чересчур модный в этом черном пиджаке и белых брюках. Как он ловко и красиво произнес „столь не светское вмешательство“!

В этой чужой компании ему удобнее всего было сесть на диван, в отдалении от толкучки вокруг стола, ни с кем не общаясь, наблюдая за танцующими, за их изменчивым веселым выражением молодых лиц, городская бледность которых бросалась в глаза рядом с грубо темными, продубленными ветрами и морозами лицами фронтовиков, он слышал отдельные фразы, отдельные слова в общем шуме разнокалиберных разговоров, в квакающих бесконечных звуках патефона, и почему-то смешно и приятно было видеть этого длинноволосого в потертой курточке Эльдара, знатока Корана, так поразившего Александра своей памятью в голубятне Логачева. Несуразный Эльдар, комично приседая, семенил поношенными ботинками возле очень высоких туфель своей партнерши,двигающейся плавно, со змеиной гибкостью тонкого тела, как в сомнамбулическом забытьи, вся, как лаком, облитая черным платьем, с опущенными занавесями накрашенных ресниц, безучастная к тому, что без умолку говорил ей Эльдар. Она, казалось, была немного пьяна, а он, вглядываясь в ее чересчур белое лицо восторженными глазами влюбленного пажа, исходил в красноречии.

– Нинель, в моем сердце загорелись угольки. Я гляжу на вас и думаю, что красота – вещь неутолимая...

– Мм?

– Но очень утомительная для тех, кто обладает красотой. Не убивайте чад своих... Я от радости вылетел из сетей разума. Я обалдел. Я очумел. Простите мне мои окаянства. Нет, от того, что записано в Книге Судеб, никуда не уйдешь. Я буду с вами танцевать целый вечер. Я знаю, что вы учитесь в актерском училище. Представляю вас на сцене. Знаете, как говорят на Востоке? «Была она подобна ветви ивы... росистой ветви...»

– Что?

– ... Росистой ветви. Как красиво сказано, как поэтично!

– Боже, какой иронист! В самом деле вы весь в окаянствах.

– Весь? О, не убивайте чад своих... – часть тридцать третьего стиха семнадцатой главы Корана. Не убивайте, Нинель, в моих словах нет ни капли иронии.

– Тогда вы просто шизик. К тому же сильно поддавший. За что вас, интересно, выперли из университета?

– Насчет поддавшего шизика – вполне оклеветан. Я пьян от жизни. Насчет выперли – объяснение следующее: благодарение Аллаху, что не посадили.

– Вас? Такого невинного романтического мальчика? За что?

– На втором курсе мы с Романом Билибиным организовали общество единения мусульманства с православием, Корана с Библией. Меня вытурили с треском. За национализм. Билибин сам ушел, не дожидаясь, пока в шею дадут. Про-

явил ко мне солидарность. Он здесь. Вон, посмотрите. Пьет у стола водку, дубина с бородой. Бывший танкист, ныне – шофер.

– А на кой черт вам это общество было нужно?

– Вы прекрасны, Нинель, но наивны, как пышный цветок, внутри которого червь...

– Что-о?

– Червь незнания, о царица сердца моего, я повинно склоняю перед вами голову! Но слушайте... будущее человечества – это братство Востока и Запада, Азии и России в первую очередь. После четырех тысяч войн, через которые прошло человечество, и бритому ежу ясно стало, что войны – это ненависть друг к другу вер и религий, а Бог-то ведь один. У людей должна быть единая общечеловеческая совесть. У вас ведь не две совести?

– А если?

– Под одной мышкой два арбуза не унесешь.

– Вы бредите, Эльдар. Вы за единообразие во всем? Кошмар!

– Ничего подобного, о повелительница небесных гурий. Библия, Коран, Талмуд и Махабхарате – главные религиозные источники земли – в угоду нелюдям искаженно переписаны с единого космического свода законов о людском братстве.

– Какой забавный парень! Зачем же искажены Библия и Коран?

– Знайте, что в угоду нелюдям корыстно искажены десять основных заповедей.

– Не понимаю – зачем?

– Ради власти, дабы завладеть имуществом ближнего и дальнего.

– А кто искажил, забавный вы националист?

– Те, кто прислуживал правителям народов. Бесы земли. Лукавцы. Фарисеи и книжники.

– И вы, наверное, тоже книжник, судя по заумности...

– Я? Книжник? «Разве не видят они?» – часть двадцать седьмого стиха тридцать второй главы Корана. О, как вы меня обижаете, благоуханная роза души моей! Моя профессия – бээс, повелительница души моей.

– Бээс? Что такое бээс?

– Бывший студент.

– Смешной парень, просто прелесть. Интересно, на что же вы живете? За проповедь ведь у нас не платят. Наша страна атеистов, по-моему.

– Я продаю голубей, несравненная. Делать нечего, надо работать. Кто не работает, тот не кушает.

– А-а, значит, вы из банды Кирюшкина? С вами опасно иметь дело, хотя вы и бывшие студенты. Страсть Люды понять невозможно.

– Как вы сказали – «из банды»? Неужели вы так сказали? Прискорбно и преобидно слышать ваше невежество. «О люди, нуждайтесь вы в Боге Господе»... – часть шестнадцато-

го стиха тридцать пятой главы Корана. Предосадно и даже преоскорбительно ваше мнение о настоящих фронтовиках. Какой нечестивец вложил в ваши сахарные уста слово «банда»? Таких, как Кирюшкин, – единицы. Я люблю этого человека...

– Вы что – педик, что ли? Смешно!

– Прелестницам я прощаю оскорбления и не называю их блудницами из Содома и Гоморры. Почему вы сказали «банда»?

– Не сжимайте мою руку, мне больно! Отпустите, вы мне пальцы сжали, как клещами!

– Почему вы сказали «банда»? Кто вас надоумил? От этого слова пахнет доносом и милицией.

– Оставьте меня, вы плохо танцуете, я не желаю с вами!.. Перестаньте сжимать мне руку! Вы с ума сошли. Я терпеть не могу мужскую грубость!

– Извиняюсь за злословие, царица Савская, я стыжусь за себя. Но ответьте мне – кто вас надоумил произнести гадкое слово «банда»? Кто именно? Когда конкретно, неподобная радость очей моих?

– Какая глупость! Это – допрос? Оставьте меня в покое! Пустите! Я закричу сейчас! Я устрою скандал! Вы садист!

– Скандал? На здоровье... но вы мне не ответили. Помните: «И какую мерю мерите, такой и вам будет мерить», – сказал в Нагорной проповеди Христос. Вы читали Библию?

– Нет! И не хочу! Пустите меня, иначе... я ударю, несчаст-

ный мусульманин!

– Ударяйте, я краснею за вас. Грешен: я против непротивления. И договоримся: кричите, что я садист, я буду реветь, как голодный осел, что вы мужеженщина из публичного дома Калигулы. Так почему вы произнесли слово «банда»?

– Пустите меня, дурак!

Она выговорила это, раздувая ноздри чуткого носа, широко раскрывая завесу ресниц, в ожесточенных глазах ее была пепельная мгла. Вырываясь черной извивающейся змейкой, откидывая назад голову, отчего некрасиво выгнулось белое нежное горло, она толкнула Эльдара в грудь и, стуча высокими каблуками, отбежала к дивану, где сидел Александр, порывисто опустилась рядом с ним, обдав запахом приторных духов, потрясла рукой, сжимая и разжимая пальцы, жалобно проговорила:

– Защитите меня, пожалуйста, от этого шизика, я не хочу с ним танцевать, он мне чуть руку не сломал!.. – И, взмахивая неестественно длинными ресницами, попросила с капризной и вместе умоляющей гримасой: – Дайте хоть глоток вина отпить, а то у меня голова разболелась от грубости этого длинноволосого пророка!

– Вы не хотите подойти к столу? Я сейчас принесу вам вина, – сказал Александр. – Вас звать Нинель?

– Я не хочу ждать. Да, меня звать Нинель. А вас Александр, кажется?

В первую минуту Александр подумал, что в этой пестрой



компании никто не стесняется ни в действиях, ни в словах, но привычно заставляя себя не удивляться, протянул ей стакан с вином, не удерживаясь, чтобы сказать:

– Вы здорово напылили. Наговорили Эльдару оскорбительные вещи. Я бы не смог стерпеть.

– А что бы вы сделали? Возьмите свой стакан. Какое-то противное кислое вино. Вы его пьете вместо водки? Так что бы вы сделали, хотелось бы знать?

– Взял бы вас за руку, вывел в середину танцующих и как следует шлепнул по попе... Простите, по тому месту, где спина теряет благородное название.

– Попробовали бы только! Я отвесила бы вам пощечину!

– Ну, это не самое страшное. Что такое ваша пощечина – комариный укус? Когда при бомбежке на голову обрушиваются глыбы земли – это дело другое.

– Опять о войне? Как надоело!

– Мне тоже.

– Вот как? А я думала, что вы сидите тут как военный Чайльд Гарольд...

Она замолчала, потому что к дивану подошел Эльдар, застыл в покорной позе, затем нижайше поклонился, так что волосы свесились вдоль худых щек, произнес не то серьезно, не то иронически молитвенной скороговоркой:

– Извините, извините, на равнинах моей души взросло дерево скорби. Я был грешен...

– Добрые люди, честной народ, праведные христиане и

правоверные! Что он тут делает? В чем кается? – раздался громкий, резковатый голос, и невысокий парень с коричневой бородкой вокруг веселого красноватого лица, изъеденного ожогами, как оспой, приблизился от стола к Эльдару и погладил его по затылку. – На каком основании отбиваешь поклоны, грешник? Дилетант! Верхогляд! Головной резонер!

Александр понял, что это был Билибин, друг Эльдара, с которым они учились и не доучились в университете; следы страшных ожогов на его лице (такие лица Александр видел не раз) безошибочно выказывали бывшего танкиста, горевшего в танке. Он, Билибин, видимо, прошел через сложную лицевую операцию, спасшую местами его кожу, негустая бородка не везде прикрывала изъяны военного уродства, а острые синие глаза в щелках безресничных век лучились горячо, как будто в них не было памяти о том дне, когда бронепробойно-зажигательный снаряд пробил толщу брони и невозможно было или не хватило сил сразу открыть верхний люк, чтобы вылезти из огня... Увидев изуродованное лицо Билибина вблизи, Александр, как всегда при знакомстве с фронтовиками, попытался угадать, на каком направлении воевал он, где подбили танк – не на Курской ли дуге в сорок третьем? И хотел заговорить с ним, но Билибин опередил его:

– Познакомимся. Роман. О тебе Аркаша сказывал, что ты в разведке трубил. – Его рука была тоже в розоватых шрамах, тоже обожженная, будто соединенная перепонками между

пальцами, небольшая, слабая, ребячья на вид, но рукопожатие было непредвиденно сильным, и голос его прозвучал бодро: – Смерть нам не смерть, а жизнь вечная.

– Что это значит? – спросил Александр. – Что за лозунг?

– Почему «лозунг»? Слова Дмитрия Донского перед Куликовской битвой, а в войну девиз танкистов да разведчиков, думаю, по степени риска. Так?

– Нет, не так. У нас в разведке говорили иначе: прощай, Родина. Если по степени риска. Проще и яснее.

– Святые воины, как все это надоело! Вы все как закупоренные войной! Раскупорьтесь, станет интересней жить.

Нинель отклонилась на диване, округлила тонкие смоляные брови и нехорошо засмеялась.

– Милые мальчики, вы сидите в окопах и не хотите вылезать?

– Все! – вскричал Билибин. – Да здравствуют женщины-мироносицы! Без них мы провалились бы в тартарары! Всякое деяние – благо. Духовное особенно, сказано в послании апостола Иакова. Танцы – благо полудуховное, сказано мною. И тем не менее... Я приглашаю вас, Нинель, сделать со мной несколько па. Магометанин, полагаю, вас замучил проповедями. Тем более танцует он как молодой козел на барабане.

Он сделал приглашающий жест, его округленное шкиперской бородкой лицо, изрытое оспинами шрамов, страшно-вато изображало кавалерскую удаль, а глаза из-под припух-

ших век играли, лучились прежним весельем. И несовпадение его изуродованной внешности с внутренним состоянием оживления и раскованности представилось Александру проявлением какой-то выработанной воли, заставляющей думать, что он не намерен чувствовать свою неполноценность и не хочет, чтобы его уродство замечали другие.

– Глас народа – глас Божий. Но, как правило, глас народа – не глас Божий, – возразила Нинель. – Странно до ужаса. Коран, Библия... Что же это вас забросило в религию? Ведь вы стреляли, убивали людей, а теперь что – каетесь? Как это понять в нашем атеистическом государстве? У нас даже старухи неверующие.

– Всеобщая ложь, которая больше похожа на правду, чем сама правда, – запротиворечил Билибин, не доказывая, а шутя. – Как известно, брехнёю свет пройдешь, да назад не вернешься.

И бравым жестом гусара-волокиты он подал ей руку, всю исковерканную ожогами, розовую, с перепончатыми лягушачьими соединениями меж пальцев. А она подняла густо-черную завесу ресниц, нерешительно глядя на его лицо, потом на эту руку, тонкие обводы ее бровей еле уловимо дрогнули, и она сказала притворно-капризным голосом:

– Устала. Посижу на диване с Александром. Тем более – он трезв, а вы уже надрались, мальчики. Так же, как и я. Адью, милые.

Эльдар, стоявший перед диваном в позе терпеливого мол-

чания, должно быть, заметив полубрезгливое вздрагивание бровей Нинель, взял за локоть Билибина, сказал со сверхсерьезностью:

– О несчастный врачеватель духа, делаем поворот кругом и идем к столу, там ты будешь пить то, что и монахи приемлют.

– Когда пригубите, принесите и мне бокал вина, – попросила Нинель.

– Слушаемся, царица, – поклонился Эльдар шутовски.

И, хрупкий рядом с широкоспинным, коренастым Билибиным, обходя танцующих, повел его к столу, где толпились, шумели гости, перемешались гимнастерки и пиджаки, где все говорили одновременно и никто никого не слушал.

«Действительно, странные ребята, – подумал Александр, видя, как Эльдар уважительно вел к столу Билибина, и завидуя их товариществу. – Но как неприятно было видеть что-то такое, похожее на брезгливость, в лице Нинель, когда Билибин подал ей руку. Что это за бабенка, которая сидит рядом со мной и украдкой рассматривает меня сквозь свои опухавшие ресницы? Но это, пожалуй, вино ударило мне в голову».

Он поставил недопитый стакан на пол и посмотрел на нее без стеснения, с некоторых пор понимая (после возвращения в мирную жизнь), что долгие подходы к цели являются только препятствием и воспринимаются как неопытность «вислоухих штатского разлива».

– Принести вам вина? – спросил он развязно-предупре-

дительно. – Давайте выпьем вместе, мне хочется с вами чокнуться и наговорить вам глупостей и объясниться в любви.

– А мне – нет. Сейчас не хочу ни капли. Вы что – умеете объясняться в любви? А куда денете свой фронтальной лексикон?

Она закинула ногу на ногу, охватила руками округленно обтянутое платьем колено, с опущенными ресницами сидела в спокойной, независимой позе, еще сохраняя в изгибе губ снисходительный след улыбки после разговора с Эльдаром и Билибиным; приторный, какой-то восточный запах духов касался Александра, туманил голову внезапным воображением о тайной прелести ее тонкого тела под этим черным, как лак, платьем. И он сказал первые пришедшие слова, совсем не то, что хотелось ему сказать:

– Знаете что, Нинель, по-моему, эти ребята... Эльдар и Роман, влюблены в вас оба...

Будто только что увидев Александра, она с кротким терпением ответила:

– А дальше?

– Вы о нас сказали, что мы все закупорены войной. А что вы думаете о себе?

– Мне любопытно, что скажете вы.

– Мне кажется, что вы все в тылу – замки, запертые на три поворота ключа, – сказал он безулыбочно. – Не обижайтесь, нет смысла. Впрочем, обижая других, обижаешь себя. Вы, например, Эльдара презираете, а Романом брезгуете. А

это фронтовые ребята. И к вашему высокомерию я не испытываю никакого восторга. Вам прощают, потому что вы не парень...

Она договорила, подражая тону его голоса:

– Иначе вы бы по-фронтовому отколошматили меня? Вы уже раз говорили мне...

«Что толкнуло меня сказать ей это? Думал совсем не о том. У нее такое лицо, как будто она хочет поиздеваться надо мной. У нее склонность к самодовольству, а лицом она управляет мастерски». И он проговорил, даже не пробуя улыбнуться:

– Не исключено.

– Да-а? Вы так надеетесь на свою силу?

– Если заденут фронтовика, не собираюсь прощать никому и ничего.

– О-о, какой вы парень, – протянула она с изумлением. – У вас решительность профессионального бретёра. Вы знаете, что такое бретёр?

– Не имею понятия.

– Вам приходилось убивать немцев?

– Я старался взять их живыми. Какому разведчику нужен мертвый немец?

– А все-таки? Вам лично приходилось?

– «А все-таки» – яснее ясного. Промахнуться – значит, дома получают похоронку. Если лично, то мой автомат был заряжен не патронами, а проклятиями самого черта. И у всех

ребят во взводе. Личного ничего не было.

– Вот здорово! Почти шекспировская пьеса. Эт-то что же за театральные слова насчет проклятий черта?

– Пьеса? Война только подлецам, карьеристам и дуракам кажется театром. Даже где-то читал: «Театр военных действий». Глупее не придумаешь. А насчет черта – так говорили у нас во взводе. Помощник начальника штаба полка, которому мы подчинялись, любил повторять эту фразу. Офицер был стоящий. Мои ребята его уважали. Погиб в Пруссии. Кстати, был из Москвы. Жил где-то на Усачевке.

– И вы его фразу повторяете до сих пор?

– Да. Стоило ее запомнить.

Она, в растерянности обхватывая колено руками, с неумолимым безразличием посмотрела на острый носок своей черной туфельки.

– У нас во взводе... Мои ребята... Как будто вы очень гордитесь или очень уж ими хвастаетесь. Что-то не похожи вот эти идеальные ребята на рыцарей без страха и упрека. Чем они хороши, так это водку геройски глушат. – Она сказала не «пьют», а «глушат», и это нарочитое огрубление опять задело Александра.

– Вы немного пьяны, Нинель? – сухо вато спросил он.

– Конечно. Но... чуть-чуть-чуть меньше ваших друзей.

Она перевела насмешливый взгляд в сторону стола, где в людском круговороте, в гомоне возбужденного говора, в тесноте пиджаков выделялись гимнастерки Логачева, Твер-



дохлебова и Билибина, окруживших едва видимого из-за их плеч маленького Эльдара – все четверо чокались, смеялись, голоса их увязали в общем шуме, и Александра, неизвестно почему, вдруг потянуло туда, к ним, постоять рядом, выпить с ними вина.

Кирюшкин, совершенно трезвый, танцевал с Людмилой в своем ослепительном пиджаке, не выводил ее из круга, не отпускал ее, и она, подчиняясь ему, почти касалась виском его плеча, а он своими дерзкими глазами нежно смотрел на ее золотистые волосы и говорил что-то ей.

Нинель сказала, указывая взмахом ресниц на Кирюшкина:

– Этот неотразимый демон в модной маске поймал в сети милого ангела Лю, а она, очаровательная дурочка, наверно, сошла с ума.

– Неясно, что значит «демон в модной маске»?

– О нем ходит дурная слава. Его почему-то боятся во всем Замоскворечье. Самолюбив и дерзок. Впрочем, такие парни мне нравятся, но отталкивают грубой силой. Мне кажется, вы в чем-то похожи.

– В чем я похож? Грубой силой?

– Как вам сказать? Ну, положим. Я знаю, что нравлюсь вам, но вы выставили иглы, как дикобраз.

Улыбка раздвинула ее губы. Александр нахмурился.

– Я готов бесконечно потакать женской слабости, но никогда не покорюсь женской силе, – сказал он, вспоминая по-

следнюю встречу с Вероникой, и нехотя пошутил: – Сила, слабость – вшистка едно!

Порхающей походкой в распахнутой, как крылья, короткой курточке, должно быть, юный жрец искусства, подлетел к дивану молодой человек с радостным легковерным смехом, крича:

– Нинель, как рад, я только что с вечерних съемок, ворвался сюда и узнал, что ты здесь! Я не видел тебя два... как будто два тысячелетия! Ты отменно выглядишь! И платье тебе к лицу. Пойдем к столу, выпьем чего-нибудь! Я задыхаюсь от жажды! Я устал, как бобик на охоте! Снимали сцену собрания, сняли пять дублей, измучились! У тебя роскошные духи! Немецкие? Французские? Пойдем, Нинельчик! Что? Прости, ты занята? Как? Кто это? – Он выкатил белесые глаза, нескладно запутался, заплутался в словах, вращая маленькой верблюжьей головкой то в сторону Нинель, то в сторону Александра, уже вроде бы понимая, в чем дело, и в то же время сердясь на то, что она не одна и смотрит на него с беззвучным невниманием.

– Как вас? Кто вы? – залепетал молодой человек. – Вы откуда, собственно?

– Дуй отсюда, бобик, – сказал равнодушным тоном Александр. – Будь любезен, если не трудно, принеси Нинель стакан вина, да и мне заодно, буду очень благодарен.

– Ха-ха! Смех и рыдания! Сплошная вереница пошлостей! – вскричал молодой человек с театральными ужимка-

ми. – Нинель, удивляюсь твоему вкусу! С кем ты? Где ты отыскала этот нахмуренный экземпляр?

– Бобик, дуй за вином, – повторил однотонно Александр и не лишил себя удовольствия, чтобы не пообещать: – Иначе я тебе, бобик сивый, бобик милый, уши надеру за неуважение к старшим.

Молодой человек стремительно попятился на подгибающихся ногах, наталкиваясь спиной на покачивающиеся в танце пары, бормоча с гордой гневливостью:

– Я не лакей, не холуй!.. Вы жестоко ошиблись... Я актер!.. Вы не имеете права. Я пожалуюсь хозяину квартиры, и вас попросят уйти за хамское поведение. Вы... вы невежа! Кто вы такой?.. Я – Тушков! А кто вы?

Александр встал, сказал с подчеркнутым сочувствием:

– Ну как вы невоспитанны, товарищ актер... – но тут от стола, лениво косолапя, по-медвежьи придвинулся Твердохлебов, заметив своими красными от хмеля глазками какой-то непорядок подле дивана, движением клещеподобной руки приостановил отступление и гневливую речь актера, проговорил сбавленным басом:

– А это откуда свалилась тыловая какашка? Это он с тобой никак некрасивые арии поет, Сашок? Попугать его, что ли, ради приличия?

И, сделав зверское лицо, выставив перед собой громадные скрюченные пальцы, будто для кровавого нападения, Твердохлебов хищно присел, издавая медвежий рев: «Смир-рно,

тыловой таракан!», отчего молодой человек, в страхе выпучив глаза, пригнул шею и боком-боком рысцой кинулся к двери, взвизгнул:

– Моей ноги здесь больше не будет!

Возле дверей в переднюю он на миг показал съеженную спину, как бы ускользающую от острия ножа, нацеленного вонзиться между лопатками, и исчез, выпорхнул вон из комнаты.

– Бегун, – удовлетворенно отметил Твердохлебов и, потирая клешни умывающим жестом, повернул к столу.

Против ожидания Александра зоологическое рыканье не произвело на гостей большого впечатления; здесь, по всей видимости, привыкли к разного рода экстравагантным выходкам и неожиданностям в этой разношерстной молодой компании. Среди разогретого вином галдежа, ярких споров, звона стаканов, смеха, анекдотов, оглушаемых нескончаемым нытьем патефона под слитое шарканье ног по паркету, только некоторые вскользь оглянулись на Твердохлебова, принимая его взрыв за дурачество не очень остроумного толка. Александр же упал спиной на диван и захохотал, увидев эту оскорбленную, упорхнувшую в смертельном перепуге спину актера.

– Ну, старшина, ну боксер, контузил голосовыми связками бедного парня! Твердохлебов, знаете, в «катюшах» служил. Уверяю вас, Нинель, ваш друг заикаться начнет от испуга! А ведь Миша только пошутил.

– Ужасно грубо... я не знаю, как это назвать! Неужели вам не совестно то и дело применять свою силу! Вы чувствуете себя хозяевами жизни, да? Перестаньте веселиться, это пошло!

Он увидел ее ставшее неприязненным лицо и сказал с примирением:

– Перестаю. Вы сказали, Нинель, – мы хозяева жизни? А что? Вполне возможно и справедливо.

– Вы – хозяева? Это интересно! – Ее темные разъятые любопытством глаза вплотную придвинулись к его лицу, и он утонул в глубине блестящих зрачков.

– Интересного тут мало, но за войну у многих из нас клыки и когти выросли.

– Вы в этом уверены? Волчата превратились в волков?

– Может быть.

– И что же вы будете делать?

– Никто из нас не намерен давать себя в обиду.

Она отклонилась к спинке дивана.

– Господи, каким образом? Почему этот Миша пострижен, как арестант или уголовник?

– Что это значит?

– Ну, как арестантов и уголовников стригли в России. Во времена Достоевского.

Он слегка покривился.

– Нинель, вы допускаете обидные вещи.

– Я вообще глупая баба.

Он сделал попытку улыбнуться.

– Вы подобны ветви ивы, как сказал Эльдар.

– Перестаньте. Я знаю, что у меня хорошо и что плохо.

– Так вот. Он пострижен потому, что ранен в голову. И его лечат. Как лечат – не знаю. Парень он – честнейший!

– А вы?

– Что я?

– Да и вы как будто не такой уж плохой парень, – сказала она с насильственным смехом. – И вам здесь нравится? А ради чего нам надо быть в этом бедламе? От одного патефона с ума сойти можно! Пойдемте лучше танцевать, а?

Он запротестовал:

– Нинель, не вижу в этом топтании смысла.

Она сказала, почти прикасаясь губами к его губам, глядя ему в глаза смеющимся взглядом, в котором была непроглядность осенней ночи:

– А может быть, со мной будет немножечко лучше. Представьте, что я с другой планеты и кое-чему научу.

– Да, такие ивы наверняка бывают с другой планеты, – пошутил он, чувствуя озноб на спине от ее близкого дыхания, от черной близкой глубины ее блестящих глаз.

Он плохо осознавал, что говорил, что делал в эту минуту, но когда взял ее руку, смуглую, податливую, поразился ответной ласковости длинной сильной кисти. Он сжал ей пальцы и, не выпуская их, поднялся с дивана, самоуверенно притянул ее к себе так резко, что она грудью придавилась к его

груди, откинув голову, спросила ослабевшим голосом:

– Что вы делаете?

– Пойдемте, хотя бы на улицу. Походим, посмотрим на звезды. Этот патефон превратит нас в идиотов.

– Нет, Александр, я не люблю смотреть на звезды, – прошептала она. – Идемте ко мне.

– К вам? Куда?

– Я недалеко живу.

\* \* \*

Они выбежали из парадного во двор на свежий ночной воздух, и он, в темноте видя скользкий блеск ее глаз, так сильно и нетерпеливо обнял ее, так жадно нашел ее приоткрытый дыханием рот, что оба пошатнулись, едва не упали, потеряв равновесие.

– Да ты просто с ума сошел! – выговорила она, смеясь, задерживая дыхание. – Так целоваться не надо. Это как-то очень грубо, по-солдатски. Я тебя научу.

Она взяла его под руку и застучала каблучками рядом, и он подчинился ее бойкому шагу, прижимая ее подсунутые под локоть пальцы, с загоревшейся нежностью чувствуя и стыдясь ее туго тершегося бедра.

– Стой, лярва! Куда его ведешь? – послышался из темноты тонкий, с каким-то ребячьим выговариванием (точно зубов не было) голос, и из-за ствола липы по-кошачьи бесшум-

но выдвинулась смутная фигурка не то приземистого мужчины, не то подростка. В неярком свете из верхнего окна выделилась тесная кепочка, желтый овал пухлощекоего лица, и Александр сейчас же узнал паренька, что приходил в голубятню Логачева, требуя у Кирюшкина тот самый таинственный золотой портсигар с монограммой, тяжбу из-за которого Александр не мог знать в подробностях, да это, впрочем, и не интересовало его.

– В чем дело? – спросил Александр, отпустив руку Нинель, и шагнул навстречу пареньку в кепочке, мучительно вспоминая, как называли его в голубятне Логачева: Лесик или Лосик?

– Я тебя видел, солдат, – прошепелявил паренек и, цвикнув зубом, сплюнул через губу. – Ты мне не нужен. И лярва твоя не нужна.

– Ты-и, хрен в кепочке, поосторожней с ласковыми выражениями в присутствии женщин! – вспыхнул Александр. – А то тятну по кумполу и по пояс в землю вгоню. Предупреждаю: первым удар не наношу.

Он ожидал ответной вспышки паренька, но вспышки не последовало, только наступила короткая тишина, потом послышалось движение, шорох под липами, и справа и слева от паренька молчаливо затемнели две фигуры, одна статная, массивная, другая пониже ростом, тоже оба вроде бы знакомые по голубятне Логачева, кажется, высокий имел прозвище «красавчик», как вспомнилось Александру.



– Мне с тобой счеты не сводить, солдат, – выговорил косноязычно паренек в кепочке, подавляя злость. – Мне Аркашенька нужен позарез. У меня с ним дела. Сабантуйчик этот когда кончается? Ты первый, похоже, смылся? И кто с ним – вся шарага, а может, он один?

– Пошли, быстро! – скомандовал Александр и, крепко схватив Нинель за руку, рванул ее за собой, к парадному, откуда только что убежали они, и здесь, по гулкой лестнице, перемахивая через ступени, с силой потащил ее наверх, растерянную, спотыкающуюся на подворачивающихся каблуках, а на третьем этаже, на лестничной площадке, перед дверью задержался на несколько секунд, прислушиваясь. Нинель, обняв его за плечи, не говоря ни слова, уткнулась лбом ему в спину, сбивчиво дыша. Внизу, на лестнице, не слышно было ни звука, ни голосов, ни движения. Их никто не догонял, да и погоня была бы бессмысленной. Им нужно было, вероятно, встретить Кирюшкина внизу, во дворе, в потемках разросшихся вблизи парадного лип.

«Лесик, – внезапно вспомнил Александр имя или прозвище паренька в кепочке. – Тогда меня поразили его какие-то белые глаза, какое-то пухлое бледное личико. Да, Лесик, Лесик, похож на сомика...»

Он позвонил. Дверь открыла Людмила и, плохо понимая, спросила:

– Разве вы выходили?

Позади нее стоял Кирюшкин.

– Что случилось, Сашок? По лицу Нинель вижу, что внизу какой-то шорох. В чем дело?

Александр отвел его в сторону, кратко рассказал о встрече во дворе с Лесиком и его друзьями. Кирюшкин не выказал никаких чувств, выслушал без вопросов, потом проговорил превесело:

– Ты, старина, можешь идти провожать Нинель. Они тебя не тронут. Ты им не нужен.

– И все-таки я подожду, – возразил Александр. – Может быть, я вам буду нужен.

– А это вполне возможно. Хотя не исключено – будет перебор в силовых средствах. – Он взял под локоть Людмилу, подмигнул Александру. – Танцы продолжаются, старина.

## Глава восьмая

– Губы не надо, – сказала она, поворачивая голову к стене. – Поцелуй шею. Потом грудь. И потрись губами о соски. Нежно, нежно.

– Кто тебя научил этому?

– Изольда.

– Кто?

– Ты не знаешь ее. Она вышла замуж за поляка и уехала.

– Сумасшедшая какая-нибудь?

– Почему? Мы учились вместе. На актерском. Но она иногда приходила ко мне ночевать.

– Странно, росистая ива с другой планеты.

– Ты запомнил слова Эльдара? Чего же тут странного? Эльдар – поэт. А она просто была нежная девочка.

На потолке зыбко, как отражение в воде, дрожало пятно от уличного фонаря, в беззвучной темноте шевелились среди этого пятна тени от листвы, и приторно пахло духами от теплой шеи, от груди Нинель, – и вместе с этим запахом какое-то неудобство, стесненность исходили из потемок чужой, заставленной старой мебелью квартиры, и Александру чудилось, что он слышал чье-то дыхание за стеной, неприятные шорохи, словно их подслушивали, и уже жалел, что отказался от предложения Кирюшкина взять ключ от его комнаты, где он жил один. Этот ключ он предлагал Александру,

когда полной ночью вышли от Людмилы, приготовленные к встрече с Лесиком и его друзьями, но встречи не произошло – во дворе никого не было, – и уже на спящей, без огней улице стали расходиться. Тут Кирюшкин, не пропустив мимо внимания сближение Нинель и Александра, сказал ему, что сегодня настроен переночевать не дома, а завалиться куда-нибудь в ночной ресторан, и протянул ключ с поощряющим видом. Нинель услышала, о чем шла речь, и независимо прервала Кирюшкина: «Благодарим, атаман. Мы пойдем гулять по центру».

Ему неуютно было в этой комнатке, световое пятно зыбилось маленьким зеркальным озерцом на потолке, он не видел ее лица, ее глаз, ее губ, она лежала, повернув голову к стене, а он целовал ее шею, ее грудь и говорил шепотом:

- Почему ты прячешь губы?
- Не хочу. Мне так нежно.
- Но зачем так?
- Мне нежно. Я могу тебя почувствовать...
- Ты так любишь?
- Мне хорошо. А зачем тебе мои ноги?
- Я хочу тебя обнять и лечь на тебя.
- Зачем?
- О чем ты спрашиваешь?
- Не надо так.
- То есть?
- Так я не хочу.

– А как ты хочешь?

– Я не могу тебе ответить. Я просто тебя хочу... всего тебя.

– Как?

– А ты делай то, что ты хочешь. Может быть, ты любишь, чтобы женщина ложилась на тебя? Или еще как-нибудь...

– Как-нибудь?

– Ну, чтобы я тоже могла тебя... ласкать.

– А зачем так?

– Может, это будет интереснее и тебе, и мне.

– А тебе это лучше? Ну, хорошо. Что я должен делать?

– Я тебе помогу. Я лягу на тебя. Только ты не шевелись. Я буду все делать. И не целуй меня в губы. Я сама буду целовать тебя.

Потом они лежали, не касаясь друг друга, и он молчал, ошеломленный и ее испорченностью, и ее наивностью, чего он не ожидал, что не совпадало и совпадало со всем ее обликом на вечеринке, с ее манерой двигаться, говорить, смеяться, с ее порочно опущенными ресницами. Ему казалось, что она боится какой-то грубости с его стороны (неужели он производил такое впечатление?), и то, что она сама делала с ним и своими руками, и губами, и грудью, и всем своим прохладным телом было длительно, осторожно, ласково, похоже на невинную игру, в то же время это не было игрой, а было неторопливое, с рассчитанными остановками разжигание костра, и он, покоряясь нежной чужой воле, чувствовал, что

плывет, весь охваченный то неугасимо жарким ознобом, то опадающим огоньком пламени, плывет в нескончаемых волнах сладкого беспамятства, они несли и покачивали среди ночной безбрежной реки в ослепительном звездном сверкании над головой, которое никак не могло взорваться фейерверком и рассыпаться, и утонуть во тьме губительной бездны и облегчения. Но шепот, доходивший от этих звезд, овеивал его прохладным дуновением: «Не торопись, не торопись, мы вместе, мы вместе...» – и в последнюю секунду она вдруг ощутило прикоснулась влажными губами к краю его губ и несколько раз вздрогнула на нем, выдохнув со стоном: «Ты тоже, тоже...»

Они лежали в изнеможении.

– Тебе было нежно со мной?

– Да.

– А когда-нибудь еще так, как сейчас, было?

– Так, как сейчас, – нет.

– Ты просто их насильовал. Был, наверно, груб.

– Насильовал?

– Ну, как это сказать, ты не наслаждался нежностью. Ты, конечно, торопился, конечно, не соизмерял силу. И, наверное, было что-то между вами, как между самцом и самкой.

– Насчет этого – не помню.

– Можно представить: такой здоровый и ничего собой Дионис, который не пьет даже водку, и какая-нибудь тоненькая, как лоза, вакханка.

– Дионис? Вакханка? Романтично. На фронте я встречался с простыми женщинами. И в Польше, и в Чехословакии тоже. Я не встречался ни с герцогинями, ни с вакханками, ни с актрисами.

– Но хоть раз было, как со мной?

– Нет.

– И сколько раз ты мог любить женщину за ночь?

– Я быстро чувствовал разочарование.

– Во мне ты не разочаруешься. Должна первой разочароваться я.

– Что ж...

– Я не люблю животную любовь, которая наводит скуку. Я боюсь одиночества вдвоем. Только ты меня не насилуй. Мне отвратительно грубое плотское наслаждение. Если хочешь, я могу быть с тобой нежной целую ночь. Хочешь?

– Да.

– Скажи, ты любишь мечту о себе?

– Не понимаю.

– Хорошо. Не надо это понимать. Ты просто доверься мне.

Это было состояние опустошенности, звенящего головокружения, веселой невесомости во всем теле, радостного желания закрыть глаза, вспоминать ее прикосновения, ее шепот, касания ее губами края его рта, что не было обычным поцелуем, а было каким-то нежным знаком, когда ее колени слегка сдвигались, тело становилось прохладным, начинало содрогаться, и она не могла сдержать слабого стона сквозь

белеющие зубы: «Только вместе, вместе...»

\* \* \*

Когда он вышел со двора в переулок, везде чувствовалось утро. Фонари нигде не горели, но еще ночь оставалась в городе, дома в светло-сером сумраке молочно отсвечивали стеклами; не шелохнувшись, неподвижно темнели над тротуаром липы, в глубине которых по-раннему шумели воробьи, перед зарей звонко оглушая переулок. С улицы донесся снарядный скрежет на повороте первого трамвая, и Александр сначала пошел на остановку, потом решил добраться до дома пешком, подумать, покурить, прийти в себя, сознавая, что в эти последние дни его словно бы без участия воли подхватил и понес поток встреч и знакомств, то сближающих его с новыми людьми, то отталкивающих. Порой он чувствовал бессмысленность и ненужность всех этих рынков, толкучек, забегаловок, голубятен, и вместе с тем их соблазнительно притягивающую силу, без чего не мог побороть одиночество, безмерность свободных дней после возвращения, которые нужно было чем-то заполнить. Были часы, когда унылая и безотвязная тоска не отпускала Александра («Что дальше делать, как жить?»), и тогда его охватывала вязкая пустота.

Деньги, которые он получил по демобилизации, давно кончились, вследствие чего он уже продал все, что можно было продать из привезенных с фронта трофеев: швейцар-



ские наручные часы (одни, правда, оставил себе), офицерский кортик с инкрустированной рукояткой, взятый в штабной машине под Киевом, две австрийские зажигалки, изображающие пистолетики; оставалась надежда продать немецкий компас, так спасительно нужный Александру в другом, военном мире и потерявший свое значение здесь, в послевоенной Москве, как бесполезная вещь, которую, впрочем, не покупал никто. Иногда подходили парни с иссиня-коричневыми лицами, стучали грязными ногтями по стеклу, смотрели на чуткое подрагиванье стрелки («Ишь, стерва, какая нервная») и отходили, хахакая: «На хрена попу гармонь». И тогда Александру хотелось слева и справа вlepить по этим прожженным водкой рожам, чтобы без лишних слов доказать, что эта «нервная стерва» спасала ему и его ребятам жизнь в беспроглядную метель, снегопад, дождливую осеннюю темень.

Его мучило безденежье особенно потому, что он ощущал какую-то вину перед матерью, и его ревниво угнетала денежная и продуктовая помощь этого жалкого и одержимого чудака Исаея Егоровича, раздражавшего и своим присутствием в комнате отца, и своим сумасшествием, поклонением матери.

Все, что происходило с ним в эти дни, казалось ему неестественным и кем-то направленным на него, чтобы вывести его из одиночества, все новое проходило знобящим сквознячком и необъяснимым и мучительным знакомством

приблизило к этой непонятной Нинель, которая учила его быть нежным, и он подчинялся ей.

Было странно вдвойне, что она угадала многое: он был нетерпелив, наверное, грубоват с другими женщинами, которых знал в военных встречах, забыв о том, что надо было сохранять в себе, а этим утолением голода была, наверное, грубость, пугающая Нинель, «насилие», как сказала она.

И было кощунственно думать, что нежность Нинель, ее покойная осторожность напоминала любовь матери в детстве, когда он болел малярией, горел в жару, трясся в ознобе, а она сидела рядом с его постелью, и ее прохладные родственные ладони гладили его пылающий лоб.

Только перед рассветом они очнулись от короткого и глубокого сна. Они лежали, вопросительно и молча глядя друг на друга, постепенно вспоминая, как все произошло между ними и что было этой почти бессонной ночью. Он сказал опавшим голосом:

– Мне сначала показалось, что ты какая-то демонстративно пьющая девочка, которой море по колено. И, знаешь, когда ты села на диван рядом со мной, от тебя шел какой-то, прости, развратный запах духов.

– Конечно.

– Что «конечно»?

– Мне в самом деле представляется, что я играю то Сафо, то Клеопатру, то Катерину из «Грозы», то принца Гамлета.

– Зачем же так много? И при чем здесь Гамлет? Ты не

Гамлет, а чудесная женщина из сказок Шахразады. Слушай, что у тебя за ресницы? Мне все время кажется – взмахнешь, и от них ветер поднимается. Я не смеюсь, Нинель, просто я таких не видел.

– Обними меня, Саша. Только нежно-нежно. Милый, за-  
купоренный войной малый.

И, обнимая ее, он уткнулся лицом в ее грудь, вдыхая влажный телесный запах и еще оставшийся запах духов, который так неприятен был ему, когда на вечеринке она сидела возле него на диване.

Теперь он шел в сиреновом сумраке рассветной улицы, беспричинно улыбался и, ударяя ладонью по фонарным столбам, повторял вслух:

– Кто она? Откуда она?

– Эй, парнюга, не опохмелился еще? – раздался оклик из-за его спины. – Чего бормочешь? Пойдем со мной, найдем по полторашке. Эй ты, хохряк!

Александр приостановился, глянул из-за плеча, точно просыпаясь. Человек с безобразно выпуклыми морщинами на немолодом испитом лице смотрел на него, прислоняясь спиной к забору.

– Ноги есть? – спросил Александр.

– А чё тебе до ног? Идем ко мне, выпьем! Я без женщин живу. Погуляем, познакомимся, как следует.

– Ну вот, если есть ноги, иди, иди и иди подальше, пока я тебе по случайности не врезал по фронтому для отрезвления

И ЗНАКОМСТВА.

## Глава девятая

На Пятницкой, уже совсем светлой, розовеющей за домами на окраине Москвы, гроыхали трамваи с дремлющими в этот ранний час редкими пассажирами, стали появляться первые прохожие. Александр подробно не видел все это, слышал звук своих шагов и, вспоминая ночь, улыбался, морщился и хотел сейчас только одного: добраться до дома, упасть на постель и счастливо заснуть, веря и не веря в то, что случилось с ним. И одновременно угловатой тенью возникала и исчезала тревога, намекая на нечто случайное, непрочное, легковесное, что коснулось его и обмануло.

На Чугунном мосту внезапно оглушило неистовым звуком, ревом мотора, мимо на всей скорости пронеслась отлакированно-красная пожарная машина, сверкая золотыми касками деревянно сидящих плечом к плечу пожарных. Он почему-то подумал: «Где-то пожар? Или учения? Куда они? В такую рань...» И взглянул вдоль Пятницкой, из праздного любопытства угадывая, куда они повернут – на Новокузнецкую улицу или в Лаврушенский переулок.

Машина повернула на перекрестке Клементовского в сторону Новокузнецкой, и в эту минуту ему почудилось, что над крышами Клементовского переулка поднялась и расширилась заря, погожая, теплая, летняя, но в каком-то прозрачном дыму, в белесом тумане.

Бой колокола машины удалялся и смолк за поворотом в переулок, а Александр начал ускорять шаги, подталкиваемый любопытством, смутным беспокойством, какое бывает при виде пожарных машин, раздражающих нервно-пронзительными звуками колокола, настойчивым оповещением о бедствии. В Клементовском переулке группа небритых замызганных фигур топталась у дверей забегаловки в нетерпеливом ожидании ее открытия. Они поглядели на небо и один за другим потянулись в сторону Большой Татарской, куда повернула пожарная машина, и Александр, быстро пройдя переулок, остановился на углу, и теперь ясно увидел, что горело на той стороне улицы за двухэтажными домами. Широкое пламя, перемешанное с черными смерчами дыма, вырывалось над крышами в зеленеющее небо, искры шапкообразным фейерверком осыпались на улицу в безветренном воздухе. А оттуда, из-за домов, доносились шум огня и воды, неразборчивые крики, гудение мотора, стояла, галдела толпа жильцов в проходе между домами, в пижамах, в накинутых на голые плечи пиджаках, в галошах на босу ногу; на лицах у иных пребывал страх, у иных болезненное возбуждение, и это скопление растерянных жильцов оттискивал и уговаривал соблюдать спокойствие рослый милиционер, делая неприступно-суровые глаза.

«Что такое? Да это же дом Логачева? Что произошло?»

Александр протискался через толпу, вышел на задний двор, и здесь его обдало жаром: было горячо глазам, за-

першило в горле от черных валов дыма, он накатывал из-под кипящего огня, по которому хлестали водяные струи из брандспойта, его тянули и расправляли вокруг машины человек шесть молодых пожарных, мелькая суровыми лицами, подбадривая себя свирепыми криками: «Давай! Пошел!» И несколько пожарных с баграми бежали к огню. Только сейчас все стало до отчетливости очевидно: буйно горели сараи на заднем дворе, мохнатое пламя с треском и гулом охватывало деревянные строения, огонь, взвиваясь, толкался в дым, нависший над двором, обваливались дощатые перекрытия, корежился и выгибался толь там, где ужасно били струи брандспойта, кое-где уже обугленными ребрами торчали концы дымящихся столбов. Но то, что бросилось в глаза Александру, это был черный провал в левой части двора рядом со старой липой, обвисшей над этим провалом спаленными, свернутыми в трубочки от жары листьями. Здесь был крайний сарай, голубятня Логачева, а теперь зияло мокрое пепелище, по мрачной черноте его курились, завивались змейками белые дымки, и тут, среди пепелища, пошатываясь, как незрячий, ходил мелкими шагами, по колену испачканный в бурой грязи Логачев, рот его разверзался квадратно и страшно на измазанном гарью полоумном лице. Он не то кричал, не то плакал истошными слезами безысходности, и рядом с ним ходил и мертво молчал хмурый Твердохлебов, свинцового цвета губы его были жестко сжаты. Маленькая худая женщина в ситцевом платочке семенила, спо-

тыкалась за ними сзади, рот ее растягивался в плаче, она бормотала сквозь всхлипы:

– Гришуня, не надо, не надо, миленький...

По всей видимости, это была жена Логачева.

– Я эту сволочь из-под земли достану, зубами глотку перегрызу! Я знаю, кто это сделал, падлюка! Знаю! – исступленно рыдал Логачев и, как в удушье, рвал ворот гимнастерки на раздувшейся бычьей шее. – Двадцать семь штук уморил, дотла сжег!.. А я их целый год один к одному отбирал, два ленточных, голубка николаевская, палевый, четыре красных шпанциря, монахи, мраморные!.. – выкрикивал он будто в бреду, и крупные слезы текли по его грязному лицу, скапливались в щетинистых усах. – Раздавлю клопа! Гниду склизкую! Он у меня кровавыми соплями до захлеба умываться будет, курва блатная! В дерьме утоплю, ноздрями совать буду, пока не захлебнется, паскуда! Это ведь все одно что детей беззащитных сжечь! Двадцать семь ангелов сжечь, мокрица фашистская!..

– Гришуня, не надо, миленький, не надо... сердце не надрывай, – причитала жена Логачева. – Не вернешь ведь голубенков-то!

На краю пепелища стояли Кирюшкин, Эльдар и Билибин – все трое в ледяном безмолвии искали глазами что-то среди сгоревших, залитых водой головешек, точно надеялись найти нечто важное, раскрывавшее тайну этого пожара, но, кроме покореженных закопченных консервных банок, служив-



ших поильницами для голубей, не было ничего в жиге из углей, золы и пепла. Эльдар, горбя шею, молитвенно провел руками по впалым бледным щекам, проговорил сбившимся голосом:

– Земная жизнь – океан бедствий, лучше всего не родиться, а если родиться – лучше всего умереть.

– Вот как дам сейчас по башке – ив ящик сыграешь. Мечта и реализовалась, – бесстрастно сказал Кирюшкин. – Не болтай ерундовину. Не паникуй. Молчи.

Сейчас, вблизи этих горящих сараев, непрерывно гудящего мотора пожарной машины, бурно и туго хлещущих ударов струй брандспойта по огню и дыму, в котором с командными криками возились тени пожарных, баграми суетливо растаскивая догорающие доски сараев, сейчас было странно видеть его модный черный пиджак с подбитыми плечами, его щегольские белые брюки, отчего его высокая фигура выглядела атлетически конусообразной, чужой, какой-то театральной, случайно оказавшейся здесь. И стоял он, не двигаясь, твердо заложив руки в карманы, – и, взглядевшись, Александр поразился: он как будто похудел на глазах. Он был, пожалуй, в чрезвычайно возбужденном состоянии, змеиная неподвижная острота заморозилась в его взгляде, но по внешней позе своей он казался безучастным.

– В чем я виноват? – еле различимо выговорил Эльдар, и в голосе его зазвенела обида, он понял, что Кирюшкин далеко зашел в своей ярости, не показывая ее, однако, явно.

– Не ной, – отрезал, сцепив зубы, Кирюшкин, и не было сомнений, что нет у него в эту минуту за душой ни добрых слов, ни снисхождения. – Лазаря петь будешь в другом месте. Заткнись сейчас.

Билибин, разглядывая разъеденными дымом глазами поднятую из пепелища изуродованную огнем миску из-под конопки, обтирая слезы с изрытых шрамами щек, неудобно сказал:

– По своим не стреляй, Аркаша. Своих не бей.

Кирюшкин глянул на Билибина с раздраженным удивлением.

– Виват, – невесело произнес он и повелительным тоном приказал вполголоса: – И ты помолчи, Роман!.. Бой мы проиграли. Танки наши сожгли, орудия разбили. Поэтому грош нам цена со всей нашей болтовней. И умностями студентов! Не думаем, а языками треплем!

– Мы друзья твои, Аркаша, – жалобно прошептал Эльдар, потупясь. – Не сердись.

– Сам знаешь: до гробовой доски... – подтвердил Билибин с намерением смягчить раздор. – За что ты нас?

– Когда начинается война, Роман, нужны не друзья, а верные люди, – жестоко сказал Кирюшкин и показал крепкие зубы в дернувшейся усмешке. – Твой любимый Господь всемогущий решил посмешить наших врагов, когда создал нас с тобой, растяп и недоносков! Что ж, скорпионистый мальчик оказался не трепачом. Устроил нам сорок первый год.

Ясно? Все мы подставились. Александр, подойди, – позвал он и, когда тот подошел, спросил: – Ну а ты, парень свежий среди нас, что думаешь по этому поводу? Есть какие-нибудь мыслишки?

– Кто он такой, этот скорпионистый парень?

Презрительная складка появилась на губах Кирюшкина.

– Отврат.

– Что это значит?

– Отврат есть отврат.

– Дошло. Рукоплесменты, все встают.

– А ты сейчас не остри!

– А что я должен делать? Рыдать вместе с Логачевым?

Слезы проливать – ни хрена не поможет! Значит, подставились?.. Кто это сделал?

– Хочешь знать от меня?

– Хочу знать от тебя.

– Могу расписаться на фоне этого дыма, что это дело Лесика и его банды.

– Кстати, тебя и твоих ребят тоже называют бандой.

Кирюшкин яростно расхохотался.

– Не возражаю! Звучит! Меня это не пугает! Но моя несообразность в том, что бываю слишком доверчив. И не терплю уголовщину. Лесик – тот еще паренечек, положи ему в рот палец – всего до ушей сгрызет и еще долго облизываться будет. Но чую, наступает новая жизнь в Замоскворечье. Это я чую. Высочайшее право есть высочайшее бесправие.

– Что?

– Два шофера одну машину вести не могут! Так, Роман, а? – обратился он к Билибину. – Ответь мне как бывший танкист. Два механика-водителя могут вести одну машину? Да или нет?

– Каким образом? Дураковаление, а не вождение. – Билибин возбужденно покусал изуродованные следами ожогов губы. – Не-ет, это не человек. Это тень человека, сатанинский ублюдок.

– И что ж делать надо? – спросил Александр, взглянув на заострившееся от ровной бледности лицо Кирюшкина.

Кирюшкин холодно устранился от прямого ответа.

– Злых злом учить надо. Уже давно чувствую вонь чужого дерьма! Сам себя иногда боюсь. Горло перерву, кто поперек встанет. Или фронтовика пальцем заденет.

Александр опять увидел завораживающе-змеиную неподвижность в зрачках Кирюшкина, и вдруг подумалось, что он был неуязвим для своих недругов, этот загадочный парень, верный неписанным фронтовым законам, у него не было никакой робости перед жизнью, и умел он постоять, должно быть, не только за себя.

Во дворе набиралась с улицы, скапливалась толпа, в проходе меж домов теснились полуодетые жильцы, смотрели в страхе на горящие сараи, на взлеты гудевшего пламени, по которому с напором били струи воды, доставая до стен крайнего дома, оглушали зычные команды пожарных, сухой

треск обваливающихся крыш. В зловещих прыжках огня от ударов бревен о землю вздымались метели искр над двором под обезумелые выкрики Логачева, а он все как пьяный ходил по пепелищу голубятни в диком приступе раскаленного отчаяния, изуродовавшего его лицо, неудержимые рыдания вырывались из его горла:

– Найду падлюку! Искалечу!.. Из-под земли достану, гадину вшивую!

И, обняв его с неуклюжестью непривычного утешителя, косолапо покачивался сбоку огромный Твердохлебов, успокаивающе поглаживал клещатой ручищей его по спине, а позади семенила, спотыкалась худенькая, как подросток, большеглазая жена Логачева и причитала измученным голоском:

– Гришуня, родненький, не надо, я кольцо свое продам, сережки... Часики золотые, что ты подарил... Юбку шелковую... Снова заведем голубочков, не убивайся, миленький, не разрывай ты мне сердце...

В толпе шли разговоры.

– Да-а, видать, сначала обокрали, а уж голубятню потом подожгли.

– А за голубятней и сараи запылали, чтоб все шито-крыто было.

– Какие-то орлы боевые действовали.

– Воровство большое пошло. Какая-то «черная кошка» шурует.

– Логачев-то – знаменитый голубятник на всё Замоскво-

речь. И до него добрались.

– В 16-м веке вора́м уши обрубали. Вот так надо их!..

– Убивается как! Небо́сь нервы лопнули, они ведь тоже не выдерживают.

– Поубиваешься небо́сь. Он всю жизнь на это дело положил. И до войны голубей гонял.

– А это кто за ним ходит, баба-то?

– Жена. Клавка. Она за него в огонь пойдет...

– Жалко парня. Много тысяч потерял. Ба-альшая потеря. Голуби-то все породистые. Ба-агаты́й был Логачев-то!

– Быть богатым – это профессия спекулянтская, а он солдатня беспортошная... В пехоте воевал.

– А я тебе говорю – богаты́й! Бывает – голубь какой и две, и три косых стоит. Голубятники – они не водку, они ликеры и шампанское пьют. Не нам чета!

– Эй, земляк, а ведь ты тоже богач! – громко сказал Кирюшкин, приближаясь к жилистому человеку в хромовых сапогах, по-кавалерийски очерчивающих кривоватые ноги, с лицом беспокойным, взбудораженным, бедово играющим лучезарными глазками.

– А чего такое? – напористо хохотнул жилистый. – Может, и богат, да не твой сват!

– Я не про то, – сказал Кирюшкин. – У тебя другое богатство. Ты – барин своей вывески.

– Это какой такой вывески?

– Мордой хлопчешь здорово. Морда у тебя краковяк от-

плясывает. С какой бы это радости?

– Но-но, ты не очень! Белые штаны надел и думаешь, кум королю. Полегче! А то мы из тебя тоже можем инвалида сделать, на коляску с четырьмя роликами посадить. Ишь, штаны натянул... Ты не очень, не очень, а то... Кто ты есть... кто? Чего выпендриваешься?..

Он тупо завяз в словах и замолчал. Его шея, изрытая морщинами, злобно напряжилась. Кирюшкин почти весело спросил:

– Кто я? Я – Кирюшкин, запомнил? А ты, богач, вроде из шпаны Лесика? Так?

Он двумя пальцами взял за кончик носа лучезарноглазого и так дернул книзу, что тот екнул горлом и попятился, визгливо вскрикивая:

– Ты – как? Ты почему? Ты меня жисти лишиться хочешь?

– Прекрати дребезжать, пошел вон, глупец, – сказал Кирюшкин спокойно и, не без брезгливости вытерев пальцы о плечо лучезарноглазого, с неохотой добавил: – Раздавлю, как крысу.

И сразу же что-то изменилось в его лице, он повернулся, на ходу решительно тронул за локоть молчавшего Александра, давая знать, чтобы тот следовал за ним, и мимо притихшей толпы быстро пошел к пепелищу сгоревшей голубятни.

Логачев уже стоял в окружении друзей, рот его был накрепко сжат, желваки застыли на скулах, он водил полоум-

ными глазами по горящим сараям, где сновали фигуры пожарников, по толпе, по пожарной машине, по кучке жильцов, стеснившихся в проходе между домами, иногда подносил к глазам руку, слепо глядя на закопченное голубиное кольцо, найденное, вероятно, в золе или пепле, моргал, и слезы опять скатывались с его красных век.

– Все! Пошли! Хватит! – приказывающе произнес Кирюшкин, обращаясь ко всем сразу. – Гриша, кончай панихиду, не поможет. Сходи домой, умойся. Клава, останешься здесь, если какой акт или протокол составлять будут.

Никто не ответил ему. Все пошли за ним, кроме беззвучно плачущей Клавы, которая, мученически подняв полные слез глаза на Логачева, умоляла его о чем-то, но он, черный лицом, с набрякшими желваками, двинулся со всеми, услышав команду Кирюшкина, и не взглянул на жену даже мельком.



## Глава десятая

– Сегодня не перепивать, разливать буду сам, – сказал Кирюшкин, расставляя стаканы и разливая водку. – Ну, поехали, по-разумному и поговорим, как будем жить дальше.

Все выпили, по примеру Кирюшкина, по глотку, только Логачев выплеснул водку в рот, как в воронку, потянулся за колбасой и начал жевать размеренно, по-бычьей, тупо уставившись в одну точку перед собой, как бы ничего не слыша, ничего не воспринимая сейчас. Он, казалось, внутренне заледенел, закованный не известной никому, невысказанной мыслью – после пожара он не проронил ни слова. И было не по себе видеть, как иногда на его одичавшие глаза наплывала влага, скапливаясь на нижних веках. Никто не заговаривал с ним, опасаясь в ответ злобного срыва; даже Твердохлебов, не отходивший от него ни на шаг, безмолвствовал, лишь поглядывал на своего друга угрюмыми глазами.

И Александр, наблюдая за полубезумием Логачева во время пожара, спрашивал самого себя с сомнением: неужели пожар, погубивший дорогих голубей, вызывал такое чувство у этого грубого матершинника, мрачноватого пехотинца с рыжеватыми щетинистыми усами? Про себя Александр знал и в школьную пору, какое счастливое, щекочущее радостью ощущение возникало порой при виде гуляния по приполку нагульника голубей, то ли аккуратно чистящих перья, то ли,

в любовной истоме надувая зоб, танцующих перед голубками, то ли с оглушительным треском крыльев белой вьюгой поднятых над двором в летнюю синеву. Стая, купаясь в теплом воздухе, ходила кругами, круто подымалась к зениту, затем плавно снижалась, затем из ее середины отрывался и акробатическими кувырками начинал падать, сверкая белизной, показывая свое смелое озорство, первый турман, потом второй, оба они почти одновременно заканчивали падение к земле, лодочками расправляли крылья, пронизанные солнцем, делали круг над двором и снова взмывали вверх, присоединялись к стае, чтобы продолжать озорную игру в синем солнечном пространстве.

Да, Александр мог понять эту похожую на страсть любовь к голубям, но злобное отчаяние Логачева, его слезы, его рыдания потерявшего над собою волю человека все-таки раздражали его как слабость, как мужская истерика; это дикое состояние Логачева хотелось оправдать его контузией, выплески которой были замечены и в пивной Ираиды, и на вечеру у Людмилы.

Во всем деревянном домике, в глубине двора на Малой Татарской, где жил Кирюшкин, было тихо, ни звука не доносилось с улицы.

Все молчали, сидя за столом в небольшой комнате с плотно зашторенными окнами, уютной от кафельной голландки в углу, тесной от двух старинных книжных шкафов, поблескивающих сквозь стекла корешками книг, что удивило Алек-

сандра, хотя уже известно ему было от Кирюшкина, что отец его, умерший перед самой войной, преподавал математику в институте, мать с сестрой в сорок первом году, когда начались бомбежки, эвакуировалась в Оренбург, там вышла замуж, свободную их однокомнатную квартиру заселили многосемейные соседи, живущие в другой половине дома. Однако занятую жилплощадь соседи безропотно освободили, как только появился Кирюшкин, демобилизованный после госпиталя, в чисто выстиранной гимнастерке, высокий, сияющий начищенными орденами, с левой рукой на перевязи и сказал твердо: «Скандалов не люблю. Квартира моя. Спасибо за сохраненную мебель. Три часа на переселение. Остаемся добрыми соседями».

«Любопытно, что за книги у него в шкафах?» – намереваясь спросить, пока все молчали, подумал Александр, но тишину прервал голос Кирюшкина:

– Так что же, братцы, как жить будем дальше? Вчера ночью нас, как цыплят, накрыли большой шапкой! Не сомневаюсь, начала войну банда Лесика. Случайность и совпадения исключаю. Так какие будут мысли, братцы? Капитулировать перед зацепской воровской шпаной или начинать ответные действия? Или придерживаться мнения всех осторожных: уживайся, чтобы жить?

Все глядели на Кирюшкина, придавленные его недобро обещающим голосом, и Кирюшкин неторопливо обвел всех своим дерзким холодным взглядом, в ожидании забарабанил

по столу, выбивая какой-то ритм, похожий на галоп. Логачев, напрягая желваки, шумно задышав носом, протянул ко-  
ржавую руку к бутылке, но Кирюшкин произнес внушитель-  
но: «После», – и Логачев, насупленный, отдернул руку, под-  
чиняясь безропотно. Твердохлебов сочувственно вздохнул,  
потер крепкую, подстриженную под боксера голову и вски-  
нул вслушивающиеся глаза на Кирюшкина, продолжавшего  
в выжидательном раздумье выбивать ритм на столе. Эльдар  
сидел рядом с Билибиным, сдавив кулачками подбородок;  
его длинные волосы свисали вдоль щек, и в узеньком груст-  
ном лице его проглядывало что-то беззащитное. В нем не  
было недавно живой веселости, когда на вечеринке он уха-  
живал за Нинель, и не было той взъерошенности, когда он  
защищал фронтовиков в разговоре с ней. Эльдар изредка ко-  
сил на Билибина. Он опустил голову, погруженный в само-  
го себя, время от времени его рот кривила нервная зевота, и  
красноватые шрамы ожогов, не прикрытые бородой, некра-  
сиво искривлялись по щекам, на миг старили его лицо. Это  
несообразное неудержимое зевание выдавало его внутрен-  
нее напряжение, он думал о чем-то, может быть, ища и не  
находя выхода из того, что случилось сегодня со всеми.

«Это случилось и со мной, – говорил себе Александр, слы-  
ша галоп, выбиваемый по столу Кирюшкиным. – Я уже с ни-  
ми... И кажется, они привыкли ко мне».

– Ну? – резко произнес Кирюшкин, прекратив выстуки-  
вать галоп. – Начнем. Какие у кого соображения будут? Да-

вай, Роман, что соображаешь по поводу всей этой б... похабщины?

Билибин дернул головой от прямого вопроса, обращенного первым к нему, сказал глуховато:

– Каждый за себя, Бог за всех. Благословясь...

– Чушь гороховая! – прервал Кирюшкин. – Ко всем хренам монашеские сказки! Один за всех и все за одного – этот девиз я принимаю!

– Не так понял, Аркаша, – смутился Билибин. – Все свершается под знаком Божьим. А может, по велению судьбы...

– Ну что за хреновину ты городишь! – воскликнул Кирюшкин. – А явный поджог и пожар – под знаком Божьим? По велению судьбы?

– Может быть, мы в чем-то заслуживаем наказания.

Тут разом очнулся и, казалось, подкинутый дикой силой вскочил, качнув коленями стол, Логачев, он тяжело водил яростными глазами, с перехваченным горлом подыскивая слова:

– Ты как мог... так? Сказать так? У тебя что... за мысли? Какая судьба? Выходит, Бог... Голубей... наказали, голубей... невинных... по велению?

– Ты что молотишь, очумел?

Кирюшкин хлопнул ладонью по столу.

– Сядь, Гришуня, подожди! Так что же, Роман, значит, ты и в танке горел по велению Божьему?

– Может быть, – не возразил Билибин, моргая красными

безрешительными веками, и договорил уже тверже: – Но Бог и спас. Живу и дышу, хоть и изуродованный, живу, хоть и инвалидом...

Кирюшкин жестко поправил его:

– Инвалид – тот, у кого родины нет, а не руки или ноги... Это еще не понял? Ладно. Хватит о Боге. Что предлагаешь, Роман, – не ясно, туманно? Надеюсь, ты не против мужского закона: зуб за зуб? Впрочем, это закон и солдатский.

– Я подчиняюсь тебе, Аркаша, – ответил Билибин с сумрачной покорностью. – Ты капитан, я сержант, мой опыт по сравнению с твоим – кутенок. Решай... Только в Евангелии не так... «Какою мерою мерите, и вам будет мерить». Это в Нагорной проповеди.

– Почти совпадает, – сказал Кирюшкин.

– Решать-то что? – скрипнул зубами Логачев, уперев кулаки в колена. – Я сам придушу воровскую падлу своими руками, задавлю без всяких яких!.. Кроме Лесика, никто такую сволочную подлость не сделал бы. Он ведь из меня все нутро вынул, он душу мою сжег, а не голубей моих невиноватых... Он навроне детишек маленьких в сарае сжег, как фашист треклятый. Чего тут много решать, Аркадий? Я его на себя возьму, вон Михаил поможет... Вдвоем рассчитаюсь. Я из него клюквенный сок выпущу. Ежели до смерти не убью, калекой или контуженым сделаю, на всю жизнь поносом изойдет, заикаться будет. Ежели жив останется...

– Сполна смертный приговор заслужил, фашист, – загудел

круглым голосом Твердохлебов. – Придавить его – и меньше воря вонючего на земле будет. На кого он лапу поднял? На нас, стало быть, на фронтовиков? Всю войну в ординарцах кантовался...

– А ты как соображаешь по этому делу, Эльдар? – сухо спросил Кирюшкин.

Эльдар выдавил слабым, перегоревшим шепотом:

– Безумие. Разве вы точно уверены, что пожар Лесик устроил? А если не он? И вы что – избить или укокошить его хотите? А если не он? Господи, дай мне остановиться... – тридцатый стих двадцать третьей главы Корана, – забормотал он. – Аркадий, я, наверно, непозволительно глуп, но у нас нет доказательств, что это Лесик. Нет-нет, Гришуня. Нет-нет, Миша, – заторопился он, отрицательно мотая по плечам волосами. – Я не хочу, я против всякой крови...

– Вот санинструктор гороховый, – выругался Логачев, втискивая кулаки в колени. – На войне только и знал, что раны перевязывал да, видать, причитал по убитым, как баба.

– Нет, я санитаром в полевом госпитале был, а по причине комплекции санинструктором не взяли, – возразил Эльдар. – И в полевом насмотрелся крови и гноя, до сих пор тошнит. Нет, Гриша, как можно примирить человека со смертью? Ты, Миша, сказал «смертный приговор»? За что? А если не он?

– Ты, видать, врагом моим будешь, чую по твоей трепотне, монах чертов, философ куриный! Не товарищ ты мне после твоих соплей и разных антимоний.

– А так? – загорячился Эльдар. – Я с тобой говорю не за тем, чтобы философствовать и пререкаться! Знаешь ли ты, Гриша, что от того, что записано в Книге Судеб, никуда не уйдешь? Ты разве закупоренный войной? Хочешь убивать и калечить? После войны?

«Все вы закупоренные малые», – вспомнил Александр слова Нинель.

– Заткнись, трепло философское! – крикнул Логачев, и скопившаяся влага задрожала на его веках. – А то я тебя враз пошлю подальше на ухо, и будь здоров – не знакомы в трамвае, не соседи! А то еще и схлопочешь по очкам, у меня руки сейчас чешутся!.. Ты чего же предлагаешь, умник такой? Утереться?

Эльдар потрогал дужку очков, сказал с печальной укоризной:

– Зачем, Гриша, воздвигнута между нами стена?.. Послушай, Гриша, зачем ты на меня сердишься? Ты не хочешь понять...

– Молчи, говорю! – обрезал Логачев. – Пока не разошлись с тобой, как в поле трактора! Война тебя не укусила как следует. А я весь искусанный, потому никакой сволочи пощады не дам. Всякая сволочь – тыловой фашист, понял, нет? Потому морды буду бить вдрызг! Своих кулаков не хватит, вон Миша поможет – у него пудовые, смертельные!

– Да что же это? Убийцы разве мы? Нас и так бандой называют! Аркадий, что это? – вскричал Эльдар и, как за по-



мощью, всем худощавым телом потянулся к Кирюшкину.

– Тих-хо, кончай базар! – властно поднял голос Кирюшкин, и сразу в комнате упала тишина. – Гришуне и Эльдару – помолчать. Никакие лишние слова здесь не помогут и никого не спасут. Смысл в продуманном действии, а не в озлоблении друг против друга. Если черная кошка пробегает между нами – сверните ей шею. Что касается того, Эльдарчик, что кто-то называет нас не голубиным братством, а бандой, то инкриминировать... обвинить нас ни в чем невозможно. Ясно? Никто не пойман за руку, никто ни разу не имел дело с милицейскими. Промысел голубиный... ловля и продажа голубей по Уголовному кодексу не наказуемы, все статьи коего мне известны. – Он сделал жест головой вбок, указывая на книжные шкафы, где за стеклом проступали корешки книг. – Кроме того, други мои, очень неплохо, что у нас два праведника, есть кому каяться... Пожалуй, ни в одной так называемой банде двух праведников нет. Я пребываю в надежде...

Кирюшкин зло усмехнулся, эта усмешка изменила его лицо властно-непреклонным выражением самоуверенной силы, что, наверное, подчиняла ему людей. Он поворотом пальцев задавил папиросу в пепельнице, отпил глоток из своего стакана, этим показывая остальным, что выпить можно, и взглянул на Александра. Тот наполнил стакан пивом из отдельно поставленной перед ним бутылки, с избыточным вниманием наблюдая, как кипит и лопается на стекле пыш-

ная пена. «Как понимать его усмешку? – подумал он. – И что она значит?»

– А что думаешь ты, Александр? Именно ты...

«Он что – проверяет сейчас меня? Выделяет из всех?»

– А имеет ли это значение? – сказал Александр тише и равнодушнее, чем надо было сказать после

слов «именно ты». – Я пока еще не состою в вашем братстве. И мне на болтовню наплевать.

Это была минута, когда все за столом разом повернулись к Александру и замерли, с подозрением ощупывая его лицо отчужденными взглядами, спрашивающими его не без угрозы: тогда кто ты?

– Братья-а, закусим зубами палец удивления, – услышал он жаркой шершавой ниточкой протянутый полушепот Эльдара.

– Мне очень хотелось бы знать твое мнение, Саша, – повторил так же спокойно Кирюшкин, точно бы не придавая значения словам Александра, и змеиная неподвижность, как тогда на пожаре, появилась в его задымленных дерзостью глазах. – Что касается братства, то это к слову. У нас не масонская ложа, посвящения нет. О масонах, если хочешь, могу дать тебе книжонку, в библиотеке отца осталась, довольно любопытно. В наше замоскворецкое братство пропуск простой. Парень должен быть из Замоскворечья и пройти войну не как бобик, а как мужик. Исключение – Эльдар, воевавший санитаром. Тыловые бобики, замаскированные власов-

ские мокрицы и всякая разжиревшая за войну мразь – наши враги. И запомни: на все разговоры о банде Кирюшкина мне начхать, потому что с точки зрения уголовной – мы чисты, комар носа не подточит. Промысел голубиный – не преступление, в кодексе никакой статьи нет. Теперь вот что, Саша, я тебя силой к нам не тащу. Если тебе с нами не в дуду, то давай расстанемся как солдаты. Не сошлись – уходи. Понятно: язык за зубами ты держать умеешь. Только сейчас уходи. Чтоб не мараться тебе с голубятниками. Предупреждаю тебя. У нас все таки серьезные дела начинаются...

Кирюшкин произнес это и опять зло усмехнулся, но усмешка злости на его лице была как бы связана не с тем, что он говорил, а отражала что-то иное, невысказанное, о чем думал он и что скрывал сейчас.

– Так что, Саша?

Если бы Александр с независимым видом встал в эту минуту, помахал ручкой ернически, говоря: «Ну, пока, братцы», – то явно совершил бы нечто такое, что походило бы на попрание фронтового товарищества, на некое предательство, даже тень мысли о котором ему всегда была до тошноты отвратительной. И Александр сказал, подавляя раздражение:

– Не увязну. Расставаться бегством не имею привычки. Не усвоил пока.

– А то рвани из банды, чтоб пятки в задницу влипали, дай стометровку, – искривленным издевкой голосом прогу-

дел Твердохлебов. – Не нравимся, – отсекайся к едреной матери. Покуда не поздно...

– Закупорь ротик, Миша, хоть ты и боксер, но нам не страшен даже серый волк с боксерскими бицепсами, – сказал Александр с ответной издевкой, вспыхивая и боясь приступа вспышки, о чем позже вспоминал с мерзким чувством к самому себе.

– Прекратить перебранку! Не время! – скомандовал, не повышая голоса, Кирюшкин. – Так как же ты все-таки, Александр?

– Я повторяю: никуда уходить у меня желания нет...

Александр не успел договорить – в передней судорожно булькнул, взвизгнул звонок, и все с напряженной недоверчивостью быстро повернули лица к двери, не понимая, кто бы это еще должен сейчас прийти. Кирюшкин решительно встал, сделал рукой успокаивающий жест, сказал: «Пока сидеть всем тихо», – и, распрямляя плечи, твердо вышел из комнаты в переднюю. Все смотрели на отдернутую им над дверью занавеску, покачивающуюся темными волнами, это колебание вызывало почему-то чувство беспокойствия.

– А-а, шут гороховый, проходи, проходи! – послышался голос Кирюшкина из передней. – Один? Ну а если не один, то приглашай остальных, как раз на ужин, водочки выпьем, поговорим по душам, если до нее доберемся. Ах ты один? Тоже неплохо, проходи, будешь драгоценным гостем, а то мы по тебе, Гоша, соскучились, давно не видели твою ушастенькую

мордочку, проходи без всякого стеснения. Как раз вспоминали банду батьки Кныша! Входи и здоровайся с обществом!

– Ты не один разве?

– Проходи, проходи!

И Кирюшкин втокнул в комнату Гошку Малышева по кличке Летучая мышь, хилого паренька в кургузом, не по росту, полосатом, должно быть немецком, пиджаке; он покачивался на кривых ножках, обтянутых помятыми брючками, похожий на недоразвитого подростка голодных военных лет, с торчащими, как у летучей мыши, ушами; круглые оловянные глаза забегали по лицам сидящих за столом, чудилось, дрожали от страха, от совсем уже непредвиденной встречи со всеми, с кем, вероятно, не рассчитывал сейчас встретиться. По узкому книзу зеленому лицу, постоянно подвижному, танцующему, а теперь скользкому, мигом вспотевшему, можно было видеть, что он нетрезв и крайне растерян.

– Садись, Гоша, и выпей для храбрости, – сказал Кирюшкин. – Садись вместе с нами и рассказывай. Поинтересней, поподробней. А мы слушаем.

– Я-а... – протянул Гоша спотыкающимся голосом. – Я-а... вот... принес...

И он начал раздергивать, рвать полу своего немецкого пиджачка, проталкивая руку во внутренний карман. Он достал оттуда смятый клочок бумаги, с трясущимся подбородком протянул этот клочок Кирюшкину, тот взял и, еще не читая его, спросил с заинтересованностью:

– Чего это тебя так корежит, Гоша? Ты, я вижу, уже ломанул как следует? Так выпей еще водочки – выбей клин клином и рассказывай.

Он щедро налил водки в чистый стакан, поставил его Малышеву, даже наклонил поощрительно его голову над стаканом: «Пей!» – после чего сел на свое место и, сохраняя заинтересованное выражение на лице, разгладил на столе клочок бумаги, потом прочитал вслух, отчеканивая слова:

– «Последний раз предлагаю встречу с своим другом у Павелецкого вокзала в 21 час завтра. Пожалеешь, если не придешь».

– Так. Ясно, – сказал Кирюшкин, небрежно выстукивая пальцами по записке галоп. – Давно знал, что Лесик большой ученый, но не знал, что знаток русского языка не в ладах с буквой «е». «Предлагаю». Молодец мужик, президентом академии наук будет. Но это сущие мелочи. Так что же, Гоша, значит, ты, мальчик, исполняешь роль посла? С тобой передана диппочта. И что еще тебе было приказано сказать мне? Ты пей, пей, не стесняйся, не сиди женихом, – ободрил он, пододвигая стакан, к которому не притронулся Малышев. Он сидел с втянутой в плечи головой, озираясь боязливо прыгающими глазами, приготовленный к удару по голове, к крику, к насилию, к тому, что должны были сделать с ним в этом окружении недругов.

– Пей, дипломат, пока приглашают, – повторил Кирюшкин жестче, и Малышев вдруг засновал, изобразив своим

заплясавшим лицом угодливо-льстивую улыбку всем сразу, залпом отпил половину стакана, вытер губы рукавом, выговорил сжатым голосом:

– А я думал: вы меня бить будете... кости ломать...

Кирюшкин моргнул Твердохлебову.

– Представляешь, Миша, а? Избивать ребенка?

– Ежели в я тебя, щенок, одним пальцем ударил, – загудел Твердохлебов пренебрежительно, – в землю бы загнал по уши. Одни бы уши, как лопухи, торчали, задница ты кошачья!

– Ну ладно, – сказал Кирюшкин, останавливая речь Твердохлебова. – Так что еще велел мне передать полупочтенный Лесик? А, Гоша? Записка – одно. А на словах – что?

Малышев едва не прорыдал, страдающе ударяя кулачком себя в грудь:

– Портсигар... Портсигар ему... Сказал: не принесешь портсигар, пощечочу, говорит, перышком, пока фонари не погашу. Отдай ты мне портсигар, Аркаша, десять косых я тебе возверну, которые ты спекулянтскому хмырю дал, с собой у меня гроши, тут, в кармане. – Малышев опять похлопал себя по груди. – Чердак у него набекрень поехал от этого портсигара, как бешеный стал, чокнутый.

– И больше ничего родной Лесик нам всем не передавал?

– С тобой встречи ждет.

– Похоже его перышко на мое? – Кирюшкин извлек из футлярчика на бедре под гимнастеркой маленькую трофейную

финку, взял за лезвие, подбросил над столом, ловко поймал не за костяную рукоятку, а за острие и с некоторым щегольством метнул финку в сторону двери, ведущей в переднюю, она вонзилась, подрагивая. – Так вот, Гоша, покажи-ка нам свои ногти. Не бойся, не бойся, пальцы рубить я тебе не буду. Так. Ясно. Можно хоть в протокол писать. Ноготочки до мяса обстрижены, как у всякого карманного вора. Вот видишь, жизнь тебя не научила. За карманный промысел с сорок пятого по сорок шестой ты срок отсидел? Чего носом дергаешь? Чихнуть желаешь? Отсидел на государственных харчах. Это мне известно. И опять начал. Ноготочки давно выхолил, чтобы кончики ловчее и мягче были. Так? Так. Портсигар этот... пощупай, пощупай его, – Кирюшкин подтолкнул портсигар к Малышеву. – Вот видишь, пальчики-то дрожат, а когда на рынке продавал эту золотую вещицу жирному клопу возле часовой палатки, пальчики были, как щупальцы. Тогда ты был молодец! Сколько ты взял с тылового клопа, по ноздри набитого деньгами? Пятьдесят косых? Ну а я дал ему десять и отобрал награбленное. Экспроприация, мой друг. Так? Так. Хмырь получил десять косых и два питательных раза по шее – и портсигар вернул как миленький. Чуял, что это за штука. И с ним мы в полном расчете. Ты знаешь, чей это портсигар, Гоша?

– Не знаю... Лесика...

– Врешь, Летучая мышь. Это портсигар Шиянова. А его в живых нет. Уверен – Лесика рук дело.



– Не знаю я, ничего не знаю... Лесик портсигар велел продать, – забормотал, ежась, как в приступе малярии, Малышев. – Он целых сто стоит. Лесик говорит: отдавай в крайнем случае за полтинник. Чистое золото... Старинный, музейный. С камнями. Я и так обиженный, а ты меня еще... Не ворую я, а присваиваю, – попробовал он заискивающе изобразить своим личиком прежалобную невинность. – Я только у пузанов и спекулянтов. Бедных ни-ни, не трогаю я...

– Молодец! Так и пробежишь через жизнь, ушибленный сын легкомыслия! – похвалил Кирюшкин и отрезал неуклонно: – С портсигаром – все! Портсигар – общая наша собственность, а не моя личная. Теперь вот что, Гоша. Слушай меня внимательно и отвечай точно. Повторяю – точно. И коротко. Скажи нам, посол и дипломат, как оно было по порядку: сначала голубей выбрали, а потом красного петуха пустили или не смогли взломать голубятню и подожгли вместе с голубями? Ну? Как было?

– Не знаю я, не знаю я ничего... – Узенький лоб Малышева покрылся зернистыми каплями пота, он трудно проглотил слюну, кадык заелозил на его загорелом или давно не мытом горле. – Путаешь меня, Аркаша. Зачем? Ни о каком красном петухе не знаю ничего. Слыхал я утром на толкучке, слышал... что вроде где-то вчера горело в районе Зацепы. А я-то при чем, Аркаша?.. Я ведь письмо тебе принес. Мое ведь дело какое... мое дело маленькое, меня обидеть запросто, все в меня и плюют. Вот и ты... Верни мне портсигар,

отдам я его Лесику, не то пришьет он меня. Верни, рабом, подстилкой на всю жизнь буду... языком сапоги чистить... Цыпленок я против тебя. А цыпленки тоже хочут жить...

Его лицо странным манером заерзало, жалко перекосилось, изготовленное к плачу, и Кирюшкин перебил его:

– Может, прекратишь бабиться и цыпленка изображать? Ответь-ка, ангел невинный, кто из банды Лесика участвовал в поджоге: Лесик, «красавчик» Амелин, ты и кто еще?

Малышев так иступленно затряс головой, что капли пота полетели с его лба.

– Нет, нет, не участвовал я! Нет, нет! Не верит мне Лесик! Я ему только добытые гроши ношу, а он меня за дерьмо считает. Ничего я не знаю, не участвовал я, Аркаша, ничего не знаю, ничего не видел, чистый я, не запачканный в этом деле! Чистый!..

– Ты скажи, пожалуйста, какая незамаранная летучая мышь к нам в дом влетела, – проговорил как бы самому себе Кирюшкин и с сокрушенным вздохом предложил Твердохлебову: – Миша, если не трудно, поздоровайся сердечно с гостем, пожми его честную незапачканную руку.

– С большим моим почтением, – отозвался, пренебрежительно фыркнув в нос, Твердохлебов. – Давай пять, хрен с ярмарки, поручкаемся.

Он лениво встал, так же лениво протянул Малышеву через стол гигантскую клешню, а Малышев вскочил с дурашливо выкроенным смешком, зачем-то искательно, вертляво

оглядываясь направо и налево, на своих молчаливых соседей, будто приглашая их посмеяться общей шутке, игриво выкинул лапку с обстриженными до мяса ногтями навстречу Твердохлебову. И тотчас пронзительный визг оглушил всех. Малышев, извиваясь, упал животом на стол, опрокинув стакан с недопитой водкой, он, стараясь выдернуть лапку из железных клещей руки Твердохлебова, задыхался и вскрикивал:

– Бо-ольно! Ой-ой! Пусти! За что? Что я вам сделал? За что пытаться? – Он заплакал с подвизгиванием, мотая головой, оскаливая зубы. – Я ведь мошка, а вы тигры! Терзайте, пытайте! Со мной-то вы справитесь, а с Лесиком... как с ним-то будете?

– Тихо, гудок на бане! Зачем пытаться? Здороваемся с благородным человеком, послом и дипломатом, – сказал Киришкин и кивнул Твердохлебову. – Миша, достаточно приветствий, мы еще разговор не закончили. Так вот, Гоша... Будем считать, что красного петуха ты лично не пускал, в поджоге голубятни и сараев не участвовал, а стоял на шухере. Положим так. Допускаю и то, что Лесик тебя вовсе не взял с собой по причине твоей общей хлипкости. Но... при всех вариантах одно ты знать должен.

– Что знать-то, Аркашенька?..

– Где голуби?

Малышев, всхлипывая носом, бережливо растирал кисть, даже дул на нее, так остужая невыносимую физическую

боль, и задушливое жалобное его бормотание еле можно было разобрать:

– Не знаю... не был я... если бы чего... руку ведь чуть не сломал... за что меня... Не знаю ничего... не виноватый я...

– Где голуби? – холодно повторил Кирюшкин.

– Да разве я их видел? Не видел я ничего, матерью своей клянусь, не видел я...

– Ну, мать свою ты, пожалуй, недорого ценишь, деньги ворованные Лесику несешь, а не в дом, – веско сказал Кирюшкин. – Значит, ничего не знаешь, ничего не видел, ни в чем не виноват. Миша, – опять позвал он с притворной усталостью. – Поздоровайся еще раз, поприветствуй чистосердечно нашего гостя, от любезности удержаться невозможно, до чего приятный, интеллигентный человек и любящий сын. Дай ручку, Гошенька, с тобой хотят еще раз поздороваться.

– Нет, падло! Не тронь! Не дам руку сломать!.. – Малышев суматошно рванулся на стуле, то ли готовый бежать куда-то, то ли сопротивляться в буйном припадке. Он не кричал, а вопил визжащим голосом, он метался в бессилии на стуле, а Кирюшкин смотрел на него безжалостно – непроницаемыми глазами и не прерывал его вопль.

– Нет моей вины, Аркаша!.. Не воровал я голубей! За что меня?.. Не я, не я! В чем я виноват?

– Ты, Гоша, виноват уж тем, что живешь на свете. Смотреть на тебя рвотно. Спрашиваю в последний раз: где голуби?

– Не знаю, не знаю, Аркаша, миленький!..

– Значит, не знаешь? Что ж, и мое терпение лопнуло. Если ты не обтесался после моих вопросов, то глуп и уж вовсе дубина. За твою судьбу я не ручаюсь. То, что Лесик устроил поджог, только жопозвону не ясно. Значит, ты не знаешь, что с голубями?

– Нет, Аркашенька, не виноват я... За что терзаешь? Тигр – ты, а я кто? Мошка... Убей, не виноват, не трогал я голубей, не я...

– Какой я тебе на ухо Аркашенька? Какой еще тигр? Не корячься, не ползай на брюхе, скалопендра. Кто же тогда трогал голубей?

– Аркашенька, не я, миленький...

– А кто?

– Не я, не я...

– Кто, спрашиваю, – черт, сатана, дьявол? Или лесиковская шпана? И ты в том числе, мелкий карманник, который по зернышку носит в мошну Лесика! Ну? Больше вопросов не жди. Устал я от тебя, Летучая мышь. Будешь сейчас здороваться с Мишей, чтоб твоя золотая ручка ловчее на Тишинке чужие карманы проверяла! Все дошло? Походишь в гипсике, как в госпитале. Полезно.

Малышев заплакал.

– Аркашенька... не надо... не ломай мне руку... не приказывай Мише... Калекой ведь сделаешь... Что я тогда?..

– Меньше воровать станешь. И вспомнишь, кто голубятню

поджигал и где голуби.

Малышев закинул голову, глаза его обморочно закатились, рот приоткрылся, он со стоном всасывал в себя воздух, как при удушье.

– Не жить мне, видать... убьет Лесик... – выдыхал он плачущим шепотом. – Такой разговор слышал вчера. В Верхушкове... А не жег я ничего, не виноват... не взял меня Лесик, не верит он мне... В Верхушкове он у дядька своего два дня проживает. А голуби там, в сарае. Акромя ничего мне не известно. Послал он к тебе с бумажкой и насчет портсигара. Отдай ты ему эту штуку, гроши возверну, Аркашенька. А ежели он узнает, что я тебе про голубей... сразу пришьет... и все, а труп в реке утопят. Знаю я его, крысу...

– Верхушково? – пропустил через зубы Кирюшкин, и взгляд его стал завораживающим, неподвижным, змеиным, каким бывал в момент гнева. – А ну-ка объясни подробнее. Что за Верхушково?

– С Киевского вокзала. На электричке. Деревня это, Аркаша... Убьет меня, ежели кто ему скажет, – снова запричитал Малышев. – У него оружие: немецкий «парабел» и финка... Думать не будет. Не уважает он мою личность. Мошка я для него, Аркаша...

– «Парабел», финка, уважает, не уважает! Ох ты, грамотей! Личность, твою мать!.. – Кирюшкин выругался в сердцах. – Теперь вот что, мошка! Последнее!

Он поднялся, с грохотом отодвинув стул (глаза Малыше-

ва округлились в испуге), подошел к письменному столу, на котором меж непечатых пивных бутылок, силового эспандера и гантелей валялись ненужные здесь книги, выдвинул за-трещавший ящик и начал искать там что-то. Все, не говоря ни слова, точно в оцепенении, следили за ним, не предполагая, что могло быть этим последним действием после долгого допроса Летучей мыши, после всего того, что было услышано сейчас. Нежданно для всех случившееся прошлой ночью теперь выявилось настолько неопровержимым, что мысль Кирюшкина, высказанная вчера на пожаре, пора-жала безошибочным чутьем: «гопники» Лесика сперва взло-мали голубятню, выкрали голубей, видимо, захватив с со-бой заранее садки, потом подожгли голубятню, сараи, чтобы уничтожить следы кражи. Не без насилия над собой можно было поверить, что Малышев не участвовал в краже, хотя бы не стоял на шухере. Но фальшивый голос его, круглые неправдивые глаза, рыдающие взвизги в страхе перед болью, его дерганье на стуле, вертлявость, маленькое скукоженное личико, обрамленное оттопыренными ушами, – весь облик его был неприятен, жалок, вызывая у Александра озлобле-ние и вместе с тем брезгливость, как прикосновение к че-му-то нечистому, липкому. Наверное, это чувство не было одинаковым у всех, потому что Логачев, багрово-красный, сидел, исподлобья оперев буравящий ненавистью взгляд в Малышева, коричневые усы его топорщились, ноздри раз-дувались, рядом с ним Твердохлебов, показательно и твер-

до положив на стол огромную руку, как угрожающее орудие пытки, сжимал и разжимал пальцы, изготовленный к приказу Кирюшкина вторично здороваться с «послом». Билибин в угрюмой задумчивости нахмуривал редкие рыжеватые островки бровей, изредка взглядывая на Эльдара, который с печальным состраданием покачивал головой, его очки в металлической оправе с перевязанной дужкой то и дело съезжали на кончик потного носа, тогда он поправлял их торопливым пальцем, боясь что-либо упустить в изменении лица Малышева.

«Пожалуй, он ему не верит, как не верю и я. Зачем фальшивая подобострастность, унижительный плач? Что за этим – страх, попытка разжалобить, вернуть какой-то таинственный злополучный портсигар, умиловить Лесика?»

Кого он больше боится – Кирюшкина или Лесика? Наверняка он всецело подчинен Лесику. И все-таки предал его, если не водит нас за нос и не путает следы. В общем, мерзкий малый, слизняк...»

– Он пришел в полное удивление и смеялся, пока не упал навзничь, – произнес шепотом Эльдар не очень доходчивую фразу.

Никто не ответил ему. Все настороженно ждали, глядя на Кирюшкина.

– Значит, сарай в Верхушкове? Так, Малышев? И голуби там, у дядька Лесика, говоришь? – послышался разрывающий тишину громкий голос Кирюшкина, и, задвинув ящик,



он бросил на стол перед Малышевым карандаш и чистый лист бумаги. – Давай-ка, милый, для доказательства своих слов нарисуй-ка мне дорогу от станции до деревеньки, а в деревеньке обозначь, где находится дом дядька Лесика и этот сарай и есть ли рядом с домом какой-нибудь ориентир. Топограф, конечно, из тебя дерьмовый, но рисуй так, чтоб ясно было и слепому. Допер?

– Не могу я, не умею... – задержался на стуле Малышев. – Зачем вам плант?

– Чтобы убедиться, что ты не врешь, Летучая мышь. Бывал у Лесика, конечно? И не раз? Так вот. Рисуй и не задавай вопросов. Вопросы задаю я.

– Дурак-дурак, а хитрый, карманная вошь, – с ненавистью выговорил Логачев. – Ох, церемонничаем мы с ними, мармелады разводим, сю-сю, пу-пу, а его бы надо...

– Тихо, Гриша, – не дал договорить Кирюшкин. – Пусть рисует, а мы пока помолчим, не будем мешать невинному мальчику. Как-никак он все-таки своего рода парламентар.

Видно было, что Малышев своими натренированными для чужих карманов пальцами чрезвычайно редко держал карандаш, и водил он им сейчас по бумаге с той робостью, какая бывает у впервые рисующих детей, съезженный лобик его маслено залоснился, кончик языка то и дело облизывал беспокойные губы, но Кирюшкин выжидательно выстукивал какой-то ритм по краю стола, не торопя его. Когда Малышев наконец закончил водить карандашом, обтер рукавом

пот со лба и робко подsunул бумагу поближе к Кирюшкину, тот прищурился и долго рассматривал ее, потом заговорил медлительно:

– Н-да, гениальный рисовальщик, Рафаэль, ну ладно. Вся эта загогулина изображает дорогу от станции электрички до Верхушкова? Так? Теперь вот эти кружки вдоль дороги – дома деревни, что ли? Раз, два, три. Четвертый дом дядька Лесика – большой кружок? Так? Тоже ясно. А что обозначают вот эти буквы справа и слева от дома? Цэ и пэ?

– Це – церквушка... разрушенная, – прошелестел Малышев и сглотнул слюну, – а справа... справа пруд за домами. Ориентиры ты сам спрашивал...

– А сарай?

– Во дворе он. Внизу свинья. Здоровый хряк, видать. Хрюкает там и визжит, вроде голодный всегда, а на чердаке – голуби, должно...

– О, черт! Хрюкает там и визжит, – повторил Кирюшкин, растирая злую морщину на переносице. – Философ ты, Гоша, ученик Платона. А почему «должно»? Не уверен, что ли? Что значит «должно»?

Малышев заерзал, мокро шмыгнул носом.

– Глазами не видал... Из разговоров слышал.

– Из разговоров слышал, – опять повторил Кирюшкин с тою же злою морщиной на переносице, соображая что-то свое, еще не высказываемое всем. – Ну, ясно! – сказал он решенно. – Можешь идти, Летучая мышь. Передай Лесику:

свидание со мной бессмысленно. Переговоры с ним вести не о чем. Поздновато. Весь наш разговор с тобой проглоти. Это запомни, как дважды два. Натрепlesh языком, под землей найду. И язык вырву. Все уяснил?

– Портсига-а-р... – умоляюще и тягуче протянул Малышев.

– Я сказал – иди! – тоном непрекословного приказа выговорил Кирюшкин и встал из-за стола, сопровождая к передней втянувшего голову в плечи Малышева.

Он вернулся через минуту, выдернул из двери свою изящную финочку, вщелкнул ее в футляр на бедро под гимнастеркой, постоял, думая о чем-то, потом, бодро вострепелувшись, как радушный хозяин, разлил всем водку и пиво, сказал:

– Теперь можно. Давайте, братцы, врежьте и послушайте, что скажу я. В общем, Гоша – Летучая мышь подтвердил то, о чем мы догадывались. Это дело Лесика, сомнений нет.

После общего закованного молчания во время допроса Малышева и после выпитой теперь водки заговорили разом Логачев и Твердохлебов, опережая и добавляя друг друга:

– Сволота и есть сволота. Нету ему прощения, не человек он!

– Похуже фашистского дерьма.

– Увел, гадюка, голубей и поджог устроил. Ведь нужно такое придумать, голова поганая сработала. Все шито-крыто, пожар – и ищи-свищи, мало ли отчего загорается!.. Нету ему прощения.

– Еще встретимся на узком месте. Не здороваться с ним буду, Аркаша, а из ребер арифметику с минусом ему сделаю. Урка – и больше ничего. Я думаю так: зуб за зуб, чтоб неповадно было; а то он без наказания свой верх почувствует, воровское отродье!

– Нет, не почувствует, – возразил Билибин и, нацеленно напрягая красные безресничные веки, тихо проговорил голосом, исключая сомнение: – Замышляйте замыслы, но они рушатся, ибо с нами Бог.

– Ну, до Бога высоко, ему на нас плевать, – запротиворечил со злостью Логачев. – Много он тебе помог, когда ты в танке горел?

– Помог. Оставил в живых. Не дал сгореть.

– Боженька помог? И письмо об этом тебе написал?

– Помог. Именно он. Поможет и нам. Надо готовить сорок пятый. Не смейся, Гриша...

– Хохотать буду до изжоги. Как это готовить? Три года ждать? Ковать победу?

– Роман, какой пророк сказал насчет замыслов? – вмешался Эльдар с сердитым, необычным для него видом и бросил Логачеву: – Подожди хохотать, Гриша! Причин нет! Так какой пророк?

– Исайя, кажется.

– Прекрасно! В моем сердце загорелись угольки гнева, – взъерошенно и театрально-патетически сказал Эльдар, словно насмехаясь над собой. – А я скажу вот что. Лесик – пре-

ступник. Он первым нанес удар. Оборона наша справедлива. Ненавижу смрадную банду Лесика и его шпану! Его замыслы кончатся наградой – тюрьмой или смертью.

– Пусть так. А что вы будете делать конкретно? – задал вопрос Александр, считая нужным вступить в общий разговор, который после прихода Малышева задевал и объединял его со всеми.

– Говоришь «вы»? Отъединяете себя? – неприязненно спросил Кирюшкин. – Стоит ли выделяться?

– Я хочу сказать: что мы будем делать конкретно? – резковато уточнил Александр, подчеркивая «мы». – У меня во взводе разведки воевали бывшие уголовники. Там я знал, что делать, и ребята были как ребята. Но здесь не война.

– Здесь тоже война, – поправил с неопровержимой уверенностью Кирюшкин. – Война с тыловыми шмакодявками. Пожалуй, тебе ясно: когда мы воевали, они в тылу огребали гроши и жирели на солдатской крови. Так вот, братцы, – заговорил он негромко, – все наши взбрыкивания – все равно что морю дождь. Начхать Лесику на наше махание кулаками после драки. Что такое Гоша, всем, конечно, понятно. Гоша – мелочь, блоха. Он всегда ходил с полными штанами, хотя и очищал карманы растяпистых советских граждан. Вся соль в другом. Лесик. Мы теперь знаем почти все. Голуби у Лесика в Верхушкове. Думаю, теперь ни у кого нет сомнений. Так? В общем – план предлагаю такой. Начнем вот с чего. Завтра с утра пошлем кого-нибудь из верных пацанов в Вер-

хушково – проверить, посмотреть, что за дом и сарай между церковкой и прудом. После этого – подготовка к основному. Гришуня и Миша должны подготовить садки с расчетом на двадцать пять птичек. Роману любимыми средствами, финансов я дам сколько потребуется, попросить на своей базе для личных, так сказать, целей – перевозка, скажем, мебели и барахла родной тети Моти – попросить транспорт – крытый. Если удастся, попроси «додж», на котором начальство возишь. Не удастся – подумай об удобной тачке. Подробно об этом еще поговорим. Без удобных колес делать нам нечего. – Кирюшкин помолчал, побарабанил пальцами по столу. – Когда все будет задействовано, вечером, часиков в девять, возле дровяного склада на Татарской тихо и без шума садимся в транспорт и едем по Киевскому шоссе в Верхушково. Тебе, Роман, надобно тщательно изучить маршрут, как при выдвижении танков на передовую. Ясно? Так вот, часиков в десять или пол-одиннадцатого будем на месте. Ставим где-нибудь машину в укрытие и в темноте двигаемся к разрушенной церковке. Засаекаем дом и сарай. После этого – дело за мускулами и инструментами Миши. То есть без шума и треска взламываем дверь сарая, сажаем голубей в садки, грузимся в машину – и прости-прощай, моя Маруся, боевой привет Лесику. Все понятно? Все ясно? Возражения есть? Уточнения?

Этот план родился в голове Кирюшкина, наверное, в те минуты, когда Малышев сказал, что голуби находятся в са-

рае у родственника Лесика. Смутная догадка о том, что Кирюшкин задумал что-то свое, мелькнула у Александра, как только Малышев начал водить карандашом по бумаге, обозначая местоположение дома в Верхушкове. Поэтому выслушав, казалось, простое, но в то же время крайне рискованное предложение Кирюшкина, он тут же подумал, что в предложении этом не было озлобленной мстительности, а был сухой и логичный расчет, план действия, на первый взгляд без труда пришедшего решения.

«С ним вместе можно было воевать. Этот парень умеет принимать решения, – подумал Александр и поправил себя через секунду: – Нет, пожалуй, он начал искать варианты, когда стал почему-то зло усмехаться...»

– Ну так как? Будем действовать или есть другие кардинальные предложения? – поторопил Кирюшкин, обегая блестящими глазами сидевших за столом. – Думаем, друга мои, две минуты. Потом голосуем, как всегда: «да» или «нет». Если «нет», ищем другое решение.

– Оказывается, у вас голосование, как в Древней Греции, – заметил Александр иронически. – Не хватает черных и белых фасолин. И кувшинов, куда их бросают, – продолжал он. – Кстати, великому философу Сократу набросали черных и его, невиновного, приговорили к смерти.

– Лесика я вынес бы приговор и без фасолин, – безжалостно проговорил Кирюшкин. – Руки у него по локоть в крови, хотя и прямых улик нет. Но сесть за эту мразь в тюрягу

вдвойне идиотизм. Лесик хитер и умен на зло, но глуп на добро. Ну, об этом потом. Как ты? Да или нет?

– Я принимаю этот план.

– Ясно. Логачев? Да или нет?

– Хоть сейчас пойду.

– Ясно. Приготовь садки к вечеру. Твердохлебов? Да или нет?

– Правильно придумал, Аркаша. Твой приказ – закон. Командуй – сделаем.

– Ясно. Все инструменты в вещмешке с тобой, Билибин?

– Да.

– Ясно. На тебе, танкист, лежит гора. Машина, так сказать, для перевозки мебели. Крытая – желательно и необходимо. Если никак не удастся достать на автобазе, то на Дорогомиловском рынке связывайся с грузовыми междугородниками. Одно условие – кузов должен быть покрыт брезентом. Выбери машину, скажем, из Рязани или Калуги. Покупай какого-либо вахлака, который спекулянтов обслуживает. Не торгуйся, денег у нас на машину хватит. Чем больше заплатим, тем меньше будет спрашивать. Скажи так: однополчане, едем к больному товарищу на час-полтора, хотим навестить, умирает от ран. Соврать надо убедительнее. Бог простит, Роман. Как ты сказал: «Замышляйте замыслы, но они рушатся»? Вот мы и разрушаем замыслы дьявола.

– Наверняка договорюсь на автобазе, – сказал Билибин, нахмутив лоб в рубцах шрамов. – Как инвалиду не откажут.



Есть у нас грузовая, под брезентом, наподобие «студебеккера». Продукты для магазина возит.

– Без машины в Верхушкове нам делать нечего, – утвердил безоговорочно Кирюшкин. – Что ты молчишь, Эльдар?

Эльдар грустно улыбнулся.

– Забота капала с его тела.

– Это чего такое? – вздыбил брови Логачев. – Опять умиствование? Как понимать? Профессор из сортира! Все книжные слова и слова! Как из худого мешка валяются! – Он обескураженно ударил кулаками по коленям. – Тебя русским языком спрашивают: да или нет?

– Гриша, милый, наивысшая правда ни у нас, ни у Лесика. Но я буду молиться за нашу маленькую преступную правду.

– Балаболка! Студент малохольный! – закипел Логачев. – Какая еще преступная? Тебе только глупые умности языком болтать! Никогда тебя не поймешь! Мозги от тебя перекосятся!

Кирюшкин отсекающе повел рукой над столом, этим жестом сдерживая закипевшего Логачева, заговорил с умиротворяющей внушительностью:

– Хоть я и люблю тебя, Эльдар, за образованность, но все-таки ты головной резонер. Как и Роман, конечно. Но я, например, обоих вас ценю. Горячих у нас хватает. Мщение или не мщение, преступление или не преступление, высшая правда или маленькая правда – сейчас на это наплевать. На кой хрен нам любая правда, если нас, как баранов на бой-

не, хотят загнать в угол! Поэтому никаких сомнений. Мщение? Что ж, пусть мщение. Мстить – это сейчас наша правда. Теперь представим: все в Верхушкове сделано, как надо и как задумано. Но это полдела. Вторая половина дела требует уточнения: куда голубей?

– Ко мне домой, – нетерпеливо отозвался Логачев. – А куда же еще? Голубятни нет...

– Вот она и видна, горячая головка, – снисходительно сказал Кирюшкин. – Пойми, Гришуня, и запомни, как дважды два: голуби не должны сейчас быть в районе наших дворов. Понятно, почему, или нет? Объясняю. Чтоб не было ни малейшего намека на соломинку, за которую можно легавым ухватиться. Это тоже, думаю, ясно? Саша, – обратился он к Александру, испытующе прищурясь. – Дровяной сарайчик, я полагаю, имеется у тебя, как у всех в Замоскворечье?

– Сарай есть.

– Можно ли на некоторое время там поселить голубей? Как ты считаешь?

– Считаю, можно.

– Не будет ли это бросаться в глаза соседям?

– У каждого свой сарай.

Кирюшкин отбил пальцами заключительный галоп по столу, удовлетворенно сказал:

– Решено. Так что же, после трудов праведных, может, перекинемся в картишки. Прошлый раз я продулся, надеюсь отыграться. Эльдару всегда везет, он никогда не рискует.

– Продулся, Аркаша, зато в любви везет, – кругло пророкотал Твердохлебов. – У меня никакой любви нет, мне – лук редьки не слаще.

– Не изрекай бредовину, Миша. Умение играть – умение жить. Вся наша жизнь – двадцать одно: держать банк или спустить банк.

– Сегодня что-то охоты нет картишки бросать, – заявил Логачев, насупясь.

– Отложим, по желанию трудящихся, – поддержал его Эльдар. – Господи, дай мне остановиться... Тридцатый стих двадцать третьей главы.

– Согласия нет, резону не вышло. Допиваем – и по домам. Завтра день и ночь – козырные.

## Глава одиннадцатая

Машину оставили в лесу, на обочине, продавленной старыми колеями проселка. Билибин разложил инструменты на брезенте, открыл капот, создавая на всякий случай обстановку неисправности в пути, остальные четверо вышли на опушку, ближе к дороге, ведущей от переезда правее железнодорожной станции к деревне Верхушково. И здесь, молча покуривая на поваленной березе, стали ждать, пока подернется пеплом, потухнет закат, еще янтарно-медовым светом широко разлитый на западе, над дальними лесами, пока темнеет и после знойного дня июльский вечер перейдет в ночь. В полях однотонно кричал дергач. Там долго волнисто колыхался туман, слева он полз медленным белым удавом по железнодорожной платформе. Оттуда изредка раздавался мычащий гудок электрички, затем, убыстряя стук колес, мелькали вагоны с золотистыми огнями заката на стеклах. Справа в стороне Верхушково туман расстилался бесшумным морем, а купы садов, крыши деревни проступали как таинственные плавающие острова.

Гудок электрички, постепенно затихающий ее шум, перестук колес за лесом, запах вечерней травы вдруг напомнили Александру нечто довоенное, прекрасное, что было в его жизни: уже темнеющую, розоватую волейбольную площадку на поляне меж сосен в Мамонтовке, упоенный хор лягушек,

доносившийся с реки, звуки патефона на террасе соседней дачи, чьи-то веселые там молодые голоса, смех в сумерках и себя, загорелого, сильного, в белой футболке, провожающего кого-то из гостей к электричке...

Тогда еще были молоды отец и мать.

Все уже давно, шесть лет назад, навсегда ушло в счастливую пору его жизни, и Александр даже почувствовал озноб от того, что вот теперь, на опушке подмосковного леса, в ожидании темноты он сидит на поваленной березе и так ощутимо чувствует давнее, канувшее в невозвратно радостную незабвенную пору, что четыре года обманчиво и сладко манило его своим счастливым повторением, возможным после войны. Но повторения не было – прошлый мир юности стал совсем иным, жестким, отталкивающим, неузнаваемым, населенным другими людьми. Только остались, как прежде, безоблачный январский мороз со сверканием белизны, с сугробами под окнами, палительные июльские дни, простодушная летняя жара в уютных замоскворецких переулках, пресный запах прохлады в тени лип, царство сонной тишины на задних дворах. И это, лишь это – не счастье ли было после его возвращения?

– О чем думаешь, Саша?

И его круто вытолкнуло из теплого воздуха, который понес его на убаюкивающих волнах, – увидел рядом с собой Кирюшкина и мгновенно отозвался насильно взбодренным голосом:

– Так, ни о чем. Вот смотрю и думаю – медленно темнеет.

– Ничего, подождем. Закуривай, Саша, – предложил Кирюшкин и раскрыл на ладони портсигар, плотно набитый папиросами.

Александр вытянул из-под резинки папиросу, невольно спросил то, что хотел спросить вчера, когда Малышев умолял вернуть портсигар:

– Слушай, Аркадий, что это у тебя за странный портсигар? Похоже, какой-то талисман, от которого Лесик с ума сходит. Я уже несколько дней слышу: портсигар, портсигар, портсигар. Можешь объяснить, в чем дело?

Кирюшкин дал прикурить Александру, прикурил сам и, подбрасывая на ладони массивный портсигар, усмехнулся знакомой Александру злой усмешкой:

– Этой штуке цены нет. Он стоит, конечно, не сто косых, это для него копейки. Если хочешь знать, то этот портсигар кровью моего друга облит. Портсигар принадлежал Коле Шиянову, командиру взвода семидесяти шести. Привез он его из Берлина. Там в сорок пятом, в голодный год, какая-то говорящая по-русски фрау отдала его за десять банок датских консервов, которые Коля на продовольственных складах рейхсканцелярии взял. Я думаю, что эта фрау была каких-то аристократических кровей, а портсигар был семейной ценностью. В общем, черт его знает, не могу утверждать. Так вот, Коля жил в тридцатом доме на Новокузнецкой, в одном дворе с Лесиком, и голубей водили вместе. Мы ближе

познакомились с Шияновым на Конном базаре, он продавал, как помню сейчас, пару черно-чистых. Удивительный был парень. Вот его можно было назвать счастливым. Мы злыми вернулись, а у него злости не было. Остался жив и радовался всему, как мальчишка: дождю, трамваю, платью женщины, какому-нибудь паршивому пойманному чужаку. И смеялся хорошо Коля. Но доверчив был до наивности. Прошлой весной повезли они вместе с Лесиком николаевских и палевых в Харьков, а оттуда Коля не вернулся. Ни живым, ни мертвым. Пропал без вести. Лесик объяснял так: ушел куда-то вечером – и все. Милиция не нашла. И как в воду канул. А я уверен, что Лесик подставил его под перышко наемного мокряка. Но никаких доказательств. Кроме вот этого... Колиного портсигара. Увидел, как Летучая мышь пытается эту золотую штуку продать, и конфисковал, конечно, немедленно. А Лесику за гибель Коли суд присяжных мы еще устроим. Придет время.

Кирюшкин щелкнул замочком портсигара, опустил его в карман, глядя в небо, где на стропила разрушенного купола церковки присел чудовищно огромный расплавленный серп луны. Все прислушивались к словам Кирюшкина в полной тишине.

– Ты сказал: уверен без доказательств? – не совсем понял Александр.

– Доказательства мы сейчас посмотрим. В сарае Лесика, – жестко ответил Кирюшкин. – Ну, пожалуй, пора! – скоман-

довал он, вставая, и затоптал окурок. – Со мной Эльдар и Александр, за нами – минут через пять – Григорий и Михаил. Сбор возле разрушенной церковки. Пошли, с Богом, братцы. Так, что ли, Эльдар? Что скажешь напоследок, философ?

– Не позволим строить царство Божие на нашем горбу, – серьезно сказал Эльдар.

Все собрались возле разрушенного храма. Впотьмах можно было различить, что в церкви выломана стена, из черного провала тянуло гнилой сыростью, плесенью, отхожим местом. Громоздились под стеной груды ломаных кирпичей, торчали копиями остатки железной ограды из этих груд. Кто-то впереди, оступившись, наткнулся на заскрежетавшую под ногами проволоку, выругался шепотом, потом в безмолвии ночи все услышали отдаленный скрип дергача, легкий шорох крыльев летучих мышей в пустом пространстве разрушенной церкви. И в темноте Александру почудились порхающие мимо лица гниlostные ветерки – летучие мыши, вероятно, вылетали и влетали в пролом стены. Поселок спал, одинокий фонарь горел вдали над железнодорожной платформой, и два сиротливых окошка желто проступали в глубине поселка. Пустынная дорога белела под луной, как песок, кое-где за верхушками садов голубоватым блеском отливали железные крыши.

По ту сторону дороги, метрах в двухстах пятидесяти от церкви, размытой полосой начинался забор, и угадывался



среди ночного неба силуэт кровли, плотно-черные тени деревьев, и там, через дорогу, сквозь щели забора проблескивал в потемках какой-то слабый свет.

– По чертежу это тот дом, – сказал вполголоса Кирюшкин, задерживаясь в кювете. – Во дворе, ближе к пруду, должен быть сарай. Что за черт, не спят, что ли? – выругался он, вглядываясь. – Вроде свет за забором горит. Всем ждать здесь. Действовать будем тихо и быстро. Я с Александром пошел в разведку, выясним обстановку и дадим знать. Уверен – калитка выходит на дорогу, и дураку ясно, что она закрыта. К дому зайдем со стороны пруда. Нам нужна дыра в заборе, а не калитка со стороны дороги. Ясно? Так вот. Ждать, как немым, и не курить. Пошли, Александр.

Они осторожно сошли на дорогу, обходя груды камней, заросшую репейником щебенку, чернотой зияющие ямы, заваленные мусором, пересекли проселок, перепрыгивая через кювет, и здесь, на этой стороне дороги; перед забором высокая трава захлестала по ногам, запахло сухими, прокаленными за день досками, новыми, еще не покрашенными. И, различив белеющие ворота и калитку, они сразу двинулись влево от ворот, к углу забора, к проулку, сплошь затемненному деревьями, меж которых едва-едва выделялась в темноте ниточка тропинки, сбегаящая вниз. Там в конце ее полоски сверкало фиолетовое стекло, и уже можно было разглядеть: отблескивала вода в лунном свете.

– Все точно – пруд, давай тут осторожнее, – сказал Ки-

рюшкин строго.

– Да, точно. Пруд, – согласился Александр.

Спускался вдоль забора овейанный колким ветерком, каким-то новым чувством начатой игры. Неужели эта летняя ночь, шелест под ногами, луна, незнакомый забор, блеск воды впереди напоминали много раз виденное в других обстоятельствах, пережитое и прожитое им не очень давно, когда неловкое движение, звук своего, либо чужого голоса невольно оценивались с привычной собранностью? И хотя он испытывал металлическую пружинную сжатость во всем теле, изготовленную разжаться броском на землю, опережающим выстрелом, молниеносным рывком действия, он чувствовал возбуждение легковесного веселого риска, оттого, что в этот поздний час подмосковной деревни в доме не спали, а им надо было проникнуть в сад, найти сарай и тут как можно быстрее и удобнее провести всю операцию.

Внизу проулка блестела все резче, все просторнее вода, сплошь залитая лунным светом, в голубом сумеречном воздухе она казалась особенно пустынной, мертвой, с застывшими в ночи четкими тенями неподвижных берез, лежащими на стекле. Внизу у ближнего берега, в конце проулка, скоро кончился короткий забор, и зачернела вдоль самой кромки пруда жердевая изгородь, заставившая их обоих на минуту остановиться перед поворотом тропинки вправо.

– Как видишь, молитвы наших ребят помогают, все идет как надо, – сказал, покачав изгородь, полушутливо Алек-

сандр. – Разобрать проход в этой изгороди – раз плюнуть. Не колючая проволока. И пулеметных точек нет.

– Пройдем вдоль изгороди, проверим берег ногами, – бросил Кирюшкин, не принимая полушутливого тона Александра. – Надо уяснить, как входить и как выходить будем.

– Само собой, выходить будем тем же путем, которым шли сюда. Всегда надежнее.

В самом деле, все шло как надо, опасных помех не было, им везло, и шагах в тридцати от поворота они нашли без всяких усилий ветхую, смастеренную из жердей калитку; эта калитка никак не препятствовала ни выходу к пруду, ни входу на участок, она была наискось открыта к тропинке на берегу пруда, и Александр первым обнаружил ее.

– Вот она, милая, – сказал он удовлетворенным шепотом. – Здесь войдем, здесь и выйдем. Посмотри, Аркадий, влево. Видишь? Кажется, сарай... и, похоже, близко...

Кирюшкин промолчал, но когда уже вошли на участок, рукой придержал около себя Александра, точно давая понять, что не хотел бы надеяться на облегченное дело, и, стоя под яблонями, они несколько секунд вглядывались в очертания большого сарая, слева от дома, где горело одно окно, изнутри полузавешенное чем-то коричневым – дорожка света лежала на кустах сбоку крыльца. А от сарая тянуло в ночном воздухе остро-уксусной мерзостью свиарника с невнятной примесью сена, доносилось слабое похрюкивание, должно быть, спящей свиньи. В саду с мягким стуком

падали созревшие яблоки; где-то далеко в полях поскрипывал коростель; а весь дом стоял в лунном безмолвии.

Когда обошли вокруг сарая, осмотрели дверь с массивным висячим замком, ясно стало, что без маломальского шума не обойтись, многое будет зависеть от умения и силы Твердохлебова, от его инструментов, от его проверенной ловкости. И в этом окончательно убедились, когда приблизились к дому и, раздвинув кусты, заглянули в освещенное окно. Занавеска была задернута не вплотную: около окна был виден стол, накрытый клеенкой, батон колбасы на газете, тарелки с огурцами и соленой капустой, опорожненная бутылка водки и под голой электрической лампой два лица за этим столом, одно знакомое, пухлощекое, с белыми ленивыми глазами, сомовье лицо Лесика, бледное, вспотевшее от хмеля, и другое, незнакомое Александру, простонародно крупное, грубо выдубленное, лицо, в отличие от Лесика багровое от водки, отчего седые волосы казались светлым навесом над кустистыми, грозно сросшимися бровями; и заметны были каменная широкая шея, прямые плечи, натянувшие черную рубаху. Незнакомое суроватое лицо было хорошо видно, но не было слышно, что говорил он, этот человек, наверное, дядька Лесика, что решительно внушал он ему. При этом макал огурец в деревянную солонку, яро отгрызал, а Лесик слушал его, согласно моргал тяжелыми веками, затажно зевая, рот его кругло вытягивался, отчего он был уже похож на постаревшего большого мальчика. Потом,

справляясь с зевотой, он взял стакан, допил остаток водки, маленькой рукой подхватил кружок колбасы на газете, скучно зажевал.

«Руки у Лесика в крови, – вспомнил Александр слова Кирюшкина и не поверил – жалкий тип, сморчок, а вокруг распространяет страх. Чем он берет? Коварством? Жестокостью? Угрозой? Но уж больно сморчок...»

– Придется ждать, пока заснут, отойдем, не будем демаскировать, – послышался предостерегающий шепот Кирюшкина, и, тронув за локоть Александра, он начал бесшумно отходить от окна в глубину сада, а здесь, под яблонями, в укрытии темноты, заговорил немного громче: – Значит, так, Сашок. Ты идешь сейчас за ребятами и приводишь сюда. Я остаюсь здесь. Еще раз осмотрю сарай. Лучше меня знаешь, разведчик, – никакого шума при движении. Предупреди особенно Эльдара. Паренек впервые в серьезном деле. А он человек комнатный. Способен заниматься голубями только на рынке.

Александр спросил все же:

– Скажи, Аркадий, откровенно, неужели ты считаешь это дело серьезным?

– Именно. А ты что – шуткой, пустячком, что ли, считаешь? – обрезал Кирюшкин. – Тебе что – нейтралки, пулеметов фрицевских не хватает?

– Да нет, – улыбнулся Александр, – пулеметы были бы лишними, пожалуй.

– А ты, хоть бывший голубятник, но отстал от жизни, поэтому запомни вот что. Нам с Логачевым и Твердохлебовым не впервой ходить по ночам. Понимаешь? После войны голуби стали в большой цене. И тут легко головы лишиться можно. Как в твоей разведке.

– Пустой головы можно лишиться везде.

– Что верно, то верно. Иди. Я жду.

Спустя полчаса после того, как погас свет в окне, Твердохлебов приступил к работе. Ломиком он старался беззвучно выломать петли из двери; дверь под его нажимом время от времени тихонько потрескивала, и тогда большая его фигура замирала, огромные руки мигом прекращали работу, и все оглядывались на дом, несколько минут выжидая. В доме ни света, ни движения; только из щелей сарая вместе с ядовитой вонью проникало дремотное похрюкиванье да бессонный коростель на одной ноте дергал и дергал в ночных полях, и этот однообразно-утомительный повторяющийся звук, звук, обманывающий тишину лунного покоя, неизвестно почему стал раздражать Александра так же, как весной на Украине в разведке сладострастный оглушающий стон лягушек, мешающий слышать другие звуки в ночи.

Он озяб. Может быть, холодок раздражения появился не от тоскующего назойливого крика коростеля, а потому, что начали взламывать дверь чужого сарая, и сразу же от скрежета дверных досок почти незатруднительное любопытство этой ночной поездки и некой игры в легковесный риск кон-

чилося. И воровской скрежет взламываемых дверей соединился с чем-то крайне несообразным, с какой-то тягостью пустоты, в которую его вдруг втокнула новая непонятная жизнь.

«А дальше что? Что за этим?»

– Черт возьми дурацкого дергача, – проговорил с сердцем Александр, из-за яблонь наблюдая за домом. – Надоел как суп-пюре гороховый.

– Не поминай черта сейчас, – отозвался умоляющим шепотом Эльдар. – Перекрестись, Саша.

Эльдар стоял метрах в четырех от Александра и, чутко вращая головой, следил за всем, что происходило или могло произойти вокруг сарая, получив приказание Кирюшкина – подать сигнал предупреждения в случае непредвиденного, затем – немедленно прийти на помощь Логачеву и Твердохлебову, как только они начнут выносить садки с голубями.

А Твердохлебов продолжал работать над петлями замка неспешно, с истовой предосторожностью, приостанавливаясь на миг, когда выламываемое из досок железо издавало опасный в тишине скрежещущий звук. Потом возле сарая прополз вязкий шорох, произошло заметное шевеление, похоже, там что-то изменилось, мутно задвигалось, что-то вкрадчиво звякнуло, после чего все стихло. Но через минуту в верхнем окне сарая замельтешил, запрыгал лучик света, то возникая, то пропадая – и Александр понял, что замок взломан, дверь в сарай открыта, и теперь Кирюшкин с Логачевым

и Твердохлебовым уже находились на чердаке, на подложке, в то же время по ищущим быстрым скачкам света карманного фонарика невозможно было угадать, оказались ли на чердаке голуби; а может быть, успел Лесик переправить их для продажи в какое-либо другое место?

И подталкиваемый скорее любопытством, чем нетерпением, Александр посоветовал Эльдару:

– Пойди в сарай и узнай, что там. Я буду здесь.

Эльдар горбато съежился, как если бы хотел стать меньше ростом, и, ныряя головой, поднимая колени, чтобы не шумела под ногами трава, приблизился вплотную к сараю и сейчас же вернулся оттуда, горячим шепотом доложил:

– Все нормально, на чердак есть лестница, голуби наверху, в садки сажают. Скорей бы только...

– Помолчи, Эльдар. Тихо. Слышишь?

– Что? Что?

– Тихо, говорят тебе!

В доме проскрипела дверь так отчетливо и протяжно, что отдалось в ушах, на крыльце, голо побеленном луной, появилась узкоплечая фигура в белой майке, в черных трусах. Фигура, издавая трубные звуки, пошатываясь спросонья, приникла к перилам крыльца, за которым темнели кусты, и листва внизу зашумела, как под дождем.

– Лесик, – прошептал, отплевываясь, Эльдар. – Ишь ты, паровоз, видно, нажрался и поливает, как из шланга.

Александр не воспринимал слова Эльдара, потому что



свет в чердачном окне сарая скакал, изламывался, передвигался вверх и вниз, справа и налево, и этот свет мог быть виден с крыльца, где стоял Лесик, и в ту секунду, когда Александр подумал это, раздался тонкий, разбухший до пресекающегося хрипа крик:

– Кто? Кто там?.. Падло! Кто там? Дядя Степан! Воры! Дядя Степа-ан! В сарай залезли! Сволочуги! Дядя Степа-ан!..

Фигура попятилась, исчезла с крыльца, внутри дома ярко вспыхнуло электричество, послышалась какая-то суматошная беготня, засновали две тени в освещенном окне, а Эльдар, уже без нужды подкинутый командой Александра: «Быстрее! К ребятам! Всем вниз и отходить к пруду!» – мчался к сараю, где, вероятно, не расслышали крик Лесика, и луч фонарика продолжал прыжки за чердачным стеклом. А на крыльцо выскочили две фигуры, белея нижним бельем, в руках рослого человека в кальсонах задвигалось, заблестело под луной нечто тяжелое, продолговатое, затем вместе с пронзительным грохотом ослепительная рваная звезда вылетела в сторону сарая, зазвенело разбитое чердачное стекло, разом пропал свет фонарика, что-то зашумело, затрещало в сарае, надсадно завизжала свинья, около дверей скользнули неясные силуэты, и тотчас вторая звезда, разрываясь с грохотом, ослепила Александра, чей-то жалобный голос изумленно, по-детски вскрикнул возле сарая: «Ой! Ранило! Ой!» – показалось, что это был голос Эльдара. Но было непонят-

но все-таки, кого ранило там, подле сарая, голос вскрикнул и смолк, в промежутке звоном обрушенной тишины донесся шелест, топот ног, поднялись и исчезли три силуэта у левой стены сарая на фоне тусклого блеска пруда за изгородью, оттуда, сливаясь со свинячьим визгом, прорезал минутное затишье длительный свист Кирюшкина, означающий отход. И в эту минуту дикий надрывный рев попеременно с ругательствами толкнулся в уши:

– Ворье! Мать вашу в душу! Воры! Свинью крадут! Не выйдет! Ленька, патроны давай! На полке, в коробке! Быстро, твою так! Волчью дробь! Быстро, дубак нечесаный! Чего пасть разинул? Беги!..

«Неужели эта горластая сволочь ранила Эльдара? Где он? Успел ли он отойти к калитке в изгороди? Почему мне показалось, что я увидел только троих – пронеслось в голове Александра. – И почему я стою здесь под яблонями и не продвигаюсь к калитке? Туда, к ним?..»

Нет, он не подумал в этот миг, что против воли не поспешил к калитке после сигнала Кирюшкина, быть может, бессознательно подчинился выработанной привычке отходить в разведке последним, быть может, из самолюбия или из показного спокойствия перед опасностью, в чем мог признаться только себе. Но жалобный вскрик у сарая «Ой, ранило! Ой!», полоумный горловой рев на крыльце озверелого человека, стрелявшего из охотничьего ружья, вдруг как морозом ожгли его сопротивлением озлобления, опаляющим азартом

гнева, в сознании промчалось вспышкой: «Попугать эту дикую сволочь!» – и, должно быть, движением инстинкта рука сама по себе рванулась к ТТ, пальцы обхватили нагретый бедром гладкий металл, и Александр, видя две белые фигуры на крыльце, дважды выстрелил, целясь выше их голов в оконце над дверью. Посыпались осколки. Горько завоняло порохом. Две фигуры на крыльце бросились со ступеней вниз, в кусты, нырнули, как пловцы в воду, оттуда достиг слуха Александра задушенный хрип:

– А-а, стреляешь, б...! Я т-тя устаканю! На, держи пару, глотай, дерьмо!..

И тотчас две одновременно взорвавшихся огненных звезды оглушили ночь таким близким взвизгом металла, что жаркий ветер стеной пронесся мимо виска, вдавился в грудь, что-то тупо и деревянно ударило по левой руке выше локтя («Что такое? Неужели ранило? Этого еще не хватало! Быть не может! Неужели здесь? Как же я подставился?») – и, уже чувствуя онемение и бессилие в левой руке, проклиная себя за игривую легковерную беспечность, он с помутненной от ненависти головой к самому себе и к этому незнакомому человеку, кто стрелял в него, он сделал шаг, защищаясь за стволом яблони, поднял пистолет и с мстительной злобой, стиснув зубы, выстрелил в кусты перед крыльцом, в то место, откуда пять секунд назад выплеснулись слепящие и визжащие звезды. И оттолкнувшись от яблони, качаясь, пошел напрямик через сад, к калитке в изгороди, заталкивая пистолет

в задний карман. Когда он достиг калитки, позади взвивался железной спиралью и сквозь чье-то хрипение и стоны спадал до сипоты тонкий вопль:

– Дядя Степан, дядя Степан, убили они тебя, а? Руки разожми, ружье дай! Ах, падло, падло! Уби или! Дядьку мо-во угробили! Знаю, кто его! Знаю! Горло перерву! Кишки через нос выпущу! Дядю Степа-ана угробили!..

«Почти так же обезумело кричал и плакал Логачев на пожаре. Как это чудовищно похоже, – прошло стороной в сознании Александра. – Зачем я стрелял? Чьи это были стоны? Ранил я его или убил?»

И, придерживая правой рукой безжизненную левую руку, без боли, ощущая теплую влагу, слипающую пальцы на рукаве, он с ужасом к тому, что только что, не выдержав, стрелял в ответ на двойные выстрелы из кустов, рассчитанные убить его, и еще с неверием в то, что сам убил или мог убить человека здесь, в тылу, после войны, что было противоестественно, Александр стремительно выбежал за калитку и тут, на тропинке, на берегу сияющего лунным зеркалом пруда в упор столкнулся с Кирюшкиным. Тот с нетерпением, с отрывистой одышкой выговорил:

– Стрелял? Ранен? Рука? Эльдар тоже ранен! Кажется, шея! Пошли быстрее! Бегом! Ждал тебя! Всех послал вперед! К машине! Надо уходить, быстрее, немедленно!

Они, не останавливаясь, круто повернули от пруда вверх, в проулок, бежали по тропинке, слыша какие-то неразбор-

чивые голоса, всполошенно перекликающиеся справа и слева в соседних домах, загорелся и тут же погас свет в одном окне, будто там опомнились и испугались выстрелов в проулке, а когда после подъема в гору с разбега перемахнули кювет, выскочили из проулка на дорогу напротив разрушенной церковки и без передышки бросились по светлеющему в темноте проселку к пристанционному лесу, оба задыхались, и Кирюшкин крикнул:

– Как ты? Терпимо?

– Хватит! – озлобленно оборвал Александр. – Нормально!

В этом его ответе «хватит» и «нормально» была самолюбивая ложь, так как онемевшая в набухавшем рукаве безвольная рука, которую он придерживал слипшимися в крови пальцами, мешала ему свободно бежать, она ненормально сковывала верхнюю часть тела, точно обе руки были связаны. Он отставал от Кирюшкина, обильный пот обливал лицо и грудь, жарким молотом бухала в голове мысль, что у него, видимо, тяжело ранена рука, а где-то там позади, в кустах, лежит убитый им дядька Лесика; и чувствовал, что он, Александр, попал в положение непоправимое, какое бывает во сне, что случилось чудовищное, настигшее, как обвал.

Кирюшкин не обгонял его, бежал рядом, наверно, этим показывая, что они вместе, и уже на опушке леса выкрикнул ободряюще:

– Сейчас в машине жгут сделаем, кровь остановим!

Машина работала мотором, выделяясь черным пятном

посреди дороги под елями. В кузове все были в сборе, сидели на ящиках впотьмах, не видя друг друга, только затрудненно дышали, в это общее смешанное дыхание врывался шорох, треск крыльев дерущихся голубей в тесных садках, сонное воркование; пахло горьким пером, горячим мужским потом, тревогой, а когда Кирюшкин и с его помощью Александр последними взобрались в машину и лучик включенного карманного фонарика скакнул по влажным осунувшимся лицам, по садкам на полу, набитым голубями, по окровавленной руке Эльдара, прижимавшей пропитанный кровью носовой платок к шее, было уже очевидно, что дело серьезное. Никто не мог предположить решительность родственника Лесика, насмерть защищавшего свой сарай огнем двухстволки. И особо дохнуло на всех металлической встревоженностью от незнакомого голоса Кирюшкина, приказавшего насупленному Логачеву.

– Держи фонарь. Будешь светить туда, куда скажу. Твердохлебов! – позвал он громче, уравнивая дыхание. – Садись в кабину с Билибиным. Пусть гонит машину по проселку параллельно шоссе. Никакой паники. Ясно? Минут через десять я тебя сменю. Александр, садись сюда на ящик. Показывай руку. Гриша, свети в мою сторону, – распорядился без промедления Кирюшкин и сейчас же спросил Александра: – Пиджак, наверно, снять не сможешь?

– Вряд ли.

Тупое онемение в руке, чудилось, ослабело, но в глуби-

не предплечья воткнутое с грубой силой заработало огненное сверло, оно вращалось в кости, с хрустом вкручивалось, как в больной зуб, кроша плоть кости, и Александра охватывало темное желание выдернуть это раскаленное зазубренное сверло, звучащее в ушах орудием пытки. Он поморщился: бормашина обморочно шумела в голове от потерянной крови, неудачная попытка поднять плечо, шевельнуть рукой, чтобы вытащить ее из теплого набухшего рукава, отдалась ломающей болью, и он тогда подумал, что дело с рукой плохо: должно быть, задело кость или сильно разворотило мякоть ниже локтя, нужна была поликлиника, врач, укол от столбняка, перевязка, это знал по прошлым двум фронтальным ранениям, но врачу надо было отвечать на вопросы: где, когда, как, кто стрелял, и отсюда потянется ниточка, за которую можно ухватиться. «И все-таки почему? Почему я стрелял? Потому что в меня стреляли в упор с расчетом убить. Так? Он первым, я вторым. Он убит, я ранен. Нет, я стрелял еще по какой-то другой причине, которую не могу себе объяснить. Что-то другое мною командовало. Привычка? Инстинкт? Механическое нажатие на спусковой крючок? Что?..»

Самоуверенный голос Кирюшкина срезал молчание в машине, и Александр очнулся:

– Подвинься ко мне ближе. Правую руку опусти. Сейчас сделаем что нужно. Главное – не потерять много крови. И держаться на ногах.

Карманный фонарик светил неестественно ярко. Луч подрагивал. Машина неслась, встряхиваясь с железным лязгом, подпрыгивая на ухабах. Ветер обрушивался на брезент, крысиный писк врывался в щели кузова. Александр сцепливал зубы при каждой встряске, думал, охолонутый ознобом. «Скорей бы, скорей...»

Кирюшкин, голый до пояса, сидел напротив Александра, колени к коленям, левой рукой оттягивая влажный, густо почерневший рукав, правой как лезвием бритвы разрезал материю снизу, открылась окровавленная сорочка, на которой можно было различить темное отверстие сочившейся кровью раны. Кирюшкин оттянул прилипшую рубаху, разрезал ее и оборвал ниже локтя. Теперь очень ясно видны были две рваные сквозные раны, сделанные самодельной дробью, вернее – нарезанными кусками железа, и Кирюшкин сказал только:

– Вот сволочь. В голову попал бы – концы. Н-да! Так что, если ты его угробил – Божья кара. Так, что ли, Эльдар? – крикнул он с яростью, но Эльдар не ответил. – Именно так, – закончил Кирюшкин тоном, исключая возражения. – Большая дерьма есть большая дерьма.

И своим брючным ремнем, тонким и жестким, стянул Александру руку выше локтя, накладывая жгут с такой силой, что Александр сдержал его:

– Полегче, полегче...

– Полегче будет потом, месячишка через полтора. Ране-



ние в руку у меня было, так что моли Бога, что насквозь, – сказал Кирюшкин и, располосовав финкой свою нижнюю майку, ловко и плотно сделал перевязку, договорил: – Снимай-ка, Александр, свой ремень и – руку на перевязь. Дай-ка я тебе помогу. С одной рукой теперь будешь колупаться.

– Сниму сам, – ссохшимся голосом выговорил Александр. – Правая работает...

– Действуй правой.

Сказав это, Кирюшкин надел на голое тело рубаху, пиджак, взял фонарик у Логачева, выключил его, видимо, экономя батарейку, и тьма крытого брезентом кузова заслоилась перед глазами Александра коричневыми полосами, и в этом движении железисто запахло ветром, кровью и голубиным пером, вдруг вызвавшими тошнотные позывы в горле. Александр закашлялся, ему на вдох не хватило воздуха, он глотнул ртом, едва справился с удушьем, похожим на подступившую рвоту, с мимолетным удивлением подумал, как бы не веря этому ощущению озноба и тошноты, знакомому по прежним ранениям: «Кажется, меня серьезно», – и сделал движение правой рукой, чтобы расстегнуть и вытянуть из брючных петель ремень, но пальцы здоровой руки плохо подчинялись, и он почти беззвучно выругался, уже сознавая, что здесь, в тылу, в этой голубиной переделке ему не повезло, хотя все должно было пройти как забавлявшее его нетрудное ночное приключение.

«Что-то со мной случилось. Что-то изменило мне. Не

изменил только пистолет, – толкалось в его голове. – Но, пожалуй, я не убил его, наверное, ранил. Он стрелял как безумный. А я почти наугад. По вспышкам. И не мог точно попасть. Хочу себя убедить в этом? Смешно. Я мог и попасть...»

Голос сквозь мягкий звон в ушах, пробился к нему:

– Ну что? Сумел? Дай-ка я.

Вспыхнул свет фонарика, уперся ему в грудь, Кирюшкин проворно расстегнул, сдернул ремень, ловко зажал фонарь между колен и сделал из ремня петлю, сказал: «Терпи и всовывай руку», – и после того, как Александр с усилием просунул совсем чужую, окаменевшую руку в петлю, Кирюшкин перекинул ременную перевязь через его плечо, сказал опять: «Терпи до Москвы», – и замолчал, погасив фонарик, и снова темнота зашевелилась оранжевыми полосами перед закрытыми глазами, поплыла волнистыми нитями, и снова свист ветра принес морозный запах крови и голубиных перьев, где-то сбоку голубым стеклом блеснула плоскость пруда с тенями берез на лунной воде, появилась сумеречная неподвижность спящих яблонь, куда-то вкось заскакал луч фонарика в чердачном окне сарая и исчез, растворяясь в потьмах дома с темными кустами под крыльцом, светло-пустым от лунного фонаря за садом, потом эту ночную пустоту неожиданно оглушило и ослепило двумя разрывающимися звездами, одновременно вылетевшими из кустов, и в лицо ударил надрывный вопль, прокатившийся по саду: «Угробили дядю

Степана, угробили!» Этот крик сверлил в ушах, стихал и повторялся, как в бреду, чудилось, исторгнутый разрывающимися звездами, и почему-то ощущалась вместе с тем привычная гладкая тяжесть пистолета в пальцах, воспринявших отдачу выстрела. «Сколько выстрелов я сделал? Один? Два? Нет, один. Я это помню. Потом раздался из кустов вопль...»

– Саша, что молчишь? – настойчиво всплыл звук замутненного голоса где-то вблизи со стеклянно блестящей водой, с разительно черным силуэтом церквушки, за которой над крышами поселка раскаленным фонарем висела полная луна, и Александр открыл глаза, соображая, что не может освободиться от навязчивых видений этого проклятого Верхушкова, что он сидит в машине, где натужно ревет мотор, то и дело с лязгом встряхивает кузов, и боль пронзает руку от кисти к плечу, затуманивая голову, и неясно, что ему надо делать и как, что решить через какой-нибудь час после приезда в Москву: прийти домой, сказать, что на него напали ночью, ранили, послать Исаю Егоровича за врачом Яблочковым... Но что будет с матерью? Как она, больная, воспримет все это?

– О чем думаешь, Саша? – повторил уже отчетливый голос Кирюшкина. – Может, сожалеешь, что поехал с нами?

– Если бы... Сожалеть об этом теперь поздно, – грубо сказал Александр. – Если бы у бабушки была борода, то это уже дедушка. «Если бы» – всегда чепуха. Для невезучих.

– Ясно. И не сожалеешь, что наказал дядька Лесика?

Или?..

– Сожалею, если я его... – выговорил Александр сведеными ознобом губами. – Вот опять, «если»...

– Напрасно, – непримиримо и внятно сказал Ки-рюшкин. – Убил ты его или не убил – выкинь из головы. Бешеных собак стреляют не задумываясь. Обезумел сволочной хуторянин, палил из двухстволки на поражение, идиот. Не сожалею. Сам нарвался, дубина! Не останови ты его, у всех у нас были бы хор-рошие дырочки, возможно – и в черепашке. Вину беру на себя...

– Пошел знаешь куда... и прослезись от умиления. И помолчи.

– Молчу.

Машина неслась, завывая мотором, незакрепленный брезент взвивался, трещал, хлопал над задним бортом, за которым однообразной сереющей полосой убегал назад проселок, синевато затопленные луной, текли и текли ночные поля, и где-то далеко позади низко светились то ли тусклые звезды, то ли слабые огоньки. Он прижал подбородок к груди, чтобы не застонать от боли, и необъяснимо почему вспомнилось, как давно, в детстве, сидя у окна в продутом ночными ветерками поезде, он смотрел на далекие огоньки, рассыпанные вдоль опушки леса, на костер, опрокинутый возле гулкого моста в реку, на одиноко горевшее пустынным квадратом окно в безмятежно спящем городке, и тогда невнятное грустное любопытство заставляло его представ-

лять незнакомых людей, их счастливую незнакомую жизнь, куда тянуло его, как к неизведанной радости. Это ощущение иногда непонятным образом приходило и на фронте, когда в часы разведки проступали впереди, посреди зимнего звездного неба, силуэты занесенного снегом городка с прямыми белыми дымками из труб, с терпким запахом печей.

Но сейчас все, что не было болью, стало отчужденным, безразличным, лишним: скорее бы кончались эти лунные до предела поля, желтые огоньки в прыгающем пространстве. И скорее бы Москва... А была только мука, пыткой вгрызающаяся в руку при каждом толчке машины, и ледяной испариной его охватывала тоска неотступающего злого отвращения к самому себе. «Что ж это я? Что со мной? Страх?» В нем нарастало мерзко сосущее чувство чего-то непредвиденно опасного, похожего на роковое окружение, вдруг разрушившего все мирное, московское, тыловое, ставшее его жизнью. «Нет, к матери прийти я не могу. Заехать в поликлинику, сказать, что на меня напали, в драке ранен, попросить перевязку. А после? Направят, пожалуй, в госпиталь, как лейтенанта запаса. А после? Если я не промахнулся и Лесик подымет шум, а Малышев предаст Кирюшкина, то меня найдут в госпитале без труда – и суд, и прощай, московская жизнь, и мама, и Нинель со странной ее нежностью... Но почему такая боль в руке? Задело наверняка кость?..»

– Идиотизм, – с хрипотцой сказал он вслух и, услышав свой, сдавленный болью голос, стиснул зубы, испытывая и

злость, и презрительную досаду к тому, что случилось с ним этой ночью, ставшей мстительной ловушкой в его в общем-то везучей военной судьбе.

– Что? Идиотизм? Курить хочешь? – отозвался Кирюшкин и, повозившись в потемках, должно быть, доставая папиросы, заговорил спокойным тоном, словно знал, о чем думал Александр: – В нашей жизни такого добра до хрена. Все живут по принципу: можно, а нельзя, нельзя, а можно. Или: нужно, а нельзя, нельзя, а нужно. Одно и то же. Если дуrolомство обобщать, то и воевать, и жить после войны, конечно, вредно. Да и небезопасно. Дать папиросу, чтоб мысли не размножались?

– Нет.

Скрипнуло колесико зажигалки, фиолетовым язычком заколебался огонек над папиросой, зажатой в твердых губах Кирюшкина, блеснули узкие глаза, он, прикуривая, внимательно смотрел на Александра, и Александр с раздражением ощутил настороженные взгляды Логачева и Эльдара, оба ногами придерживали на полу ползающие от скорости машины садки, набитые голубями. Оба ни слова не проронили от самого Верхушкова, и сейчас в их молчании, в их взглядах, как показалось Александру, было поразительное ожидание какой-то выходки с его стороны за неудачу, в чем вина была всех, а расплатился он, новичок. Никто из них не пострадал, кроме Эльдара, царапнутого дробинкой в шею, и это пойманное выражение в направленных на него взглядах задело

Александра оскорбительным недоверием. По своему опыту он знал, что после случившегося неудачливого и самого трагического дела искать виновных – попытка пустая. Вернуть ничего невозможно. И он криво улыбнулся, проговорил:

– Что смотрите на меня, как на зебру в трамвае? Никто из вас не виноват. После драки машут кулаками только болваны. Так что успокойтесь, ребята. Вы с Лесиком квиты. Со всем остальным справлюсь сам.

Кирюшкин, не отзываясь, курил, жарко разгорался и сникал багровый светлячок папиросы. Логачев с сердитым кряхтеньем завозился впотьмах, поправляя около ног садки, но тоже не сказал ничего.

Ветер гудел, трепал, ударял брезентом над задним бортом, хилых огоньков уже не было в облуненных полях, откуда подступала тоска, забивавшая Александру грудь.

– Капаешь яд в наши уши, – юродствующим голосом первым отозвался Эльдар и прибавил совсем смиренно: – Меня бы угробили, если бы не ты. Я молюсь за тебя.

И Логачев, точно тяжелые кирпичи уронил к ногам Александра, произнес увесисто:

– Точно! Все за одного, один за всех. Все! Закон!

«Какие они, в общем-то, наивные ребята, хотя почти уголовники, как теперь и я», – подумалось Александру сквозь неутихающую сквозную боль, и он сказал насколько мог уравновешенно:

– Ладно. Молись, Эльдар, если это помогает. Но тебя тоже

поймало.

– Укусило в шею. Как оса. Если бы не ты, поймало бы голову. Когда ты выстрелил в первый раз, я вдруг вспомнил стих из главы «Таха»: «О Муса, что у тебя в правой руке?» Так Бог говорит Мусе, библейскому Моисею...

– Неважно. Сколько раз я стрелял?

– Два раза.

– Два? Не может быть.

– Точно, – подтвердил Логачев.

«Значит, не один, а два раза? Разве так? Почему я не помню? Второй выстрел вырвался против моей воли. Что-то инстинктивное, необъяснимое командовало мной».

– При чем здесь правая рука? – раздраженно спросил Александр.

– Что у тебя было в правой руке?

– Пистолет.

– И ты стрелял?

– Да.

– И убил?

– Этого не знаю. А кто-нибудь из вас знает? Я слышал крик Лесика...

Он не договорил, уточнять было бессмысленно.

– Я тоже, – согласился Эльдар, – слышал крик... Когда мы выбежали за калитку. Аркадий задержался, ждал тебя. Нам велел не останавливаться. Мы побежали.

Красная точка ярко разгорелась, сделала дугу в потемках



и вылетела меж хлопающего над задним бортом брезентом, погасла в ночи. Кирюшкин выбросил папиросу, всей грудью выдохнул дым и заговорил с трезвой уверенностью человека, принявшего обдуманное решение:

– Завтра узнаем все. Уверен – Лесик будет иметь дело с милицией. Как ни крути, сдастся мне, дядька все-таки мы отправили в Могилев, царство ему небесное. – Он подчеркнул слово «мы», не упоминая Александра, спокойно-насмешливо произнес «царство ему небесное», и Александр, поняв его намеренность, подумал: «Кажется, он огораживает меня». – И вот что я предлагаю. Улик против нас – никаких. Свидетелей тоже. Вроде в Верхушкове никто личных следов от лап и когтей не оставил. Но всем на несколько дней надо уйти на дно. Пожить мирно, не высовываться, даже к Ираиде. Голубей запрячем не в сарай Александра, а в сарай Эльдара. Раз в день за дровами ходить – никаких подозрений. Царапину на шее красиво забинтуем – ангина и порядок, никто из соседей внимания не обратит. А вот тебе, Саша, – понизил голос Кирюшкин, – домой возвращаться сейчас нельзя. Если Лесик вконец одурет от злобы и снюхается с МУРом, ищейки в момент найдут твою квартиру. А твоя рана – улика неопровержимая. И тогда завалимся все. Подлечить руку придется не у себя дома...

– Говори яснее, – прервал Александр, не дослушав. – Что значит «завалимся все»? При чем тут моя рана? И как понимать «не у себя дома»?

– Слушай, что скажу, Саша, – зазвучал голос Кирюшкина сокровенно и мягко. – Яснее ясного. Представь: ищейки нагрянут ко мне или, скажем, к Гришуне. Задают милые вопросы, а ответ прост: знать не знаю, ведать не ведаю. Ни улики, ни свидетелей, ни доказательств. Чисты как младенцы. Представь другую картину: ищейки пожаловали к тебе. И представь вопрос на мордах мильтонов: «Что с рукой? Где? Когда? Почему? При каких обстоятельствах?» И пошел размазываться клубочек.

Александр опять прервал его:

– Неужели думаешь, что этот клубочек им помогу размотать я?

– Нет, Саша, такой грязи в голове не было, – с твердой внушительностью выговорил Кирюшкин. – В тебя верю, как во всех остальных ребят. Напрасно на меня злишься.

– На себя злюсь.

– Что уж так, Саша?

– Подставился. Дуриком.

– Не было подставки! В тылу как на войне. Бывает и хуже!

# Часть вторая

## Глава первая

... Баделин беззвучно рыдал, ползал по немецкому окопу, в неистовстве грыз снег, смешанный с землей, слезы катились по его заиндевелому подшлемнику, и он зачем-то слизывал их вместе с кровью, текущей из носа, паралично тряс головой. Его рот чернел, запекшийся, искусанный. Он сипел узким горлом: «Конец мне... Две ноги насквозь. За что же меня одного? За что одного?..»

Сотрясаясь от рыданий, он приник головой к измазанным кровью рукавицам, потом весь вздернулся, ив сторону Александра скользнул разъятый блеск обезумелого глаза, в котором заплескалось бешенство, сливаясь с огненным шариком взлетевшей впереди ракеты. Свет немецкой ракеты раздел снежные поля, проступили навалы пулеметных точек, язвы воронок, спирально закрученная разорванная проволока. И там, у немцев, и за спиной, у нас, молчало все – дальнобойные орудия, минометы, что несколько минут назад вздыбливали, крошили землю, бушевали над полем, накаляя догораюча воздух в удушающих взмахах разрывов.

Они напоролись на встречную немецкую разведку, и первым, не выдержав, открыл огонь Баделин, немцы ответили

автоматными очередями, быстро отошли к своим траншеям боевого охранения и сейчас же вызвали огонь по нейтральной полосе. А они укрылись в старом, полузанесенном снегом окопе, оттащили туда раненого Баделина. После артналета нависла над землей неизъяснимая тишина. Ни движения, ни звука. В морозной черноте неба вытанцовывали звезды. Ледяная луна, мнилось, издавала еле уловимый тягучий звук тоски. Это была неудача, и он знал, что это неудача, но главное было не в том, что столкнулись две разведки (такое бывало), а в этом ранении Баделина, который вроде бы тронулся разумом, раздавленным белым червем извивался, ползал по дну окопа, визгливо выхрипывая:

– Зачем ты нас повел сюда, лейтенант?, Перед начальством выслуживался? Будь ты проклят! За что меня изуродовало? Кровью изойду – все, хана! Убил ты меня, лейтенант, уби-ил! Лучше бы всех – тогда не обидно! Все-ех! А не меня, не меня! За что меня... одного?

– Замолчи, не скули, хрен собачий! – заорал кто-то из разведчиков. – Сумей умереть, баба мокрохвостая, по-мужски, ежели с того света прозвенело! Не терпит терпелка – девять грамм в башку, и кранты!

– Сволочи, всех ненавижу!.. – выкрикнул Баделин, и на кроваво-грязном лице его, в опустошенных глазах выразилась такая ненависть к стоявшим вокруг него разведчикам, такая изжигающая зависть к молодым, здоровым, везучим, что при виде этого неожиданного облика Баделина острая

дрожь прошла по щекам Александра.

– Плевать я на него хотел, лейтенант, – сказал кто-то обозленно. – На кой он нам, эта задница с ручкой! Пусть остается подыхать в окопе. Нести его в медсанбат – все одно что кусок дерьма!

– Нет! – непререкаемо сказал Александр. – В медсанбат мы его все-таки донесем! А после уж пусть на глаза не попадается, мозгляк чертов!

Их, разведчиков, оставалось теперь трое, и они пронесли Баделина через погруженную в затишье нейтралку, в первых пехотных траншеях сдали его санинструктору и ушли в расположение штаба полка, чтобы доложить о случившемся и готовить новый поиск. Пока санинструктор, девчужка со школьной челкой из-под шапки, осматривала залитые кровью, выше щиколоток будто переломленные разрывными пулями ноги Баделина, Александр стоял рядом. Он слышал завывающие сквозь стук зубов вскрики раненого, испытывая чувство жалости и одновременно брезгливую отчужденность, как если бы обманули и предали его, соединенного с людьми своего взвода неписанным законом верности.

«За что меня одного? Лучше бы всех, всех!...» Этот рыдающий крик Баделина, предсмертная зависть к молодым, не царапнутым даже, смертью которых умирающий сорокалетний Баделин хотел отомстить судьбе и живым за их везение, поразили тогда Александра обнаженной жестокостью обезумевшего от страха человека. Баделину отняли обе ноги. Он

умер от гангрены. Его смерть не вызвала скорби. Но предсмертный голос его ворочался в памяти в самые предельные минуты, на краю прощания с жизнью, и тогда спасала мысль о сроке судьбы, избравшей или не избравшей кого-либо среди многих других.

«Случайность?»

Случайностью ли была долгая и удачная разведка, когда воронежский весельчак, ясноглазый, толстогубый плясун и певун Чудинов взял важного «языка» прямо из машины на прифронтовом шоссе? По этому случаю ПНШ—2 (второй помощник начальника штаба полка) приказал на полную катушку выдать водки, и разведчики, усталые, еще не отмывшие пыль и грязь, выпили в излишек, сбросили рации и оружие, повалились на нары в землянке, однако никак еще не могли успокоиться, расслабиться после двухдневного поиска в тылу у немцев. И Александр, выслушав по телефону поздравления высокого начальства, сам удовлетворенный, бросил на аппарат трубку и крикнул виновнику торжества:

– Чудинов, пляши, именинник! «Отечественная» на грудь к тебе прилетела! Ну-ка, оторви воронежскую!

– Не могу, товарищ лейтенант, сапоги у меня больно тяжелые, – скромно отозвался уже пьяненький Чудинов, хитровато придуриваясь.

– Слезай с нар, хитрован! Танцуй! – шутливо-грозно подбодрил Александр. – Для всего взвода причина есть!

– Да ведь сапоги, товарищ лейтенант...

– Слезай, говорят! Надевай мои, хромовые! И давай воро-  
нежскую! Не каждый день берем оберстов!

Это была настоящая радость удачи, честолюбивое удовле-  
творение, счастливый случай. Неужели все на войне состоя-  
ло из этих случайностей – не зацепило, не задело, пролетело  
мимо, удалось, не удалось?

В осенний день подымались к перевалу. Над Карпатами  
низко шли самолеты, раскатывая густой гул по воздушным  
этажам пасмурного неба, один за другим стали пикировать,  
вырастая меж макушек деревьев в серые, железные, несущи-  
еся к земле громады, и гибельная буря началась в лесу. Свер-  
ху обрушивались поднятые разрывами камни, сотни дятлов  
долбили по стволам деревьев, метелью носились в воздухе  
вороха желтой листвы – и рвотно-кислая вонь вместе с ядо-  
вито-желтым туманом лезла в ноздри, в горло. Пехота рас-  
сыпалась по лесу, откуда уже доносились стоны раненых, а  
Александр, стоя на дороге, успел скомандовать разведчикам,  
чтобы они залегли за обочиной под стволами деревьев, а сам,  
сбегая с дороги, бросаясь плашмя к широкому стволу сосны,  
вдруг почувствовал удар в правую ногу, подумал с отчаян-  
ной досадой: «Вот и настигло!..» – и сразу же сел под дере-  
вом, вытянув ногу, ожидая увидеть кровь и рану, но не уви-  
дел ни раны, ни крови. Он с предосторожностью снял сапог  
– рваный осколок, сверкая заостренными краями, торчал из  
правого каблука грубого кирзового сапога (те хромовые са-  
пожки, в которых плясал Чудинов, давно сносились) и был

горяч, раскален огнем разрыва. Осколок величиной с куриное яйцо пробил насквозь каблук и застрял в подошве, силой удара все-таки причинив боль пятке, до хромоты ощутимой им в течение целой недели. Что сдержало убойный удар этого осколка? Что помешало его гибельной энергии?.. Чуть-чуть ближе разрыв, чуть-чуть сильнее разлет осколков, чуть-чуть сильнее удар, и «куриное яйцо» раздробило бы ногу до страшной неузнаваемости.

«Повезло? Случайность? О чем я думаю? Что мне лезет в голову?»

... Потом на Каневском плацдарме, на правом берегу Днепра, им нужно было узнать, откуда бьют танки прямой наводкой по острову, где скапливались пехота и артиллерия для переправы. И в день переправы на рассвете он с одним разведчиком добрался до окраины Канева, и здесь, из придорожного кювета, похожего на засыпанную листвой траншею глубиной в полметра, увидели они три немецких танка, маневрирующих на высоте берега. Перед немцами, за отвесным обрывом к Днепру, открывалась в предутреннем тумане вся переправа – нагруженные артиллерией плоты, рассыпанные по воде, лодки с солдатами, часть наводимого понтонного моста – и танки расстреливали их с высоты. Вздыхленно вставляли бревна, скатывались в воду облепленные людьми орудия, слышалось визжащее ржание лошадей. Днепр был усеян обломками понтонов, лодок, точками голов плывущих солдат. Наша артиллерия вела огонь с левого берега по окра-



ине Канева, но танки меняли позицию, после каждого выстрела передвигались то вперед, то назад, и наши снаряды били так неприцельно, что на крайнем танке у открытого люка сидел с показным бесстрашием совсем юный немец, в черной куртке, без шлема, и, оглядывая в бинокль Днепр, передавал по радиации команды; ветер заносил его светлые волосы на висок, он отбрасывал их локтем. Танк стоял метрах ста пятидесяти от кювета. Он был хорошо виден, этот бесстрашный немецкий мальчик, враг, убивающий тех, кто был «своими», русскими, объединенными в солдатское «наши», и в этом у Александра даже на секунду не возникло сомнения. Чтобы не обнаружить себя звуком выстрела, он дождался приближающегося из-за Днепра свиста снаряда, и в тот миг, когда грохнул разрыв, он выпустил очередь по танкисту – и тут понял, что промахнулся, что только легко ранил немца. Мальчишка вскочил, крикнул что-то в открытый люк, и, хватаясь за кобуру пистолета на левом боку, повернулся перекореженным страхом и удивлением лицом, по которому из-под волос стекали темные струйки. Оскалив зубы, он выхватил из кобуры пистолет, по виду черный тяжелый парабеллум, и наугад выстрелил в сторону кювета. А в это время башня вместе с орудием нащупывающими толчками начала сдвигаться в направлении кювета, раздутая круглая ноздря надульного тормоза, словно принохиваясь, качнулась в воздухе. И Александр успел выпустить очередь в юного танкиста, бегло стреляющего из парабеллума по кювету, успел

увидеть, как он сначала упал возле башни на колени, уронив голову, так что волосы завесили лицо, и скатился с брони в траву. Александр успел увидеть и то, как вылетела вспышка из танкового орудия и, оглушенный ударившим по голове буревым свистом, почти задушенный вонью раскаленного железа, металлической гари, толового яда, с пульсирующим звоном в голове, не мог понять, убило ли его, искромсало ли в куски и почему чудится, что какая-то частичка мозга еще жива и с ужасом видит, как в полуметре от его головы танковый снаряд зарывается, медленно влезает, медленно расталкивает, входит, впивается в землю противоположного ската кювета, серебристо отполированный этой землей... и сейчас, через долю секунды, взорвется, грохот и раскаленные осколки размозжат голову ему и разведчику, окостеневшие глаза которого были налиты смертным оцепенением.

Александр упал лицом в ржавые листья, в их душный тлен, инстинктивно прикрыл руками затылок, зная, что это спасти не могло. Сердце ударяло в землю, как колокол, оглушая. «Вот он, конец. Так я погиб на Днестре, в кювете, возле города Канева». Он ждал последней, обрывающей жизнь секунды. Разрыва не последовало. Справа ревели моторы танков. Из-за Днестра била артиллерия, отдаленно взвизгивали осколки. Он поднял голову. Снаряд неподвижно торчал в скате кювета, серебрясь на солнце боком, своими стальными поясками – красивое металлическое веретено, заряженное смертью, уродством, мгновенной или мучительной смертью.

Он был в полуметре от этого всесильного палача, неизвестно почему в крайнюю секунду не выполнившего приказ о казни. Случайностью ли опять было это? Да, какая-то воля, необъяснимая разумом, помешала чуткому взрывателю, который существовал лишь для того, чтобы мощный кусок железа при соприкосновении с землей превращать в бритвенные осколки, отсекающие головы, перерубающие ноги, пробивающие животы.

«Случайность и везение...»

... Как это могло случиться, что под Сталинградом шрапнель, в ключья разорвавшая вещмешок за спиной, не задела его ни одним осколочком? Уже наступали в направлении Котельниково, карабкались на высотку, отвесную, обледенелую, откуда прямой наводкой орудия вели огонь по немецким танкам, контратакующим пошедшую вперед пехоту. И на самой высоте, где он вместе со своими разведчиками, наваливаясь на колеса, помогал артиллеристам развернуть орудия, что-то громовым обвалом разверзлось за спиной (стреляли откуда-то сбоку), окатило адским зловонием, чесночным жаром, заложило уши, а когда он крикнул разведчикам, чтобы скорее уходили с высоты, то не услышал собственного голоса, голос без звука бился в горле, а разведчики как-то одичало глянули на него, непонятно зачем подхватили под руки, будто ему помочь надо было, и, сбежав под высоту, в заваленную снегом ложину, начали неуклюже ощупывать его спину, сняли вещмешок, и тогда он увидел свой веще-

шок, разодранный в клочья, из которого белыми змеями тянулась искромсанная пара чистого белья с прилипшими к ней крошками пшеничного концентрата. Разведчики все ощупывали его шинель на спине, шинель была совершенно цела. Да, шрапнель не коснулась ее, но что это было? Может быть, судьба спасительно чуть-чуть повернула руку наводчика немецкого орудия? Кто мог это объяснить? Кто мог объяснить роковые расстояния – миллиметр выше, ниже, миллиметр левее, миллиметр правее? Можно ли считать счастьем запутавшиеся в шинели, как обессиленные дождем шмели, пули на излете? А это как назвать? Провидение? На Дуклинском перевале какая-то инфузория миллиметра отвела его гибель – пуля чиркнула по виску, как скальпелем, разрежала кожу, оставив навсегда беловатый шрам. Кто и что помогло ему тогда? Вера в то, что его не убьют на войне? Достаточно ли было этого, если большинство погибших блаженно верило: «Меня не должны убить».

... – А может, действительно напрасно рою эти ямочки, а?

– Захаров, тебе жениться надо. Война началась, нас всех призовут, укокошат, и не попробуешь... Ты ведь девчат болялся в классе.

– А зачем мне жена? Кончится война, куплю мотоцикл, две гири, заведу сибирскую лайку, ружье – и буду жить на Камчатке. Один.

Они рыли противотанковые рвы под Рославлем. Была

душная июльская ночь с теплым ветром. Необъятная черно-лиловая туча заходила над лесом, за которым еле слышно погромыхивало, а справа, среди заслонившей горизонт мглы, мерцали на бугре далекие огоньки деревеньки, два красных огонька, два тревожно не засыпающих глаза. А ветер, дующий из-под тучи, шумел в развороченных стогах сена, и запах здорового мальчишеского пота от работающих в противотанковом рву смывало медовым духом скошенной травы.

– А ведь ты дубина, Захаров, если уж написал такие стихи: «За друга отдал бы я жизнь, а за подругу бы – подумал». Ведь ты в Веронику был влюблен по уши. А стихи написал, чтобы разозлить ее.

– Она в Сашку была влюблена. И он в нее, как муха.

– Ты, комсомольский поэт, за муху схлопочешь по стенду, мотоцикл и две гири.

– И пошутить нельзя, что ли? Чего бицепсами-то потрясешь? Они у меня тоже есть.

Под скрежет лопат, вонзавшихся в землю, никто из ребят, работающих во рву, не обращал внимания на эти негромкие голоса. Все время от времени встревоженно оборачивались туда, где за лесом был Смоленск, где не переставало гудеть, иногда потряхивая землю бомбовыми обвалами, – все знали, что немцы перешли в наступление, поэтому рвы не прекращали копать и ночью. Утром на бреющем полете пронесся над головами немецкий истребитель, засыпая недорытые

рвы листовками: «Московские мальчишки, не мозольте пальчики, все равно наши таночки перейдут ваши ямочки».

Зачем ему нужен был этот Захаров, толстый, бочкообразный, школьный поэт и силач, с тупыми коровьими глазами, выражающими сонное превосходство над всеми? Он занимался в школьной спортивной секции штангой, поэтому считался сильнейшим в классе и даже ходил, растопырив руки, как ходят тяжелоатлеты, отягощенные мускулами.

– А ну поиграй бицепсами, мотоцикл. Покажи тур-де-тет.

– А ты, Сашенька, покажи силу, попробуй положить меня на лопатки, тогда и физиономию надувай.

– Ты сильнее меня? Да неужели?

Он воткнул лопату в землю, подошел к Захарову, толкнул его в плечо, принимая вызов к борьбе, и сразу обхватил его громоздкое тело. А оно было потно, рубашка скользнула будто по насаленной и неудобной для борьбы спине Захарова, он шумно засопел, железным обручем стискивал плечи Александра, потом, хекая горлом, сделал рывок, пытаясь кинуть Александра на землю, но споткнулся, должно быть, о комья глины и тяжело врезался спиной в землю, дыша кислым запахом нечистых зубов в лицо Александра, со всей силы придавившего его грудью. Захаров рванулся, с яростной попыткой освободиться, и, свирепея, отжимая от себя Александра обеими руками, коварно ударил его коленкой в пах, и Александр, едва не теряя сознание от боли, отпустил Захарова, сел на землю, сжавшись в комок, упираясь лбом в скре-

ценные руки, сдерживаясь, чтобы не застонать, а над головой вместе с самодовольным хохотком гудел басовитый голос Захарова:

– Что, Саша, увял? Скис, как мимоза? А? Поскользнулся, а ты случайно меня лопатками к земле прижал. Случайно, брат, случайно.

– Подожди, – шепотом выдавил Александр. – Удар запрещенный...

– Чего ждать-то, Саша? Ты очень уж из себя строишь. Не насмехайся надо мной. За дурака меня считаешь.

– Подожди, – повторил Александр и медленно разогнулся, поднятый с земли мстительной справедливостью, которая охолонула его всего. – Подойди ко мне, Захаров. Я хочу тебе сказать...

– Что сказать? Ну что? Опять бороться со мной будешь? А если я тебе что-нибудь сломаю – тогда что?

Вокруг стало безмолвно. Перестали врезаться в землю лопаты, их окружили темные фигуры одноклассников, они не вполне понимали, что происходит между Захаровым и Александром здесь, в неотрытом противотанковом рву, когда ясно было, что там, за Смоленском, немцы перешли в наступление и гул артиллерии не смолкал.

– Я хотел вот что тебе сказать, – проговорил Александр, всматриваясь в закачавшееся серым пятном лицо Захарова, и с неприятным хрипом, вырвавшимся из горла, выбросил кулак в это приблизившееся в темноте пятно, чувствуя, как

костяшки пальцев сжатого кулака врезались в острие чужих зубов и мутно слыша срывающийся вскрик:

– Ты! Ты! Кулаками?.. Драться хочешь?..

– Случайно, – сказал Александр, умеряя дрожание в голосе, видя, как две струйки потекли из ноздрей Захарова. – Случайно, Захаров. Может, извиниться? На колени встать?

– Слушай, ты!.. Я тебя изобью!

– Ну, давай, давай попробуем!

Их разняли.

Перед рассветом погромыхивание на западе стихло, но он проснулся от необычного постороннего вибрирующего звука и прислушался. Старая рига, где на соломе размещались на ночь замоскворецкие старшеклассники, была заполнена сонным дыханием, всхлипами, бредовым бормотанием, все еще спали, сваленные забытьем выбившихся из сил людей. А где-то на околице вкрадчиво работал мотор, вскоре желтый свет пополз по щелям риги, зазвенела дужка ведра – одинокая машина прошла по дороге ночной деревни, звук мотора удалился и стих. Потом яркий фиолетовый свет, как фейерверк из магния, ворвался в щели риги и на деревню начал накатывать рокот, все приближаясь, все усиливаясь. Сначала почудилось, что он шел с неба, распространяясь от низко летящих над деревней самолетов, но стала подрагивать земля, дужка на ведре задрезжала сильнее, и теперь можно было различить рев моторов, лязганье гусениц. И в риге слышались исполошенные голоса, кто-то крикнул спро-



сонок: «Ребята, наши танки отступают!» Вокруг зашуршала солома, задвигались тени подле закрытых на ночь ворот риги, они закрипели под натиском тел, несколько человек выскочили на улицу. Снова кто-то закричал: «Наши отступают!» И другой перепуганный голос вплелся в нарастающий снаружи железный скрежет: «Не наши, а немцы это!» – «Откуда же немцы?» – пискнул третий голос. Когда Александр бросился к воротам риги, там сгрудились все, выглядывая на околицу, откуда надвигались из ночи на деревню широкие силуэты танков, выбрасывая из выхлопных труб завывающиеся искорки в пышь дороги. Вновь с противоположной околицы взвилась с шипением и визгом ракета, залила синими сумерками всю деревню, колонну танков с фигурками людей, сидевших на броне, ржаное поле справа от дороги, ригу, столпившихся ребят. И Александр заметил среди непонимающих, растерянных лиц возбужденное лицо Захарова. Он стоял впереди остальных, затрудненно дышал, как давеча во время борьбы, озирался то на столпившихся за ним, то на танки, то на темнеющую опушку леса за ржаным полем и повторял одну и ту же фразу:

– Ребята, это немцы. Вот вам и стишки: «Московские мальчишки, не мозольте ваши пальчики...» Они возьмут нас в плен. Надо бежать. В лес. Через поле. Кто со мной – айда!

И по затравеневшему двору риги первым кинулся к ржаному полю, увлекая за собой человек десять; остальные топтались в нерешительности, переговариваясь неуверенно: «А

может, это наши? Может, отступают?»

В следующую минуту все удостоверились, что это не «наши». Захарову и его группе необходимо было проскочить метров сто по открытому месту, чтобы достичь поля, по которому надо было бежать к лесу, пригибаясь в высокой ржи. Но, вероятно, догорающая за домами ракета высветила скопившихся людей около ворот риги, и в тот миг, когда еще мерцал свет ракеты, а Захаров со своей группой миновал двор риги и подбегал к полю, длинные автоматные очереди запульсировали на танках, и догоняющие друг друга трассы, мелькнув, вонзились в кучку людей, веером хлестнули по стенам риги. Впереди кто то страшно закричал, застонал, как раненое животное; там, где только что бежала группа Захарова, никого не было, там сверкали трассы. Затем оборвался треск автоматных очередей, и только слышен был близкий лязг гусениц входивших в деревню танков.

– Ребята, в лес, в лес! – повторял Александр зачем-то шепотом и скачками, как в воде, бежал в густой ржи, бьющей по коленям, цепляющей, путающей ноги, но команда его была бессмысленной, отделенной от сознания, потому что все и он сам бежали по полю и без команды падали в сырую духоту ржи под проносившимися над головой трассами.

. А на опушке леса, задыхаясь, кашляя, хрипя, все разом повалились на землю, не в состоянии приподнять голову, оглянуться назад, на деревню, где уже горела рига, обстрелянная зажигательными пулями, и где извивами огоньков за-

нималась крыша ближней к ней избы, освещая отблескивающую броню танков посреди улицы.

В той деревне остался навсегда Захаров. Его убило автоматной очередью в грудь, когда он первым бросился к ржаному полю, самонадеянно веря в свою силу, в правильность своего решения. Группа ребят, бежавших вместе с ним, все же вырвалась в лес под автоматными очередями. Они упали в траву вблизи дороги, ползком добрались до ржаного поля, и погиб один Захаров, сильнейший из класса, видимо, не успевший либо пренебрегший вжаться в спасительную землю. Это была первая потеря, поразившая всех, и до Москвы добирались лесами, ночью заходя в притихшие деревни за пастишь хлебом, и то и дело кто-нибудь мучительно завязывал разговор о том, как сказать о гибели Захарова его матери.

Из всех добравшихся до Москвы замоскворецких ребят после войны Александр никого не встречал. Но почему в той деревне, где они без отдыха копали рвы, веря, что здесь не пройдут немецкие танки, погиб ни с кем не сравнимый по силе Захаров, играючи работавший лопатой? А норма была на каждого восемь кубометров. «Московские мальчишки, не мозольте пальчики...»

«Почему я не забываю Захарова, с которым соперничал и за день до его гибели боролся и даже дрался, ненавидя его хвастовство силой и, может быть, ревнуя, в конце концов, к Веронике? Случайность? И почему я чувствую тоску, вспоминая гибель Чудинова, будто в его смерти была моя вина?»

... В сопровождении офицеров полковник Зайцев ходил по платформе разрушенной недавним налетом «илов» маленькой немецкой станции. Осколки стекла от выбитых окон каменного вокзальчика хрустели под ногами, засыпав исковерканный, сорванный крупнокалиберными пулями указатель с закопченным названием «Хольздорф». На путях догорали, дымились пульмановские вагоны, в воздухе висела прогорклая гарь пожара, горячего металла, а за вокзалом повесенному бесконечно синело небо, и под этой счастливой синевой все было тихо, солнечно, мирно. Среди буйно цветущих яблоневых садов весело краснели черепичные крыши, и среди них уходила в солнечные облака готическая высота кирпичи, поблескивала отвесными, скатами кровли. В этом безбоя занятом утром городке полковник Зайцев решил разместить на ночь штаб своего полка и перед тем осмотреть железнодорожные пути после налета «илов» и сохранившийся вокзальчик, где его встретил Александр, «оккупировавший» довольно уютный зал ожидания для отдыха своего взвода разведки. В то время как полковник в окружении штабных офицеров молчаливо ходил вдоль платформы, по обыкновению грозно шевеля косматыми бровями, на путях показалась из-за сосновой рощи дрезина, и Александр, выругавшись про себя, понял, что сейчас не обойтись без полковничьего разноса. Это был его разведчик, воронежский отчаюга Серега, бывший артист цирка, Чудинов, раздобывший на разбомбленной станции дрезину и отпущенный им на два

часика в тыл, в немецкую деревню, где ночевали вчера. Чудинов, издали заприметив начальство, остановил дрезину на всякий случай метрах в двухстах от вокзала, акробатически ловко вспрыгнул на перрон и, небольшого роста, крепкий, точно дубок, заторопился к дальней двери вокзала, независимо размахивая огромной, как гусли, гитарой.

– Что такое? Что еще за музыкант? – вскинул лохматые брови полковник и не без едкого укора глянул на Александра. – Лейтенант, кто этот... с музыкой? Ваш? Почему на дрезине?

– Это мой разведчик, товарищ полковник, – ответил Александр, вытягиваясь, не понимая недовольства командира полка, позволявшего разведчикам некоторые вольности. – Дрезину обнаружили здесь, на станции. Я разрешил съездить разведчику в тыл.

– Как это так – разрешил съездить в тыл? По какой причине? Эй, разведчик! – зычно позвал полковник. – Подойдите ко мне! Быстро!

Чудинов бегом приблизился к командиру полка и, с особым шиком щелкнув каблуками раздобытых еще в Польше хромовых сапожек, выгнул по-строевому грудь, пряча гитару за спину, улыбаясь ясными наглыми глазами.

– Слушаю, товарищ полковник!

– Что у вас за спиной?

– Обыкновенная гитара, товарищ полковник.

– Откуда она?

– Немецкий трофей! На границе Пруссии взят в разбомбленном доме. Вчера музыкальный инструмент был одолжен мною хозяйству артиллеристов по причине получения командиром батареи второй «Отечественной». Сегодня инструмент взят обратно. Гитара то есть...

– Да зачем она вам, разведчику? Лишний предмет, неуставное имущество. Солдату и иголка тяжела. Верно? Нет?

– Никак нет. – Чудинов засмеялся, показывая прекрасные молодые зубы. – Помогает, товарищ полковник, если скучно когда.

– Ах, во-от, – протянул полковник и тоже засмеялся, неумело, похоже было, прокашлялся. – Помогает, значит? Веселый у тебя разведчик, лейтенант, – обратился он к Александру иным тоном и сурово оглядел Чудинова от лихо собранных в гармошку сапог до пилотки. – Что ж, пойдешь ко мне в ординарцы? Сержантское звание дам, на пузе ползать меньше придется. Так с музыкой тебя и возьму.

Нагло-светлые глаза Чудинова, не мигая, смотрели на полковника непорочно.

– Никак нет, товарищ полковник.

– Что «нет»?

И тут очертя голову вмещался Александр, спеша на спасение Чудинова, хоть и знал, что полковник терпеть не может и намека на возражение.

– Я не могу его отпустить, товарищ полковник. Это луч-

ший мой разведчик.

Полковник с неприятием вздернул брови.

– А мне лужен лучший ординарец, лейтенант. Не отдашь миром, возьму приказом. А то у меня не ординарец, а муха дохлая. Так пойдешь, разведчик?

– Не делайте этого, товарищ полковник, – повторил Александр, слыша свой упорный, неподчиняющийся голос и не без досады сознавая, что осложняет отношения со своевольным командиром полка. – Чудинов – прирожденный разведчик, – добавил он маловразумительный для полковника довод.

Офицеры, сопровождавшие полковника Зайцева, переминаясь с ноги на ногу, курили, глядели на тлеющие пультаны, деликатно не участвуя в разговоре.

– Ну, с-смотри, лейтенант, «языков» добывать будешь неважно, самого в ординарцы возьму, – проговорил круто полковник и, надвинув козырек фуражки на широкий лоб, двинулся вместе с офицерами к «виллисам», ожидавшим внизу, в тени вокзала.

«А стоило ли тогда задерживать у себя во взводе Чудинова, если через десять дней он погиб на правом берегу Шпрее? В ординарцах он бы выжил. Опять случайность? Чуть-чуть? Зависимость от одного сказанного слова? Оставались ли у него секунды подумать об этом перед смертью? Кто виноват? Я? Или – нет виновных?»

И теперь так выпукло помнился поздний закат в Белорус-

сии, переходящий в тихий медовый вечер, желтое солнце село за озерами, в вершинах берез и в воде плавал, сквозил нежный свет заката, а на той стороне, в осоке, упоенно стояли лягушки. Они, четверо разведчиков, лежали в траве и ждали полной темноты, чтобы двинуться в обход озер, за которыми начиналась немецкая передовая. В тот вечер особенно пахло свежестью смоченных росой трав, и в этой свежести терпко почувствовался запах махорочного дымка.

– Чудинов, вы курите?

– Никак нет. – Чудинов шепотом засмеялся.

– В таком случае – это курю я.

– Виноват, вроде замечтался. Утки летели. Припозднились. Должно, неподалеку на озера сели. Кричат... Эх, хорошо! Выводки подросли, а сейчас им раздолье. В осоке играют и шелоктят.

– Ясно. Играют и шелоктят... Кто вы – охотник или циркач?

– И то, и другое мое.

– Ясно. А курить будете, когда вернемся.

Так или иначе, несмотря на то, что Чудинов нарушил святое установление разведчиков – в поиске не курить, ему приятен был этот разговор о каких-то подросших утиных выводках, которые играют в осоке и шелоктят, как приятна была его игра на гитаре, «если скучно когда», его хрипловатый голос звучал задушевно, и веселила его удалая пляска после удачного поиска, когда позволено было водки больше фрон-



товой нормы.

«Если бы я отпустил его в ординарцы к полковнику Зайцеву, он был бы жив. Но и Чудинов не хотел сам уходить из разведки. Если бы...»

... Если бы сержант Козырев не был сволочью и трусом, то не было бы столько безуспешных поисков зимой сорок третьего года на правом берегу Днепра, под хутором Макаровой. Всякий раз он возвращался из разведки ни с чем – разведка неизвестно почему обнаруживалась немцами на нейтральной полосе, под огнем приходилось отлеживаться и безрезультатно отходить назад, к своим траншеям. Причина неуспеха открылась однажды разведчиком Шматовым из козыревской группы, который выполз вперед левее сержанта и вдруг заметил, как из-за сугроба, где лежал Козырев, взметнулась в сумеречное небо граната и разорвалась перед боевым охранением немцев. Шматов, обескураженный, подполз к сержанту, прошептал: «Зачем?» И в это время из боевого охранения немцев резанули автоматные очереди, заработал ручной пулемет, стала оживать первая траншея, то там, то здесь засверкала вспышками выстрелов, после чего Козырев подал команду: «Отходить!» Шматов доложил Александру о несуразном поведении Козырева, которое могло быть произвольным, чему он, командир взвода, не придавал большого значения. Но подобные бессмысленные броски гранат на нейтралке повторились и в последующем поиске, причем отход на этот раз стоил жизни двум разведчикам. И тогда

Александр понял, что означают эти бессмысленные броски гранат на нейтралке, где все решает звериная бесшумность. Разрывы ручных гранат в безмолвии ничейной земли подымали молниеносную тревогу у немцев, опасующихся тихих ночных атак. Они незамедлительно открывали огонь, при котором продолжать разведку было невозможно, и оставалось одно: возвращаться назад. Здесь риск был ничтожным по сравнению с тем риском, с той неизвестностью, что караулила на каждом шагу за немецкой передовой, в чужом тылу. А Козыреву он верил. Тот был из свердловских студентов, немного говорил по-немецки, облик имел интеллигентный, чистый, ежедневно брился до тонкой бледности кожи, оставляя под чутким, играющим ноздрями носом аккуратные русые усики, любил трофейное оружие, носил парабеллум, немецкий кортик, дамский «вальтер» в набедренном кармане, руки были подвижные, гибкие, водку пил маленькими глотками, смакуя.

Взбешенный неудачными разведками Козырева, явно сломленного страхом, неодолимой боязнью идти в тыл к немцам, что стало очевидным, Александр после возвращения и доклада сержанта («немцы открыли огонь») позвал его в отдельный окоп вблизи землянки взвода и тут долго смотрел ему в заросшие инеем, обмершие от предчувствия глаза. И Александр ощутил, как всё холодеет у сержанта в груди, сжимаясь в ледяной комок, и мелькнула гневно вспыхнувшая мысль: «Он понимает, что мне известно о его гнусности,

и знает, что я расстреляю его за предательство...»

А побелевшее, как кость, лицо Козырева виделось словно сквозь завесу снежной пыли, отклонялось, отступало куда-то вглубь окопа, и конвульсивно прыгали его губы, потрескавшиеся до кровавых, подтеков. Внезапно Козырев ткнулся лбом в заледенелый бруствер, задохнулся, обтянутая полущубком спина его начала вздрагивать, и он застонал, умоляя:

– Не убивай меня... Я искуплю... Виноват я, под суд отдай... Искуплю я, искуплю...

Неизвестно, что стало с ним в штрафной роте, и судьба его не интересовала Александра, он мог простить своим разведчикам многое, кроме самого ненавистного ему – обмана и предательства.

Не хватило духа расстрелять его. И хорошо, что не обмарал рук. «Что владело мной? Жалость? Противоестественность убийства своего сержанта? Интересно: расстрелял бы он меня, если бы я оказался на его месте? Думаю, не колеблясь...»

И он вспомнил кольцо убитого немца, фатовски стягивающее мизинец Козырева. Это золотое кольцо увидел Александр после одной разведки, когда, усталые, довольные, сидели за врытым в землю столом в садике прифронтной деревни и уминали американскую тушенку.

– Что у тебя? – спросил Александр, указывая глазами на манерно оттопыренный мизинец Козырева. – Покажи-ка! Откуда у тебя трофейная хреновина? У «языка» снял? Не

забыл, мальчик, что полагается за подобные штуки?

– Оставь, лейтенант! Возле убитого фрица в траве нашел. Не имею права добро поднять? – произнес оскорбленно Козырев и воткнул ложку в банку с консервами, поджал мизинец, скрывая кольцо. – Придираешься ко мне. За что, лейтенант?

– Положи руку на стол, – приказал Александр, и, как только Козырев в замешательстве сунул руку на стол, он при общем одобрительном молчании сдернул кольцо с его пальца и, не раздумывая, швырнул далеко за плетень, в траву, добавил: – Надеюсь, теперь в траве ты его не найдешь.

«Не знаю почему, но то кольцо „языка“ убеждает, что, будь Козырев на моем месте, расстрелял бы, глазом не моргнув. Случайность – он не на моем месте. А мог быть. Я не расстрелял его – случайность. Жизнь и смерть на войне – может, закономерность? Слово „закономерность“ любил употреблять отец. Белый поезд... и отца нет. Закономерность? Меня не убило на войне. Закономерность? Кто-то охранял меня? Но кто „кто-то“? Есть ли этот „кто-то“ или „что-то“?»

«Откуда наплывают эти знакомые голоса?»

– Сапоги, что ль, завтра в разведку надеть? А они рваные.

– Другие у тебя есть?

– Хромовые. Но скрипят, гадюки, как на танцах. Демаскируют.

– Любитель ты сапог! Ну ровно второй Чудинов! Только ленив, ох, ленив, тебе хоть кол на голове теши – не поче-

шешься. Об обуви раньше волноваться надо, а не хахакать!

– Чего кипишь? Это мне волноваться? Холостой, значит – жена в тылах гулять не уйдет, а в разведку и босиком можно. А что будет после смерти – посмотрим. Интересно даже... с ангелочками побеседовать.

– Жить надо. Умереть и дурак сумеет, ангелочек.

– Верно-то верно, а этой точки никто не минует. Начхать мне на костлявую левой ноздрей: сегодня, завтра... Все в одной земле лежать будем.

– Ты вот что, костлявая задница! Закон законом, порядок порядком, а ты мне голову не морочь, чертово копыто! Над смертью не шуткуй, она этого не любит! Давай, дуй к старшине, добывай обувь, пока не поздно!

«Когда я слышал этот разговор? Кто с кем говорил? И почему я это вспомнил? Ах, да, да, вологодский счетовод Дедюхин не боялся „костлявую“, был абсолютно лишен страха, а в Польше погиб от шальной мины на нейтралке и... ушел с „ангелочками беседовать“. А парень был незаурядный. А кто был второй? Да, да, сержант Буров – воплощение строгости и порядка. Ведь на отдыхе это он говорил: „Отпускаю тебя, Чудинов, в деревню к девкам, но ежели ты у меня набедокуришь, я тя долгий срок буду перед носом держать. Понятно?“ – „Понятно“. – „Йодистая ты душа, Чудинов, ты что – рванул, пьян? Разведку вспрыскивали?“ – „Да ни в одном глазу“. – „Видал – миндал, оказывается, – ни в одном глазу! Трезв, как монашенка! Да я вас всех разгуляю, чертей, с ва-

шим шнапсом! То ты, то Дедюхин! Хвост не подымай! Оба оторви да брось! Подумать – занюханного ефрейтора приволокли! Ни в деревню, ни к девкам не отпускаю! И сам не иду! Сам себя наказываю!“

«И Дедюхин, и Чудинов погибли. И Бурова давно нет в живых. После Курской дуги. Разведчики вытащили его с нейтралки смертельно раненного разрывной пулей в живот.

Почему я вспоминаю одних убитых? Белый поезд умчал отца и многих, кого я знал. Повезло, не повезло? От судьбы не уйдешь? Так на роду написано? Все слышал за три года. Солдатское утешение. Когда мы не несли потери, мы чувствовали себя бессмертными. Смешно! А может быть, это высшая мудрость самосохранения? Но почему я дуцаю об этом?»

Матеря, у всех матеря... у всех глаза-то выплаканы.

«А чей это голос? Кто это сказал? О маме? Единственно, кого я люблю, – мама. Бедная моя! „Если человек на войне убедил себя, что его убьют, – пиши пропало“. Я вернулся, мама. Но, кажется, со мной произошла случайность. Нет, я не в госпитале. Что со мной? Но ведь война кончилась. Я в Москве. Ах вон оно что!..»

## Глава вторая

Он очнулся от дергающей боли в руке, приоткрыл глаза и сразу не понял, почему перед ним в полумраке на потолке кругло светится зеленоватое пятно. Потом увидел перед диваном торшер в грушевидном колпаке, накрытом зеленой материей, затеняющей незнакомую комнату.

По-ночному наглухо были задернуты шторы, неясно темнела, мебель, письменный стол с бархатными креслами, резные шкафчики, конторка у стены, книжные полки. Там отсвечивали бронзовые и мраморные статуэтки меж книг, высокие вазы, висели устрашающего вида маски вперемежку с множеством фотографий, где можно было разобрать Эйфелеву башню, ряды стеклянных небоскребов, группы лиц на сцене театра, засыпанной цветами, на террасе, в шезлонгах, на берегу моря. Чужая эта комната, пряно-шерстяной запах восточного паласа, два по-музейному развешанных на нем старинных ружья – необычность комнаты, ее мебели точно в туманце нереальности продолжала бредовый сон, и, морща лоб, он стал мучительно напрягать память – где он сейчас, как он попал сюда.

И только ощутив забинтованную руку, жгущую болью, вдруг вспомнил все, что произошло ночью, как на машине мчались из Верхушкова в Москву, как возле кинотеатра «Ударник» перед мостом раздались милицейские свист-

ки орудовца, должно быть, заметившего преувеличение скорости, как Кирюшкин застучал в кабину, заорал Билибину: «Не останавливай! Поворачивай к Третьяковке и – переулками!» И здесь в плохо освещенных переулках машина попала правым колесом в какую-то яму, вероятно, начатых дорожных работ, и кузов так трянуло на скорости, что всех сорвало с мест, побросало к бортам, и Александра с силой ударило виском и рукой о железную опору, к которой крепился брезент. От раскаленной боли в раненой руке он задохнулся тошнотной спазмой и, почти теряя сознание, лег спиной на трясущийся пол кузова, успев подложить здоровую руку под замутненную голову. Он ощущал, как повязка набухла от крови и порывами подкатывала рвота. Потом внезапная тишина, поплыли чьи-то голоса из тьмы, появилась какая-то стена дома, открытое настежь парадное, лестница с перилами, по которой ему помогали подыматься, кажется, Кирюшкин и Твердохлебов, едва не несший его на руках, а он чувствовал тискающую горло дурноту, головокружение и не мог перебороть слабость в ногах, не было сил сказать, пошутить: «Да что вы, ребята, со мной как с младенцем? Пройдет, не в первый раз!» В последнюю минуту показалось, что он летит в черный колодец между лестниц, а наверху к перилам приблизилось измененное страхом лицо Нинель, а когда внизу он лежал, умирая, разбившись о каменный пол, его настиг ее вскрикнувший голос: «Саша! Саша!..»

– Саша...



«Это она... это ее голос... Или мне мерещится? Так где же я? Кирюшкин и Твердохлебов вели меня по лестнице в эту комнату? И почему я помню померкшее в ужасе лицо Нинель?»

– Саша, – снова позвал ее голос, и тогда он повернул голову на подушке и в углу комнаты справа от письменного стола, под незажженной настольной лампой увидел темную фигурку, глубоко ушедшую в кресло. Она полулежала, откинувшись спиной, казалось, в невероятной усталости и отсюда, из полумрака смотрела на него, безжизненно вытянув руки на подлокотники.

– Где я? – шепотом спросил Александр, еще не веря, что в этой незнакомой комнате в кресле сидит Нинель, а он лежит на чужом диване, замерзая от знобящей боли.

Она встала, подошла к дивану, села на краешек постели, овеяв миндальным ветерком то ли одежды, то ли духов, взяла легкими пальцами его правую руку, прижала ее к подбородку, сказала:

– Саша, ты у меня... Слава Господу, ты жив, – и как-то странно поцеловала ему ладонь. – Я боялась, что ты уже не очнешься... Я сидела и смотрела на тебя, и мне было страшно. Ты бредил и все время повторял слово «случайность»... Наверно, тебя мучила война.

Он высвободил свою горячую руку из льда ее пальцев, высвободил с неловкостью и даже раздражением от этого неестественного поцелуя в ладонь, оттого, что она слышала

его бред и, конечно, непотребные солдатские выражения, оттого, что был раздет и лежал на чистой чужой простыне, под хорошим чужим одеялом, обессиленный, мучимый непроходящей болью в предплечье.

– Нинель, – выговорил он, глядя не в лицо ей, а на зеленое пятно торшера на потолке. – Нинель... Плохо помню... Куда я летел? В какую пустоту... И кто меня раздевал – ты?

Ее губы изогнулись в улыбке.

– Раздевал тебя Эльдар... и даже для дезинфекции обтер всего спиртом. И наложил хороший бинт. Он ведь на войне был санитаром. Я ему только помогала.

– Нинель, у тебя что-то новое в причёске, – сказал он, не зная зачем. – Ты постриглась. Нет длинных волос.

– Тебе не нравится? Отпустить опять волосы? Я могу...

– Как хочешь.

– Посмотри на меня, я так хочу, – попросила она. – У тебя серые глаза, и я люблю, когда ты смотришь... Но, по-моему, ты стесняешься. Какой ты еще, Саша... Офицер разведки, и вдруг такой... неразвращенный.

Она отодвинула одеяло и потерлась носом о его грудь; ее пахнувшие сладким теплом волосы шелковисто мазнули его по шее, а он, прижимаясь губами к этим ласкающим волосам, чувствуя, что его неудержимо тянет к ней, проговорил:

– Как я оказался у тебя?..

– Все было странно и страшно. Я не трусиха, но все-таки... никогда такого не было.

– Как я попал к тебе?

– Часа в три ночи позвонил твой друг Кирюшкин и очень интеллигентно, просто по-рыцарски спросил, не приехал ли мой отец из командировки. А когда я ответила, что нет, сказал, что на вас ночью напала какая-то вооруженная банда, была драка со стрельбой, ты ранен, домой тебе нельзя, потому что больная мать сойдет с ума, а в больнице заинтересуются стрельбой и ранением, и все осложнится. И он сразу же попросил для тебя убежища на несколько дней. Он так прямо и сказал: «Я прошу для Александра убежища». Потом они привезли тебя. Я, конечно, чувствую, что произошло что-то необычное. Прости меня, но Кирюшкина и его ребят все называют бандой... состоящей из фронтовиков. Их боятся во всем Замоскворечье. Что за драка? Кто стрелял? Это невероятно!

– Что сказал Кирюшкин?

– Сказал, что они будут приходить каждый день, приносить продукты, найдут врача. И когда уходил, оставил на столе кучу денег. Для тебя. На всякий случай, как он сказал. – Она отклонилась, обеими руками отвела назад загордившие щеки волосы, устремив взгляд на зеленый кружок на потолке, куда, вспоминая хмурясь, смотрел Александр. – Что тебя мучает, Саша? – спросила она с осторожностью немного погодя. – О чем ты думаешь?

– О банде Кирюшкина, как ты сказала.

– Поверь, Саша, замоскворецкие голубятники и продажа

голубей...

Он сказал, не обращаясь к ней:

– Называй, как хочешь, но я тоже голубятник и, значит, вхожу в банду. Кирюшкин – настоящий парень.

– Я тебя не осуждаю, Саша.

Он через силу сказал:

– Нинель... Лучше ошибаться с Платоном, чем судить правильно с другими. На всю жизнь запомнил фразу моего отца.

– Зачем тебе старая цитата?

– Война не кончилась. А если уж... тогда так: лучше ошибаться с фронтowymi ребятами, чем судить правильно с тыловой сволочью. Значит, я в кабинете твоего отца? Кто он?

– Артист. Очень известный. Почему ты так смотришь? Какое сейчас это имеет значение?

– Да нет. Я в твоей квартире.

– Он на гастролях с театром в Красноярске. Я хотела, чтобы ты был в моей комнате, но Кирюшкин осмотрел квартиру и приказал своим ребятам, чтобы тебя положили здесь, подальше от входной двери. Он сказал мне, так будет подальше от посторонних глаз. Ответь, Саша, прямо – тебе что-то грозит после этой драки?

Со стиснутыми зубами Александр взглянул на Нинель наигранно открыто:

– Не надо об этом. И зачем тебе знать это дурацкое мужское дело? Оно не для тебя. А знаешь, у тебя такие сказочные

нежные губы... Можно? – сказал он, стараясь удержать голос на шутиливой ноте, и не без усилия приподнялся на локте, не целуя, а только косвенно прислоняясь к уголку ее рта, после чего упал затылком на подушку, приближая глаза Нинель взглядом.

– Как тебе помочь? – спросила она, наклоняясь к нему. – Я чувствую, что тебе больно. Тебе не по себе? Но понимаю... вида ты не хочешь показывать. И все-таки, как же быть с врачом? Где его нам раздобыть? Я видела твои раны. Это серьезно. Тебя знобит, да?

И, стараясь удержать подобие бодрости, он ответил ей несомневающимся тоном:

– Насчет врача я что-нибудь придумаю, как только придут ребята. Знаешь, Нинель, пришла идея. Неожиданная, правда, но полезная. Я не пил водку после Сталинграда. Даже отвык от ее запаха. У тебя есть что-нибудь крепкое? Ты, кажется, сказала – спирт?

– Да, есть и водка. Ты хочешь, Саша?

– Ну, может быть, стоит побороться с ознобом. Зато мы устроим маленькую пирушку в честь того, что у меня появился ангел-хранитель. Как ты смотришь на то, если мы гульнем немного? И я произнесу тост за то, что лучшего в мире ангела-хранителя мне не надо.

Нинель ответила, понимая, что нужно улыбнуться ему:

– А я буду молчать. Надо быть безгласным в добром деле. Она вышла, а он, глотая стон, взглядом проводил ее до

двери. Он сознавал, что она чувствует его фальшивое бодрячество и, ни словом не возражая ему, не хочет создавать обстановку беспокойства, хотя и было неясно ей, что произошло, как случилась эта драка и почему неприятный Кирюшкин привез его к ней, прося об убежище.

«Дорогая мама, – вертелось в его голове, все время повторяясь нескончаемой каруселью. – Дорогая мама, дорогая мама... Не мог зайти и предупредить... и даже позвонить. Знакомые фронтовые ребята, которых встретил на вокзале, предложили с ними поехать на несколько дней в Ташкент за продуктами... Как я могу так глупо обманывать ее? Чушь! Глупость! Идиотизм! Но что делать? Как успокоить ее? Если она узнает, что случилось со мной, она не выдержит. Дорогая мама, дорогая мама... у меня есть деньги, я приеду с продуктами, привезу фрукты... Неужели я могу так врать матери? Но ничего не могу придумать, не могу... Разумно ли позвонить отсюда, из квартиры Нинель, сказать, что я звоню с первой станции от Москвы... Что со мной все в порядке...»

Резкий телефонный звонок взорвал тишину, пронзительной иглой впился в раненое предплечье, и Александр дернулся даже от боли. «Неужели звук имеет болевое свойство? Безумие, безумие. Я подумал, разумно ли позвонить, если бы кто-то меня услышал. Кто это звонит? Безумие так, что ли, начинается?»

А телефон стоял на письменном столе и металлическими жалами звонков непрерывно пропарывал полумрак комна-

ты, а Александр не вставал, отдавая себе отчет в том, что не сумеет без физических усилий это сделать, что он в чужой квартире, что его ответ по телефону может стать рискованным.

– Нинель! – позвал он как спасение, и она вошла быстро, сняла трубку, и успокоительным лекарством потек ее голос.

– Да, Эльдар, думаю, сейчас не надо. Посмотрите на часы. Еще ночь. Лучше утром. Я сейчас спрошу. – Она зачем-то прикрыла ладонью трубку, поглядела на Александра. – Эльдар вместе с Романом хотят прийти сейчас. Поразительные ребята. Наверное, лучше утром.

– Да, – сказал Александр. – Они мне очень нужны.

– Мы ждем вас утром, – сказала она, не отводя темных смеющихся глаз от Александра. – Приходите, неисправимые, закупоренные мальчики.

– Почему ты называешь их закупоренными мальчиками? Что это значит? – спросил Александр, облегченно переводя дыхание после разговора Нинель по телефону: необъяснимо было, но он боялся другого звонка, связанного то ли с матерью, то ли с Кирюшкиным, то ли с тем проклятым Верхушковым.

– И ты, Саша, тоже закупоренный, – объявила Нинель шутя. – Я сейчас вернусь, и ты узнаешь, что это значит.

Все, что Нинель расставила на столике под торшером, – бутылка еще довоенной водки, две рюмки, бутерброды с колбасой, хрустальная сахарница, изящные ложечки, фарфоро-

вые чашки для кофе – все выглядело не в меру роскошно, гостеприимно, напоминало Александру что-то довоенное, домашнее, праздничное. Но есть ему не только не хотелось, наоборот, вид еды был неприятен. Она же пододвинула кресло к дивану, присела, подперла пальцем подбородок, спросила:

– Угодила или нет?

Этот беспокойный телефонный звонок и прервавший его не совсем серьезный тон Нинель не давали повода ни для жалости, ни для сочувствующего вздыхания и оханья – правда, он не знал: способна ли она на это?

– У меня дурацкая роль, – сказал Александр, посмеиваясь. – Я, как кавалер, что называется, должен ухаживать за дамой, но кавалер после дуэли находится в не очень сильной позиции, поэтому просит снизить. Всю вину беру на себя.

Он, преодолевая боль, отдающую в плечо, наполнил рюмки, проговорил с озорной беспечностью: «Я за красоту», – и чокнулся с Нинель, которая потянулась к нему улыбающимися губами, прошептала после того, как он поцеловал ее:

– Так хорошо. Я люблю ритуалы.

Они выпили, и он сразу же зажег папиросу, жадно затянулся, чувствуя головокружение и от забытого огонька водки, и от папиросы.

Она спросила, поддевая его:

– Это вы так пили на войне? И вытирались рукавом шинели? А все же тебе надо поесть, несмотря на фронтовые традиции.



– Пока не хочу. Так ответь, пожалуйста, мой ангел-хранитель, почему мы все закупоренные?

– Почему? Вы закупорены войной, каким-то сумасшедшим фронтовым братством, убийством людей, не обижайся, пожалуйста. И ненавистью ко всем тыловикам. Так это, Саша?

– Убийством?

– Разве война – это не убийство? Вы огрубели, очерствели, стали жестокими. Скажи, Саша, зачем ты носишь с собой пистолет? Ты привез его с фронта? Я обнаружила его в заднем кармане твоих брюк. Я подержала его в руках, и стало как-то жутко. Черный, пахнувший порохом, какой-то горькой гадостью... Ты тоже закупорен войной. Ну зачем тебе пистолет, зачем? Что? Болит? – перебила она себя, и необычно плотные восточные ресницы ее раздвинулись тревожно. – Рана?

Он молчал, слушая ее. Знобящий холодок стягивал лицо, и он на миг ощутил его болезненно застывшим.

– Налей мне еще, – сказал он пасмурно, ненавидя себя за это, а когда она посмотрела на него с кротким соучастием, добавил тоном иронического приказа: – Налей и себе, мудрый ангел-хранитель. Без тебя я не могу. Выпьем и помолчим немного. Просто помолчим. У тебя рука удивительно нежная...

И, пьянея от второй рюмки, он взял ее согревшиеся пальцы, откинулся на подушку, закрыв глаза с облегчением от-

пускающей боли, подумал одно и то же неотвязчивое, что проходило в его голове как обманчивое спасение, ложное оправдание перед матерью:

«Дорогая мама, я вернусь через неделю, не беспокойся, прошу тебя, со мной все будет в порядке, я ведь офицер, привык к передвижениям. Милая мама, ведь это для меня пустяки...»

«Какая легкомысленная глупость! Какие идиотские слова лезут в голову! – выругал он себя. – Если задета кость или крупные сосуды, рана будет заживать больше месяца. Это я хорошо знаю по госпиталю. Но как быть? Что придумать? „Милая мама, ведь это для меня пустяки!“ Вру матери, скрываюсь от милиции, лежу вот на этом диване, в чужой квартире, в кабинете отца Нинель... Что со мной произошло? Голуби, пожар, яблоневый сад, луна, фонарики в чердачном окне. Потом в Эльдара и в меня стреляли, и я стрелял. Случайность? Мог ли я не стрелять? Что ж. Я стрелял почти инстинктивно. Но что командовало мной? Неужели все, что я делаю, подчинено случайности? И жизнь моя? И Кирюшкин, и эта комната, и Нинель? Нет, это не бред, я ясно все понимаю...»

Он поразился тому, что вновь подумал о случайности жизни, и, тесно сжимая пальцы Нинель, проговорил с нетвердостью в голосе:

– Скажи... ты можешь поверить, что я способен убить человека после войны?

– Странный твой вопрос относится к разряду «милые глупости», – сказала она несерьезно.

– Почему?

– Потому, что ты многого не умеешь... даже целоваться. В тебе еще много чего-то такого, что я не пойму. Ты огрубевший интеллигентный парень, а дальше – загадка.

Он открыл глаза, неподвижно и долго глядел не на нее, а на зеленый кружок на потолке, она же наклонилась к нему, и черный блеск ее улыбающихся глаз коснулся его зрачков, и он утонул, поплыл в глубине, а губы ее были так осторожны скользкой ласковостью, так нежно отдавались ему, что он внезапно со страхом подумал, что это тоже случайность, как и вся прошлая ночь, настигшая его, что он готов покориться этой женщине во всем, потому что она загадка, которую он вряд ли разгадает, и он проговорил пересохшим голосом:

– Стоит ли разгадывать меня? Все просто.

– Нет, милый, – сказала она на одном дыхании. – Ты не такой уж простой парень. Пока ты – запертый ларчик. Ты даже когда целуешь меня, то думаешь о чем-то.

– Просто у тебя удивительные губы. Иногда становится не по себе. Кажется, что и губы, и вся ты – какой-то мираж. Увиделось и исчезло.

Она показалась тогда на вечере изломанной, капризной, чересчур приковывающей к себе внимание своей высокой фигурой, облитой, как лаком, черным платьем, безмятежной плавностью речи, чернотой ресниц, похожих на завесы, си-

дела на диване, закинув ногу на ногу, пила вино, держа сигарету на отлете, танцевала только два раза, с Эльдаром и Романом, как бы снисходительно уступая их остроумию, и, мнилось, была равнодушна ко всей молодой компании («Чайльд Гарольд в юбке»), присутствуя здесь только из-за школьного знакомства с Людмилой.

– Случайность. – Он взял ее длинную кисть, медленно провел ею по губам. – Ты никогда не думала об этом? Чуть-чуть – и жизнь, чуть-чуть – и смерть. На войне я однажды подумал: почти всем оставшимся в живых подарена счастливая случайность. И мне в том числе. – Он поцеловал ее руку и положил ее себе на лоб. – А потом после войны: некая принцесса села на диван рядом...

– Нет, Саша, – сказала она, разглаживая пальцем его влажный лоб, который выражал сейчас то, что, видимо, мучило его и в бреду. – А ты никогда не думал, что, может быть, где-то там уже написан конспект нашей жизни и его нельзя поправить? Ластиком орфографические ошибки и запятые не сотрешь. И ничего не сдуешь с чужого конспекта. Как на экзамене.

– Где там? – Он проследил за бабочкоподобным взмахом ее ресниц, направленных к потолку, но глаза ее заискрились озорным задором, желая свести разговор в шутку. – Ты веришь? – спросил он серьезно. – Как Эльдар или Роман?..

– Ох, опять экзамены! Ведь я только недавно сдала историю искусств. Знаешь, что такое «религио» по-латински?

Так вот, слушай, необразованный офицер разведки, и учишься у образованнейшей студентки. «Религио» в переводе – добросовестность. Нет, я не религиозна, потому что не очень благочестива.

Он сказал изменившимся голосом:

– Полежи со мной. Я буду благочестивым.

– Не хочу.

– Что ты не хочешь?

– Не хочу, чтобы ты был благочестивым. У тебя болит рука, Саша, а мы можем случайно ее задеть, и я буду виноватой.

– Случайно задеть руку? Пустяки же. Случайность уже произошла. Полежи со мной сбоку, и мне будет хорошо.

– Я не хочу сбоку. Я хочу, как тогда. И буду обнимать тихонько-тихонько. Не будем гасить свет. Мне хочется смотреть на тебя.

Она раздевалась быстро, и, сдергивая платье через голову, слегка испортила свою новую прическу, и, подняв руки, показывая подмышки, стала поправлять волосы, глядя на него с бесстыдно-виноватой улыбкой, а он, с трудом подавляя стесненность, смотрел на нее, тоже улыбаясь от неловкости, и, ослепленный тонкими изгибами ее сильного тела, едва сказал с затуманенной головой:

– Ну, иди же ко мне.

– Ты хочешь, чтобы я была с тобой? – ответила она уклончиво-капризно и тут же подошла к нему, откинула одеяло, наклонилась близко, обдавая сладковато-пряным запахом.

Справа налево провела прохладными грудями по его груди, отчего соски ее трогательно напряглись; он, замирая, почувствовал это, потом она осторожно легла, смеясь глазами ему в глаза.

– Мне хочется смотреть на тебя. Странно: когда все идет к концу, ты закрываешь глаза и стискиваешь зубы. Тогда я очень люблю тебя и тоже стискиваю зубы. А ты их целуешь. Это нежно, когда вместе.

– Ты так хочешь?

– Да. А ты как? Надо, чтобы было тебе удобно и не больно руке.

– Мне хорошо, когда я близко вижу твои глаза.

– Я ненавижу слово «отдаваться». Это из дурацких французских романов девятнадцатого века. Тошнит от этих фраз: «Она вскрикнула „ах!“ – и отдалась ему». Невыносимо смешно! Ты не торопись. Мы будем брать друг друга медленно-медленно, нежно-нежно. И я тебе не дам отдыхать. Пока мы не обессилеем, не уснем от усталости. Ты согласен на такую любовницу... или жену?

– Любовницу или жену? – повторил он с запинкой. – Ты знаешь, Нинель, я не думал об этом. А ты?

– Мне просто не страшно быть с тобой, милый ты, закупоренный парень. А в жены я не гожусь. Если из меня выйдет актриса, то это сплошное кривлянье и верчение хвостом у зеркала в гримерной перед тем, как выйти на сцену или съёмочную площадку. Муж из тебя, мне кажется, тоже не полу-

чится. О чем мы говорим? Все равно сейчас я твоя любовница. И я хочу, чтобы ты слушался меня. Можно, я поцелую тебя первой? Ведь ты еще целуешься грубо. Как со своими фронтовыми Цирцеями.

В ту минуту, когда оба они лежали обессиленные, в изнеможении последнего телесного движения, а она еще слабо вздрагивала, касаясь зубами его зубов, сквозь которые он прерывисто выравнивал дыхание, он вдруг почувствовал вместе с жалостью к ней какую-то оглушающую недействительность того, что происходит. Что это было? Продолжение беспамятства, носившего его на своих черных крыльях несколько часов после дороги из Верхушкова? Нет, все было реально, все ощутимо и все предметно проступало в комнате. Рассвет просачивался сквозь розово светлеющие шторы, и лицо Нинель, ее губы, ее шея были так близко от него, ее влажное тело приникло к его телу с такой нежной отрешенностью, что он не мог разжать руки и отпустить ее лечь рядом, чтобы отдохнуть немного от того, что она тихими ласками разжигала в нем. Но во всем, что происходило с ними, было нечто обманчивое, ложно скоротечное, которое должно неповторимо исчезнуть, как и его появление здесь, в чужой квартире. Его главное невезение за всю войну случилось все-таки, и он чувствовал это по сладковатому запаху крови или сукровицы от бинтов, по тупой дергающей боли. Однако не боль тревожила его, а этот знакомый запах подмокших бинтов, который чувствовала, конечно, и она, Нинель.

– Давай полежим, подумаем, сколько лет я буду любить тебя, – выговорил Александр, пытаясь рыцарски пошутить. – Летом в этих случаях помогает кукушка. Как прекрасно лежать где-нибудь на поляне и слушать отсчет. Как ты относишься к кукушкам, Нинель?

– Нам чуть-чуть надо заснуть, – сказала Нинель и, несильно прижавшись, легла возле на краю дивана. – А потом кукушки, соловьи и воробьи... и лягушки, если ты хочешь.

– Согласен, – ответил он и погладил ее плечо. – Ты не чувствуешь запах крови от бинтов?

Она помолчала, сдвигая ровные брови.

– Ты терпишь – у тебя болит. Может быть, мне промыть рану и сделать новую перевязку? Как же тебе помочь?

– Ты не сможешь мне помочь, – успокоил он и солгал: – По-моему, меня не очень серьезно задело. Утром придут ребята, и надо что-нибудь придумать с доктором. Знаешь, а я еще бы немного выпил водки. Я не пил водку со сталинградских степей. И только сейчас...



## Глава третья

В одиннадцатом часу утра появились Эльдар и Роман, заглянули в комнату, прокричали, будто сговорившись изображать безбурность жизни: «Неслыханный привет!» – и тотчас зашумели, загремели на кухне, вероятно, выкладывая на стол какие-то банки, затем потолкались в дверях и вошли, сопровождаемые Нинель. Эльдар, оглядывая кабинет, воскликнул в беспредельном восторге:

– О, Саша! Ты устроился, как падишах! – и положил на письменный стол большой пакет, объясняя: – Здесь бинты, вата и йод. Обшастал все аптеки Москвы – пусто, как в Аравийской пустыне. Достал у одной знакомой сестры-хозяйки в госпитале на Сретенке. А на кухне – банки с американской тушенкой и колбасой. Приобретены у знакомых спекулянтов.

– Наш Эльдар развил несусветную деятельность, – сказал Роман, пощипывая рыжеватую бородку и конфузливо, исподлобья наблюдая Александра. – Вид у тебя не так чтобы очень и не очень чтоб так, – прибавил он с неумелостью человека, не привыкшего говорить утешения и остроты. – Небрит вот только. Как рука? Сегодня притащим к тебе врача. Ищем надежного эскулапа, а это непростое дело.

– Никакого эскулапа искать не надо, – возразил Александр. – Есть один военврач, которому я верю. Он лечил мою

мать. Михаил Михайлович Яблочков. Работает в госпитале на Чистых прудах. Садитесь, ребята, где кому удобнее. Нинель, я стал ни с того ни с сего командовать у тебя в доме. – Его глаза попросили у нее извинения, но в них была не улыбка, а сухой малярийный блеск, какой бывает при повышенной температуре, и говорил он быстрее обычного, неожиданно обрадованный и возбужденный приходом товарищей. – Нинель, дай, пожалуйста, чистую рюмку Роману и стакан чаю Эльдару, он ничего крепкого не пьет.

Тонконосенький Эльдар, скованно ворочая забинтованной, как при ангине, шеей, тряхнув длинными волосами, нырнул спиной в мягкое лоно кресла, вложил пальцы меж пальцев, с веселой подозрительностью разглядывая Александра. По-видимому, он «созревал» произнести нечто цветистое, дабы создать у Александра хорошее расположение духа, но галантно обратился к Нинель, подняв брови не без вопросительного ожидания:

– Он считает, что мой национальный напиток – чай. Политическая ошибка. Мой напиток – пиво. Поэтому я всегда нахожусь на обочине счастья. Роман употребляет водку. Но сейчас лично я не хочу ничего, слава Аллаху и луноликой Нинель!

– Очень талантливая трепотня, – сказала Нинель.

– Я тоже не совсем хочу, – буркнул Роман, окая, и поднес стул к дивану скромно; безресничные, обнаженные его веки были болезненно красноваты, красноватыми показались

и белки, как если бы он не спал ночью ни часу. – С раннего утра был на Дубининском, – заговорил он размеренно. – Сегодня выходной, рынок, как сельдей в бочке, но ни одного лесиковца. Только, говорят, раз шмыгнул Гошка Летучая мышь и исчез. У них – полное затишье. Новость из Верхушково такая. Лесик отвез дядька в районную больницу.

– Жив? – спросил зябнущими губами Александр, впервые за эти военные годы надеясь на счастливую неверность руки, на промах.

– Еще бы сантиметр – и он пробил бы горло Эльдару, – сказал Роман, и его лицо, все в шрамах, изуродованное, всегда чуть застенчивое, приняло жесткое выражение. – Дурак дядек Лесика мог пальнуть в воздух для устрашения, а он открыл настоящую войну. И получил сполна.

– Сполна? – повторил Александр вполголоса. – Значит, ты уверен или знаешь?

– Могу только предположить. Но слушай, что скажу, Саша, – бодливо качнул головой Роман. – Если бы я был в своем танке в этом содомском садике, когда дядек из двухстволки открыл огонь на поражение, то развернул бы семидесятишестимиллиметровку и разворотил бы весь этот притон с его домом и сараем – вдрызг!

Его лицо стало багровым и, по обыкновению, виноватым, он принялся пощипывать бородку, углубленный в самого себя, в то же время из-под припухлых красных век пытливо взглядывая синими блестками на Александра.

– А как же твое непротивление? Я помню, что ты говорил недавно.

– Руки Господа над их руками... – часть десятого стиха сорок восьмой главы Корана, – произнес скороговоркой Эльдар, обхватив пальцами бинт на горле. – «Пришла помощь...» – первый и второй стихи двадцать седьмой главы... – Он воздел руки к потолку. – Попал бы я в рай?

Роман с тоскливой неподатливостью в голосе заговорил:

– Саша, меня с войны мучает одна штука: высшее право убивать есть высшее бесправие. Это видел на каждом шагу. Но кто найдет разницу между ними? Об этом я думал сегодня ночью. Мне ли судить и указывать меру и порядок? Мне, что ли, Бог знамение подал, что у меня истина? А может, истина в душе, ее надо самому открыть. Можно ли научить истине?

– Ты заумно говоришь, Роман, – выговорил Александр, разделяя слова. – Я святым после войны не стал. Но то, что меня ранят после войны в какой-то деревне под Москвой... ведь еще за пять секунд до этого у меня и в голове не было.

И неожиданно почувствовал спазму злых слез в горле, сбивших голос. Справляясь с собой, он не без напряжения рассмеялся:

– Вышло так, Роман, что я – человек рефлекса, как учили нас в школе, а ты склонен к размышлению. А в общем – один черт! Здравомыслия здесь нет.

– А зломыслие кем послано? Кто ответит? Сатана? – вме-

шался Эльдар.

Да, эту проклятую случайность он даже не мог вообразить: глупейшее огнестрельное ранение в тылу, – и с жадным желанием, близким к отвращению, он подумал, что надо бы попросту выпить стакан водки, оглушить память, послать все к чертовой матери и забыться, чего так неодолимо и жгуче не испытывал на войне после сталинградских степей. Когда же мелькнуло это желание забыться, приступ унизительно-го стыда перед собственной слабостью сдававших нервишек сдержал его на минуту. Но потом он все же взял бутылку, налил водки себе и Роману, чокнулся с ним. Сказал:

– К черту! Что будет, то и будет. Бросаться в сладостный плач не мужское дело.

И выпил, гадливо поморщась, откинулся спиной на подушку и тут же встретился, со взглядом Нинель, которая пристально смотрела на него иссиня-черными глазами, в них было одно: неужели случилось непоправимое?

– Саша, зачем? – выговорила она наконец. – Неужели ты в кого-то стрелял?

– Что «зачем»? И что «неужели»? – ответил он раздраженно.

– Ты убил человека?

– Я этого не знаю, – сказал он, еще более раздражаясь на требовательные вопросы Нинель, на эти ее ненужные «зачем» и «неужели», будто ответы его способны были что-либо объяснить и переменить. Ему казалось, что если он произне-

сет режущие, как металл, слова «я убил», то она возненавидит его за то, что он связан со смертью какого-то человека не на войне, а в мирной жизни, и он сам возненавидит себя за сверхглупую случайность, за неистребимый, выработанный войной инстинкт надавливать на спусковой крючок. – Возможно, – договорил он, не произнося главного слова, отдающего запахом железа и вонючей пороховой гари; этот запах смерти иногда наплывал в самые неподходящие моменты, далекие от войны: солнечным осенним утром, полным шуршащей листвы, в тупичке какого-нибудь переулка, в метро...

– Это нельзя представить, – с болью проговорила Нинель под вопрошающими взглядами Романа и Эльдара, опуская завесу ресниц, отчего на лоб собрались морщинки страдания. – Зачем вы принесли эту ужасную вест? И почему ты, Саша, говоришь, что это возможно?

Эльдар в скорбной озадаченности потеревил, огладил бинт на туго ворочающейся шее. Глубоко втянул тоненьким носом воздух и скромным голосом, звучавшим непогрешимой воспитанностью, спросил:

– О, темноокая Нинель, радость сердца моего, я позволю задать вам недостойный вашей мудрости вопрос, только не обижайтесь на меня. Почему вы нас не спрашиваете, как возможно в мирное время ранить из огнестрельного орудия Александра, лишив жизни руки, или меня, скажем к слову, не дохлого совсем ишака, которому хотели оторвать шею?

Нинель села в кресло перед письменным столом, опустила лицо в ладони и, померещилось, тихонько заплакала, не то в растерянности, не то в бессилии.

– Не пойму, не пойму! Вам не надоело убивать на фронте? И теперь вы стреляете друг в друга? Они были ваши враги? Фашисты? Вас же могут арестовать, посадить в тюрьму. Что вы наделали, глупые, закупоренные мальчишки!

Водка не принесла облегчения, которого ожидал Александр, лишь слабее стала боль в руке, точно обложили ее теплой ватой, а он хотел, чтобы наступило некое былое равновесие в самом себе, несомневающееся право защищать тех, кто был вместе с ним, право солдатского товарищества, и он сказал, поражаясь своей безжалостности:

– Плакать нет смысла, Нинель. Я не жалею о том, что сделал.

– Это страшно... – Она посмотрела на него блестящими отчаянием глазами. – Ты убил... или это... предположение? И тебя не страшит тюрьма, Саша?

– Никаких тут предположений. И ничего меня не страшит, – ответил помимо воли не очень вежливо Александр и, закрывая глаза, подумал, что его почему-то угнетающе мучают вопросы Нинель, ее испуг, ее отчаяние, как если бы она боялась пропасть вместе с ним и по вине его. – Ничего не страшит, – повторил Александр и запнулся. – Кроме одного...

– Чего именно, Саша?

Он промолчал.

Роман в состоянии конфузливой смущенности поиграл опасными синими губами, сказал:

– Отвечать будем все вместе, если что...

– Помолчи, Роман, – оборвал Александр. – Я терпеть не могу братских могил. Сражение, выигранное большой кровью, – это поражение. Мы еще не проиграли. И на этом закончим. Роман, налей мне еще малость водки! И себе. А то одному – скучно.

– Сейчас не хочу, Саша.

– А ты, Нинель?

– Тоже не хочу. И не могу.

– Налей-ка мне, Роман, – приказал Александр. – Пофронтовому грамм сто.

– Не надо бы, Саша. Кровотечение может начаться.

– Налей, налей.

Роман начал наливать ему водку, а рука не была твердой, горлышко бутылки дрожаще зазвенело о край стакана, обожженное лицо его стало малиновым. Он, пряча волнение, потупил глаза и отставил бутылку. Роман явно не договаривал всего до конца в присутствии Нинель, будто не забывая (этого не было тогда на вечере) о своем изуродованном лице, лягушачьеподобных руках, которые дрожью выдавали его смущение. «Совершенно чистый парень, просто святой», – подумал Александр, и то, что Роман, вовсе не будучи трезвенником, отказался от водки, а он, как бы не управляя



собственной волей, хотел оглушить себя алкоголем, что не делал даже после неудачной разведки, пожалуй, выглядело слабостью, открытым малодушием. И он проговорил с самоиздевкой:

– Конечно, водка говорит о малоумии. Что же, в одиночку пить не буду и я. – И, нахмуренный, переменяв ненавистный самому ернически-залихватский тон, заговорил негромко, оборотясь к Эльдару: – У меня к тебе личная просьба, Зайди к моей матери. Она живет на Первом Монетчиковом, дом пять, квартира три. Ее зовут Анна Павловна. Скажи ей... Надо придумать очень достоверную историю, а ты это сумеешь, Эльдар. Скажи ей, что я не успел зайти домой и очень виноват. Скажи, что мы зашли с тобой в буфет на вокзале, и я совершенно случайно встретил фронтового друга, который ехал из Иркутска за продуктами в Ташкент. Друг затащил меня в вагон и уговорил ехать вместе. Скажи, что деньги у меня есть. Кстати, Эльдар, здесь мало выдумки. Похожая история случилась весной. Только я не поехал. Передай матери записку, чтобы она не сомневалась. Хорошо бы мне, Нинель, карандаш и обрывок бумаги, если можно...

И, вспоминая о письме, текст которого складывался в его голове ночью, он стал искать другие слова, надеясь на вдохновение Эльдара в разговоре с матерью, своим пышным красноречием умеющего располагать к себе. Он наконец придумал текст записки, короткий и нежный: «Мамочка, милая, не волнуйся, я скоро вернусь. Александр». Но ко-

гда Нинель подала ему карандаш и листок бумаги, а он, перегнувшись к краю столика, написал эту записку, то обращение к матери показалось слишком детским, полностью открывающим Эльдару его, Александра, сентиментальность, и он быстро переписал записку, заменив «мамочка, милая» одним словом «мама».

Эльдар взял записку, деловито засунул ее в нагрудный карман курточки и, по-видимому, ободряя Александра, произнес театральным голосом:

– Владыки могут дать право гражданства людям, но не словам. Клянусь на Коране, я дам гражданство утешительным словам, и твоя аны забудет про беспокойство. Верь, я не снесу дурное яйцо, как дурная болтливая курица.

– Что значит аны? – спросил Александр. – Это мать, верно?

– Да, это мать, по-татарски. Аты – отец. Ты спас мою голову от дырочки, Саша. И ты для меня как отец, – продолжал Эльдар и, подобием поклона подчеркивая почтение младшего к старшему, смиренно клюнул носиком воздух, так что очки сползли. – Приказывай мне как младшему брату, я все выполню.

Александр поморщился.

– Прекрати сантименты, Эльдар! Какой, к черту, я тебе отец! Сделай то, что я тебя прошу, а не приказываю. Не надоели тебе приказы в войну? Чушь собачья!

– На войне я был только санитаром в полевом госпитале.

Это несерьезно. Нет, ты для меня как отец. Ты считай, как хочешь, я буду считать, как я хочу. Я все помню... «Неужели среди вас нет мужа праведного...» – восьмидесятый стих одиннадцатой главы Корана. Будем держать оборону, пока есть сухари...

– Мужа праведного, мужа праведного, – повторил Александр злоречиво. – Кто из нас муж праведный? Ты? Я? Роман? Аркадий? Ну, ты и Роман – может быть. С некоторыми допусками. Что касается меня, то ты забыл, что я нарушил твою любимую заповедь? Не убий, не убий... непротивление... Вот тебе и отец! Не смеши, Эльдар. Мне смеяться не очень приятно, при смехе отдает в руку. Ты понял меня? Солдат со скороспелым восторгом переводят в музыкальные команды.

«Что это за ерунда со мной? Температура, что ли, поднялась? Горячо во рту, ломит глаза, и хочется говорить, как в бреду, совсем не думая... Почему-то молчит Роман. И Нинель стоит у стены и молчит».

– Саша, зачем ты капаешь яд в мои уши? – заговорил Эльдар обиженно, но тут же задиристо повеселел. – Не смейся, чтоб не болела рука! Но была история вот такая. Католический монах, здоровый, как племенной бык, шел из костела по берегу Тибра, благословляя Господа, в Риме дело было, конечно. Навстречу пьяный хмырь, крепко, под булдой, в лохмотьях, кричит: «Не противляйся!» – и ляп монаха кулачищем в левое ухо. Монах опешил, вытаращил глаза и обалдел.

Тогда прохожий ляп его в правое ухо. Тут монах – не будь ослом – взревел, схватил под бока прохожего, поднял его в воздух, потряс, как мешок с «розами», внушил: «Мы не договаривались насчет того, что после удара в левую щеку я подставлю правую», – и швырнул булдака в Тибр. Как тебе эта история?

– Забавная история, Эльдар. Забавная... – смутно усмехнулся Александр. – А как ты, Роман, согласен с монахом? Подставил бы правую щеку? Как там в Библии?

«Для чего это спрашивать у Романа? Что это мне даст? Успокоение? Бред, что ли, опять начинается? Кажется, меня серьезно зацепило...»

Роман сидел, не сводя синих виноватых узковеких глаз с перебинтованного предплечья Александра, и похоже было, не слушал Эльдара, но сейчас же отозвался грустно: .

– В Священном Писании, помню, так: «Да не забудь солнце во гневе...» Есть еще и другое: «Око за око, зуб за зуб...» Что там говорить, Саша? «Да» и «нет» ходят рядом. Пьяному хмырю я бы тоже фронтон разгромил. Все в жизни спутано. Но дело не в этом...

– Дело не в этом, – повторил словно для самого себя Александр вслед за Романом. – Да, ты прав, все в жизни спутано. Зуб за зуб – солдатский закон. А высший закон – у святых. Не у нас.

– Ты хочешь оправдаться перед самим собой? – вдруг с остерегающей цепкостью спросил Роман, – Не хочешь ли ты

покаяться?

– Нет, не хочу, – отверг Александр. – Да это и бессмысленно. Просто хочу знать, что думаешь ты?

Роман замялся, скосил глаза на Эльдара, но Эльдар, лишь ушами участвуя в этом разговоре, бережно протирал полую своей курточки стекла очков, и Роман обошелся без поддержки.

– Мечта построить церковку и молиться за здоровье своих врагов – тут я и со Львом Толстым не согласен, – заговорил он со страстью. – В нашем солдатском законе неотмоленный грех – другое. И ни оправдываться, ни каяться!.. Да ты ведь и неверующий. У тебя свой, солдатский Бог. Не страшись и не ужасайся – вот главная его заповедь. И ты, и Кирюшкин, и Логачев, и Твердохлебов ее исповедуете...

– А как ты-то стал верить?

– На Курской дуге, в адском пекле, когда танки нашего батальона горели, сказал себе: если сегодня не убьют, значит, Бог помог. И помог... Но любить врага своего – значит молиться за него – это не для меня. Милосердия у любого врага не вымолить. Молюсь о другом...

– И ходишь молиться в церковь?

– В церковь не хожу. Но после войны внушаю себе: избавь меня от злых воспоминаний, от помраченного ума, от мщениия, от недобрых действ. Иначе, Саша, можно сорваться с катушек.

– И простил немцам?

– Не то чтобы простил. Их танки тоже горели, как спички. А я целый год провалялся по госпиталям. Операция за операцией. Вспоминать не хочу, потому что сплошная боль. Помогали морфий и сердобольные сестры. Их помню...

Роман круто прервал свою возбужденную речь, глянул на Нинель опомнившимися глазами и померк, начал подергивать бородку, опять пряча за потупленными голыми веками волнение.

– Милые, о чем вы все говорите? Разве это оправдание? – послышался среди молчания голос Нинель. – Я умоляю вас, оставьте в покое заповедь! – попросила она жалобно. – Лучше подумайте, что будет со всеми вами!

В течение всего разговора она замкнуто стояла у стены, касаясь затылком паласа, где с отвратительной нарочитостью висели охотничьи двустволки, и эти ружья, лишние в мирно обставленной комнате, вроде случайные здесь меж книг, статуэток и фотографий, вызвали в памяти Александра вкус пороха во рту, беглые конусообразные вспышки звезд, ослепившие лунную ночь, тупой удар в руку, чей-то вскрик у сарая: «Ой! Ранило!» И во всем этом хаосе осталось ощущение пальца, преодолевающего упругость спускового крючка.

«Она не верит, что я мог. Яблочков как-то сказал: от любви до ненависти один шаг. Она поймет все – и возненавидит меня. Я ведь для нее тоже странная случайность».

– В Книге Судеб не должно быть записано наше несчастье, о любящая одного из нас женщина с глазами лани, затронув-

шая у всех нас место восхищения своей красотой! – с задушевной утешительностью, без шутовства, певуче отозвался Эльдар. – Не верьте, Нинель, в несчастье, забудьте окаянное уныние. Какие чудесные христианские слова я вспомнил! «Вот я повелеваю тебе: будь тверд и мужествен, ибо с тобой Господь Бог твой – везде, куда ни пойдешь». Можете взять из этой формулы только начало. Вы можете. Вы сильная. Вы красивая. А красота спасет мир.

«Это он говорит и Нинель, и мне. Ободряет меня, считает, что я спас ему жизнь. „Ты мне как отец“. Но что же произошло со мной? Как будто слезы душат, застряли комком в горле – не проглотить...»

– Перестаньте, Эльдар! Оставьте в покое Достоевского и все ваши пошлости о красоте! – взмолилась Нинель, по-прежнему стоя с руками за спиной у стены, придавливаясь затылком к паласу. – Вы, как и Роман, лишились разума. Говорите о Боге и молчите о самом ужасном! Как будто вы и Роман преклоняетесь перед тем, что сделал Александр и все вы! Но что тогда делать мне, если я понимаю, что произошло страшное, которое вам никто не простит?.. И это назовут – убийство бандой Кирюшкина? Лучше спросите у Бога, Эльдар, зачем же случилось такое безумие?

Была минута, когда Александр почувствовал, как его окатила ледяная холод, тупо забивший грудь, как тоска. Он с преодолением взглянул на Нинель, она поймала его взгляд и отвернулась, прижимаясь щекой к паласу. А он, не найдя

решимости возразить, объяснить то, что не поддается объяснению, сознавал, что рушится что-то и нет сил сдержать это разрушение. Он опять подумал о случайности в своей и чужой жизни, о чем думал прошлой ночью, хотел сказать ей спасительную расхожую фразу: «От судьбы не уйдешь, Нинель», – но не сказал ничего, так как фраза эта показалась ему никчемной, оглупляющей все, что было и могло быть.

«Что же будет дальше между нами? – подумал он и едва не застонал от жаркой боли в висках. – Что бы со мной ни было, это кончится ничем... почти то, что было с Вероникой».

– Нинель, я могу вам помочь, – тускло проговорил Эльдар. – Я живу на Лужниковской, рядом с заводом. У нас одна комната в полуподвале, тридцать метров. Большая. Отец работает дворником. Ему дали жилплощадь на пять человек. У меня две сестры. Заранее скажу: отец и мать согласятся принять в семью шестого человека. Отец любит, когда за столом сидит много родных. И если Саша...

– Нет! – вскрикнула Нинель и метнула осерженный взгляд на мигмом погасшего Эльдара. – Замолчите, провокатор несчастный, или я запущу в вас туфлей! Замолчите сейчас же с вашими дурацкими намеками!

Она оттолкнулась от стены, упала в кресло, вызывающе заложила ногу за ногу, помотала на весу остренькой туфелькой.

– И все же буду сказочно благодарна, если вы договорите, Эльдар. Я слышала: «и если Саша»... А дальше? Пожалуй-



ста, продолжайте! – потребовала она, наслаждаясь едкостью своего ласкового коварства. – Я – вся внимание, о альтруист правоверный!

И Эльдар, розовея скулами, тоже поспешил сказать не без вразумительного яда:

– И побритому ежу ясно – вам было бы спокойнее и безопаснее находиться подальше от банды Кирюшкина, как вы нашли нужным сказать, о царица очей моих! Саша, прости меня, длинноязыкого! Слово «банда» вызывает у меня сплошной хохот! Меня просто разносит от смеха! Нас хотят превратить в куриный помет даже прекрасные женщины!

– Останови грубый треп и верхоглядство, Эльдар, – пробормотал Роман, мрачно копаясь в бородке. – Ты далеко зашел в болтливом непотребстве, иронист. После войны мужчины не имеют права наносить обиды женщинам, иначе они взбунтуются против нашей озверелости... А может, действительно нас считают бандой?

И Эльдар рискнул сказать в горячности несогласия:

– Хорошо, что тебя не слышит Аркаша, мой добрый христианин! Он нарушил бы всякое благоприличие в словах! Мы – не банда! Мы – фронтовое товарищество! Нам Господь знамение подал достойно судить нечестивцев!

– Что-то я устал, – проговорил Александр, уже не слушая обоих, правой рукой поглаживая теплый бинт, стягивающий левое предплечье; этим поглаживанием раны он унимал внутреннюю дрожь от расплзавшейся по всему телу глу-

хой боли, от этой неопределенной тоски, незнакомой раньше. «Да, все с Нинель кончится ничем...» Выпитая водка подействовала только сейчас, стало жарче, капельки пота зашекетали лоб. – Попрошу тебя, Эльдар, немедля зайди к моей матери на Монетчиков, – заговорил он, намеренно выделяя слова не то мягким приказом, не то просьбой. – А потом в госпиталь на Чистые пруды. Найди там доктора Яблочкова Михал Михалыча и скажи ему, что я огнестрельно ранен в драке, о чем Анна Павловна не должна знать. И попроси прийти его сегодня по адресу Нинель, пока я здесь.

Он сказал «пока я здесь» и увидел: Нинель перестала покачивать ногой, поматывать остроносой туфелькой; замороженная улыбка стыла на ее лице, пугая его своей загадочной неопределенностью. И он договорил:

– Пока, ребята. Спасибо, что пришли. Без вас мне не связаться ни с врачом, ни с матерью. Привет Аркадию.

– Дома он не ночует. Эльдар наведывался к нему два раза. Квартира закрыта. И телефон молчит. В последний раз, когда мы виделись, он сказал, что всем надо уйти на дно, затихнуть и подождать.

– Я провожу вас до двери, – проговорила независимо Нинель и поднялась с кресла быстрым движением, застучала по паркету каблуками следом за неуклюже выходившими Эльдаром и Романом. Они на ходу оглядывались, ощущая себя как бы чужеродными, случайными гостями среди богатства, удобства, обжитости большого кабинета, среди бархат-

ных кресел, фотографий, изящных шкафчиков. Такое же мучающее чувство случайности не проходило и в душе Александра с того момента, как он очнулся в незнакомой обстановке этой комнаты.

«Сейчас бы заснуть и не думать ни о чем, – стал он внушать себе, с тревогой отсчитывая стук каблуков Нинель, возвращающейся в комнату. – Мы слишком открыто говорили при ней. Она войдет сейчас и будет задавать вопросы, на которые у меня нет нормальных ответов. Но почему она остановилась в той комнате и не входит?»

Она постояла с минуту в другой комнате и вошла, и, войдя, прислонилась спиной к двери, долго смотрела на него, не произнося ни слова, и он видел, как еле заметно двигалось ее нежное горло, как будто она сдерживала и глотала слезы.

– Если с тобой что-нибудь случится, то я умру, – сказала она сбивающимся шепотом. – Так и знай – я умру, – повторила она, слабо шевеля губами, и брови ее вдруг изломались горьким выражением случившейся беды. – Я, наверно, люблю тебя, Саша. Я не хочу ничего знать про вашу драку. Я знаю только, что ты – это ты, больше ничего мне не надо!

А он, не веря ей, собрал в себе волю, чтобы проговорить возможно естественней:

– Нинель, это пройдет. Тебе показалось. Ведь я – не твой парень.

– Как я ненавижу твою фронттовую прямоу и наивную открытость!

Она встала перед диваном на колени, чтобы удобнее было обнять его, просунула обе руки ему под голову и, близко вглядываясь в его глаза, сказала одним дыханием: – Если с тобой что-нибудь случится, все в мире станет пусто. Не нужно ничего. Я сегодня почувствовала это. А ты хоть каплю, хоть мгновенье любишь меня? Хоть на копейку нищему?

– Немного больше. Нет. Гораздо больше, – сказал он, усиливаясь хоть как-то полупошутить, до растерянности стесненный ее безоглядной искренностью, неожиданной, как порыв жаркого ветра в осеннем поле.

## Глава четвертая

Танки, расталкивая дым, шли меж взлетов огня, заглушая железным ревом моторов беглые разрывы снарядов, настильный визг осколков. Черные спирали горевшего железа текли в безветренное небо. Танки горели, останавливались в пшенице, делали рывки, сбивая пламя, медленно приближаясь по фронту, и он отчетливо видел, как их серые туловища переваливались через траншеи, видел их покачивающиеся стволы орудий, вытянутые над лапами гусениц, прямые вспышки выстрелов, слышал их оглушающий лязг. Его удушала вонь выхлопных газов, жаркого пыльного железа – и тянуло на тошноту, выворачивало все из груди. Он лежал на бруствере траншеи, раненный пулеметной очередью в обе ноги, не мог сдвинуться с места, в отчаянии безвыходности понимал, что умирает, а в траншее уже не было в живых никого.

«Где остальные? – соображал он. – Как случилось, что мы запоздали из разведки и эта танковая атака застала нас в немецком тылу? Мы прорывались к своим, бежали по пшеничному полю... Оказывается, танки смяли боевое охранение, а я дополз до бруствера, уже без своих разведчиков, и не было сил сползти в траншею».

Он хотел вспомнить, в какую минуту последний раз видел их рядом с собой в пшеничном поле, и тут с морозящим

ознобом ощутил прилипший к потной шее целлулоидовый подворотничок, удушающим обручем кем-то сдавленный из черной тьмы. «В разведку подшил целлулоидовый подворотничок... Вот почему гибель!» – сказал чей-то извилистый голос, и вмиг растаял скрежет гусениц, гром танковых моторов, и он начал камнем падать в волнами смыкавшуюся со всех сторон бездонность. Но, оборотив тяжкую голову, заметил косвенным взглядом какой-то бугор в углу окопа, чью-то полузасыпанную землей, чудовищно оголенную разорванной гимнастеркой красную спину, будто облитую закатом осеннего солнца. И не сразу понял, что видит не отсвет заката, а растекавшуюся кровь по всей спине, насквозь пробитой осколками. Но уже меркнувшим сознанием он никак не мог узнать убитого. Кто это был – Чудинов или Туляков, похожие фигурами друг на друга?

Нет, вот они, Чудинов и Туляков, оба неслышно возникли на бруствере и стояли локоть к локтю, они были живы и видны изумительно четко, как на фотокарточке. С искривленным беспомощностью лицом Чудинов долго возился с сигаркой, сворачивал ее, вдавливая грязными ногтями газетную бумагу, а махорка непослушно просыпалась. Тогда он зажмурился, оскалась лающими рыданиями: «Как же мы без лейтенанта-то теперь? Пропадем...»

И от этих звериных рыданий Чудинова оцепеняющий ужас окатил его: «Я убит, но вижу его и слышу все до последнего слова? Иногда мне казалось, что мертвые слышат.

Значит, это так».

Откуда-то появился незнакомый короткошей солдат, он кричал со злорадной прямоотой: «Убило! Ну и что ж? Кресалой чирикай! Неначе не прикуришь». Кто и откуда этот солдат? Лицо его властно, взгляд крутой. «Нет, – сказал кто-то непреклонно. – Не разрешаю! Нашли причину. Не убило его!» Кто это – Логачев? Он воевал в пехоте... Голова короткошеего солдата до глаз была обвязана бурым бинтом. Он выругался жестоким матом: «Ах, твою!.. Не убило? Струсил офицер! Притворяется он!»

«Если бы я смог шевельнуть рукой, дотянуться до „тэтэ“, я бы такого не пожалел».

И ее тоже убило... Кутаясь в плащ-палатку, она смотрела туда, где исчезали они в темени ночи, которая вбирала их в себя под августовскими звездами. Впереди ракеты лениво вползали в небо, рассыпались осколками звезд, потухали на склонах Карпат. А она, привстав на цыпочки, все вглядывалась в темноту долины между боками гор. Как ее звали? Нет, Вероника не была на фронте санинструктором в артиллерийской батарее и не провожала его в разведку...

В Карпатах эта батарея стояла на прямой наводке, близ нейтральной полосы, и перед разведкой они задерживались перекурить, понаблюдать за нейтралкой из ровиков артиллеристов и, возвращаясь, опять выходили к позициям орудий. Раз она взглянула на него как-то бегло, тревожно и вылезла следом за разведчиками из ровика, провожая их, и здесь по-

детски застенчиво сказала ему: «Возвращайтесь, товарищ лейтенант». А он ответил: «Все будет нормально». И непонятно зачем еще сказал несомненную пошлость: «Слушай, санинструктор, откуда у тебя такие белокурые волосы, как у ангела? Никогда таких не видел».

И тут почему-то в разудалый такт гитары Чудинов задвигал бровями, притоптывая ногой по земляному полу в накуренной хате, одобряя: «Наяривай, ребятки! „Языка“ взяли ядреного!» Это было после той разведки?

А, потом в солнечный день, сотрясаемый толчками, гудением, раскатами в горах, он увидел орудийную упряжку, без артиллерийского расчета, сиротливо-одинокое, подобно катафалку, спускающуюся по дороге в долину, увидел что-то темное, неподвижное на станинах, накрытое плащ-палаткой; а когда заметил из-под ее края ангельски-белокурые волосы, наполовину закрывающие гипсовое лицо, на которое хмуро оглядывался, сутулясь на передке, командир орудия, по-видимому, единственный из расчета оставшийся в живых, он по этим удивительным волосам узнал, кто похоронно был накрыт плащ-палаткой на станинах и что произошло в горах, где начался бой с утра.

Где это было? Перед ним в беспредельном, выжженном зноем поле, пустынном, как тоска, согнулся над аппаратом, для чего-то прикрывая его грудью, оставленный всеми связист и кричал в трубку с радостным возбуждением: «Тяжелая по нам бьет, тяжелая! Ух, бьет! Расчекрыжили нас тан-



ки! В пух расчесали!» Где он встретил этого безумного связиста? Когда? В каком отступлении? Под Сталинградом? А он глядел на безумного и находил в себе силы лишь усмехаться стянутыми гневом губами. И уже не связист, а кто-то похожий на паренька в кепочке, с пухлощеким лицом, с белыми глазами, постаревший мальчик, замедленно вытянул руку, ладонью вверх, сказал пришепетывая: «Вот те хрест, своего дружка под Сталинградом я не расстреливал. Клади сюда девяносто шестую...»

И Кирюшкин стремительно ходил возле него, от нетерпения подкидывая плечи, зло тер ладони, вроде ему было холодно или он хотел ударить белоглазого. Затем он сидел за кухонным столом в тусклой комнате, раздумчиво накручивал на палец прядь волос около виска и слушал этого пухлощекого паренька, неумолимо щурясь, а тот говорил спотыкающимся шепотом, и его мелкозубый рот вело вкось: «Оружия не было. И ножа не было. Не я его... не убивал я...»

«Врешь, Лесик, проклятая гнида!» – крикнул, захлебываясь ненавистью, Логачев. – Ты, ты, гадина, расстрелял! Вызвался добровольцем, себя обелял, а его в яму! Молчи, морду раскровяню!.. Ты поджег голубятню, падаль!..»

Жесты, крики, угрозы Логачева были мстительно направлены против белоглазого, а он, онемев, не отводил омертвевшего взгляда от пистолета, лежавшего на краю стола перед Кирюшкиным.

«Кто положил мой „тэтэ“ на стол? Как он тут оказался?»

И зачем?»

«Читай приговор», – сказал Кирюшкин Логачеву.

И Логачев озлобленно схватил с кухонного стола тетрадный листок, исписанный корявым почерком, и стал громко читать, перебирая заскорузлыми пальцами, делая остановки и ненавистно ощериваясь.

«Приговаривается к смертной казни бывшими фронтовиками», – закончил он и махнул крепким кулаком, как гвоздь забивал.

«Сволочь и убийца. Достоин уничтожения, – сказал Кирюшкин с беззаботной твердостью. – Александр, прошу тебя от имени солдат это сделать немедленно». И он гибко выпростался из-за стола, взял пистолет, протянул его.

«Почему Кирюшкин просит меня расправиться с этим подлым парнем, который вызывает отвращение?»

«Лейтенант, уничтожь, тебе приказывают!»

И сейчас же чьи-то оледенелые шершавые пальцы, похоже, пальцы Логачева, с угрозой легли ему на голую грудь, затруднили дыхание, и он с невероятным усилием сбросил эти пальцы, сказал, не узнавая свой отяжелевший голос:

«Рук я пачкать не буду. Палачом не был. Пусть сам приведет приговор в исполнение, если не юбку носит».

«Гады! Падла! За что? – взвизгнул Лесик, все его узкоплечее тело сотрясала дрожь, его пустые белки устрашающе выкатились, вздыбленная дикость пойманного зверя проступила во всем его облике. – Да я вас, лягашей, без лопаты за-

копаю, мизинцем троньте!.. Со мной на жисть играть порешили? Пушкой испугали? – Он, как сумасшедший, захохотал. – Угробить захотел меня, Аркаша? Думаешь, дурында-сом в студентку, в проститутку влюбился и антиллегентным стал? Чистенький ты, любовь закрутил, ха-ха!»

«Заткни глотку, урка, жах твою жабу! – взревел Логачев, надвигаясь на Лесика. – Что понимаешь? В башке-то две извилины! Хрен висячий! Любовь, любовь! Об чем лопочешь? Любовь, она все одно что доброта, понял? Кулаком убью, собаку!»

«Неужелича? – тонко вскричал Лесик, и лицо закривлялось, выражая язвительную ярость. – Адвокат, адвокат уса-тый нашелся!»

«Дерьмо, – сказал Кирюшкин с притворной легкостью, но его глаза, обычно задымленные дерзостью, стали неподвижно-змеиными, как недавно на пожаре. – Что ж, никто не может уроду запретить быть уродом. Выходи, – приказал он безучастно и перевел предохранитель на пистолете. – Приговор зачитали, исполню его я».

«Где это происходит? Мы куда-то приехали?»

«Аркаша... – осипло выдавил Лесик. – Аркашенька...»

Он упал на колени, мотая головой, выворачивая белки на Кирюшкина, пополз на четвереньках к нему и, стоя на коленях, умоляюще, по-собачьи, положил маленькие черные руки на край стола, захрипел, залепетал давящимся шепотом:

«Аркаша, миленький, был дураком я, дурак и есть... из-

виняюсь я... не убивай, слабый я стал, язва у меня, не убивай... Рабом буду, пригожусь я тебе...»

«Кто-то умолял, унижался так же. Где это было? На Украине? Козырев?»

«Давай, давай, извиняйся, – разрешил пренебрежительно Кирюшкин и, улыбаясь мертвой улыбкой, добавил: – Давно придушить тебя надо бы, отврат. На березе повесить. В парке культуры и отдыха. Впрочем, Александр прав, пачкать о тебя руки все равно что в дерьмо головой нырнуть. На, держи, и расквитайся с собой, слизняк, сам. Коли клеши носишь. Держи, говорят. – Он ткнул стволом пистолета в неширокое плечо Лесика. – А я с тобой пойду. Чтоб тебе веселей подышать было».

И кто-то длинноволосый в углу комнаты сказал неуместно: «Убийство, убийство». И с соболезнаванием вздохнул протяжно и скорбно.

Лесик поднялся с копен, пошатываясь, безголосо разевая и закрывая рот, словно рыба, погибающая без воды, неуверенно взял пистолет, вдруг откачнулся, пятясь от стола, пухлощекое лицо его перекосилось, закривлялось, и, что-то тонко крича, он в упор выстрелил Кирюшкину в голову, брызнувшую чем-то серо-желтым на стену, затем в голову Логачеву, упавшему ничком, и стал расстреливать всех подряд, кто был в комнате, затопленной не то клубящимся туманом, не то дымом., Выбегая из комнаты в сад, Лесик выстрелил еще раз на пороге, в ту же секунду из тумана, из дыма разо-

рвалась звезда, полыхнуло огнем Александру в грудь, пресекло дыхание, стиснуло жесткое удушье, он хотел глотнуть воздуха, схватился за грудь, пальцы увязли в горячей влаге, и пронеслась мысль: «Это кровь! Ранило меня?»

И, всасываемый в теплую трясику, Александр плечами рванулся изо всех сил, чтобы не захлебнуться в вонючей, запылявшей комнату жиже, – и, ударенный невыносимо острым огнем в руку, проснулся, вырванный из сна живой болью в предплечье.

Он лежал на левом боку, на раненой руке. Он видел перед собой край подушки, спинку чужого дивана, освещенного солнцем, еще полностью не соображая, где он находится, слыша какие-то чужие голоса неподалеку, густой рокочущий баритон:

– Позвольте, позвольте, уважаемый товарищ!

И, весь измятый сном, виденным им с такими невыносимо отчетливыми подробностями, он невольно застонал: «Что же со мной такое?» Будто все не приснилось, а произошло только что, как бредовое продолжение первого разговора с Кириюшкиным, сказавшим, что готов повесить этого урку Лесика. И с тревогой и отвращением к не отпускавшему его бредовому сну Александр повернулся на спину, уже детально восстанавливая в памяти, как он оказался здесь, в этой комнате, куда его привез Кириюшкин после того, что случилось с ними...

«Нинель, – подумал он мгновенно, удивляясь солнцу, по-

утреннему вспыхивающему на паркете, на фотографиях, на статуэтках, на стекле книжных полок, и, вспомнив все, потрогал бинт на руке – незатихающая боль обострилась в предплечье.

«Где Нинель? Что это за люди в другой комнате?»

За дверью приглушенно звучали голоса, и Александр, вслушиваясь, приподнялся на подушке.

– Позвольте, позвольте, доктор, я владелец этой квартиры и вас, простите, не имел причины приглашать! Недоразумение! Явный абсурд! – рокотал бархатный баритон внушительными перекатами. – Я только что вернулся с гастролей и, к счастью, вполне на ногах и, так сказать, в вертикальном положении пока еще! Так что, быть может, вы ошиблись дверью на лестничной площадке? Нинель, ответь мне на языке родных берез, зачем тебе потребовался вызов на дом доктора из госпиталя, если ты тоже на ногах, как я вижу, и выглядишь вполне здоровой? И почему именно военный доктор?

– Папа! – воскликнул негодующий голос Нинель. – Не говори, пожалуйста, несуразности! Мне стыдно слушать, не говори так.

– Стыдно должно быть тебе, дочь моя! Что за молодой человек, голубушка, спит в моем кабинете? Стоило мне уехать, как ты завела новые нравы в доме? Что за вольности? – перекатывался напитанный сочными оттенками баритон. – Что значит сие? Глупость! Фарс! Что это? Приезжаешь в родной угол, переступаешь порог и нос к носу встречаешь каких-то

военных докторов в белых кителях, каких-то молодых людей в своем кабинете! С ума... можно сойти с ума! Дикость! Ты доведешь меня до сумасшедшего дома!

«Значит, ее отец?» – подумал, хмурясь, Александр.

– Папа! Если ты не прекратишь, я буду визжать, как базарная баба, и не дам тебе произнести ни слова! «Каких-то военных докторов в белых кителях!» Какой классический текст! Да, это я вызвала врача! Заболел мой друг! Он живет не в Москве, и я не могла его отпустить и оставила его у нас! Ты способен представить, что у меня может быть друг? Вызвала доктора я, я, я! Михаил Михайлович, извините отца, он, как всегда, устал после гастролей и раздражен... Доктор, пройдите вот в эту комнату, больной там. Пожалуйста.

«Яблочков! Михал Михалыч! – радостно дрогнуло в груди Александра. – Ему сообщили. И он не мог не прийти!»

– Благодарю вас, милая девушка. Впрочем, я рад, что познакомился с Борисом Сергеевичем воочию, – разнесся за дверями безбурно-бодрый голос Яблочкова. – По-моему, вы представились именем Нинель? Чудесное имя! Нинель, Нинель – какая-то приятная смесь русского с иностранным. Где мне помыть руки?

– Сейчас я вас проведу в ванную. Вы не обиделись на отца? Пожалуйста, не обижайтесь.

– . О, нет, нет! Я глубоко почитаю артиста Малого театра Лебедева, то есть вашего отца. Обидами мы не избежим многих неприятностей. Благоволите показать ванную.

– Черт знает что такое! Я ровным счетом ничего не понимаю, превратился в круглейшего идиота! – рокотнул Борис Сергеевич. – Неужто я похожу на старого кота, беззаботно дремлющего на солнце?

Безмолвие наступило в другой комнате, лишь проникало оттуда какое-то движение, сердитое фырканье носом, потом простучали шаги, послышался поднято-звучный голос Яблочкова:

– Так в эту дверь прикажете?

И Нинель поспешила ответить упредительно:

– Да, да, я вас провожу, доктор. Он здесь.

– Разрешите с вами и мне, дабы я в своем доме не изображал несчастного короля Лира, – вклинился между ними раздраженный баритон Бориса Сергеевича. – Надеюсь, дочь моя, ты не против того, чтобы я поближе взглянул на твоего друга. Твои друзья, видишь ли, мне не безразличны.

– Папа, любимый мой папа, угомонись, я тебя прошу.

Александр расслышал эти слова, когда Нинель, неубедительно улыбаясь, вошла в комнату, пропуская Яблочкова и своего отца, массивного человека в добротном костюме, белой рубашке, с рубиновой булавкой в галстук, заметного крупным породистым лицом; высокомерно-властный рот был сжат, густые широкие брови вопросительно вздыблены. Такие внушающие уважение лица Александр встречал, будучи не так уж часто в армейском штабе, генеральские лица, заставляющие своим обликом подтянуться, вскинуть руку к



козырьку, и Александр подумал, что на фотографиях в кабинете отец Нинель выглядел другим – доброжелательно-приятным, с букетом цветов, задумчивым, строго-сдержанным.

– Александр, здравствуйте, голубчик, что же вы, молодец непревзойденный, совсем уж безобразно подкачали! Вя-зались в конфликт, геройствуете, как мальчишка в первом бою! Гусар! Ну-ка, ну-ка, покажите, что у вас! Что вы тут наколбасили?

Яблочков, маленький, плотный, с погонами майора медицинской службы, поставил кожаный саквояж на столик перед диваном и, склоняя лысую голову, энергично посверкал очками по лицу Александра и хмыкнул, впиваясь глазами в бинт на его руке.

– Мда! Что называется, оказана первая помощь. Рану, разумеется, не обрабатывали. Да это и понятно. Посмотрим, что у вас за этим милосердным покрытием. Потерпите, когда буду отдирать бинт. Да вам к боли не привыкать.

– Спасибо, Михал Михалыч, что пришли, – проговорил Александр, растроганный приветливо-облегчающим видом Яблочкова, почти родственно близкого ему сейчас, почти родственно связанного с матерью, мысль о которой всегда рождала в нем нежную жалость. – Думаю, что кость не задело... или чуть-чуть... – добавил он.

– Разберусь, хоть и не хирург, посмотрим и решим, решим и залатаем, дружище, – сниженно, вроде бы про себя, говорил Яблочков, разматывая бинт на предплечье Александра, в

то же время сквозь очки укоряюще взглядывая ему в лицо. – Война кончилась, Саша, кончилась, а мы вот иногда действуем не в равнообъемных обстоятельствах. И это называется догматической косностью между самоутверждением и саморазрушением, неосознанными в твоих годах. Сейчас будет больно. Но, конечно, было больней. – Яблочков постепенно отодрал от раны вместе с ватой бинт, наполовину твердый от засохшей крови, наполовину мокрый от сукровицы, ощупал предплечье. – Так. Картина почти ясная. Здесь болит? Отдает в плечо? немеют пальцы? Понятно. Причем, Саша, те обстоятельства, – продолжал говорить убавленным голосом Яблочков, – были совершеннее, чем жизнь в мирные дни. Сейчас обработаю раны, и станет легче. Укол от столбняка, к сожалению, сделаем с опозданием. Да, Саша, мы живем не в равнообъемных с войной обстоятельствах, – повторил он. – Ты это прочно понимаешь?

Яблочков открыл саквояж, разложил бинт, вату, пузырек со спиртом, металлическую коробочку со шприцем, но Александр уже не смотрел на его приготовления. Он видел, как раздвинулись иссиня-черные глаза Нинель, как скрестил на груди руки Борис Сергеевич, отбросившись в кресле с грозно-надменным видом патриция, наблюдающего самовольство раба в своих владениях. Иногда он издавал полукашель, похожий на львиный рык. Нинель молча стояла у стены, прислонясь затылком к паласу, где висели древние охотничьи ружья.

После укола и обработки раны Яблочков начал перебинтовывать Александра, успокаивая боль в руке, и он впервые за это время подумал, что с его ранением может все обойтись.

– Спасибо, Михал Михалыч, – сказал Александр вполголоса. – Я знал, что вы придете.

Уже застегнув саквояж, вытерев смоченным в спирте комочком ваты кровь на пальцах, Яблочков кинул розовый комочек в пепельницу на столике, опять присел на край постели.

– Мда, Саша, да, – заговорил он, раздумывая. – Невозможно, разумеется, жить, надеясь на лучшее, и ожидать худшее. Сам великолепно знаешь, что паника и страх чрезвычайно заразны. Никакой паники. Но, дорогой друг, необходимо госпитализироваться. Находиться с огнестрельными ранами в домашних условиях – риск. И немалый. Я сегодня же пришлю машину из своего госпиталя. Договорились, так? Часа через два, через три машина заберет тебя.

– Михал Михалыч, – сказал Александр. – Не беспокойтесь. Обойдется. Бывали ранения и посерьезнее.

– Позвольте, молодой человек! – неожиданно громко возвысил голос Борис Сергеевич и решительно вывернул, высвободил из кресла свое массивное тело, крупно заходил по кабинету, заложив пальцы в карманы пиджака. – Не имею чести быть с вами знакомым. Так же как с вашим доктором! Однако знакома с вами моя дочь, молодой человек, как я по-

нимаю! – Он сбоку глянул на так быстро поднявшую голову Нинель, что ее волосы чёрной запятой скользнули по щеке. – И позвольте сказать: мой дом не госпиталь! К тому же видеть в моем кабинете молодых людей с огнестрельными ранами, как сказал ваш уважаемый доктор, по меньшей мере – дико и странно! Что сие значит? Кто он, твой друг, Нинель? И что это за раны? Черт знает что такое! Курьезная пьеса, где я в дураках! Индюк в решетке! Канатчикова дача! Бедлам! – Он потряс вздытыми руками, отчего сползли рукава пиджака, показывая квадратные золотые запонки на белых манжетах. – Что все это означает, Нинель? Что происходит в моем доме, хотел бы я понять своим слабым умишком! Что происходит?

Нинель наморщила переносицу, сказала с негодованием:

– Папа, а я не понимаю твоей... твоего возмущения! Александра ранили хулиганы в драке. Ты знаешь, что ночью случается на улицах?

– Ранили? В драке? Хулиганы? – вскинул плечи Борис Сергеевич. – Очень сожалею! Но какое отношение к преступлению хулиганов имеет мой дом? Он... ты его назвала – Александр? – он твой друг, как ты объяснила мне? Однако с огнестрельной раной и други, – он подчеркнул слово «други», – дома не лежат! Для этого есть больницы, госпитали и прочее, любезная дочь моя! И ты – не сестра милосердия! Я не могу и не хочу нести ответственность за здоровье неизвестного мне человека, коли он оказался в моей квартире!

Тем более что моя дочь, существо наивное и экстравагантное, ровным счетом ничего в медицине не смыслит. И ухаживать за раненым не сможет, хотя он ее друг. – Он вновь презрительно подчеркнул это слово. – Она будущая актриса, а не врач!. Да к тому же мне надобно работать не в больничной палате! Нинель! Нинель! – застонал он, хватаясь за свою пышную серебристую гриву и закидывая ее назад. – Что ты со мной делаешь? Ради кого? И ради чего? Ты хочешь, чтобы я слег с инфарктом? Я устал на гастролях, измотался, нервы на пределе... И тут еще внезапности! Что бы подумала твоя мать, если бы вернулась вместе со мной и застала в доме вот эту картину? Я поражен! Господи! Какая нелепейшая мизансцена! Какой курьез! Какая неслыханная чертовщина! В какое глупейшее положение ты поставила меня! Прошу вас действительно, доктор, взять в госпиталь этого пострадавшего молодого человека и покорнейше прошу освободить меня от научно-медицинских беспокойств! Не обессудьте! Я сам сердечник, больной человек и неспособен к альтруизму. Тем более... И я прошу потрудиться исполнить свой долг, доктор, тем более что моя дочь...

Но Нинель не дала ему договорить:

– Ты прав, конечно же! Ты действительно находишься в состоянии крайней курьезности. Что за недостойную роль ты себе взял, папа? Что это – состояние неизобразимого недоумения?

– Благоволите быть воспитаннее в обращении с отцом,

любезная сударыня! Вот так-с! – Подобием львиного рыка Борис Сергеевич прочистил горло, и голос его завибрировал злоречивыми перекатами: – Я лично не готов изображать припрыжечку! Или – мармеладство! Не в том возрасте, чтобы устраивать душевные неудобства в навязанных кем-то обстоятельствах! Прекрасно знаю, что почасту опрометчивое добро возвращается злом. И – наоборот. Это совсем не по Толстому. Это опыт нашего бытия!

– Папа!

– Ты непротивленка обстоятельствам, а это – заболевание духа. Вот так-с! Непротивление, безвольность всегда похожи на тихую глупость, не обижайся, я обижен вдвойне!

– Чем ты обижен, в конце концов?

– Твоим неожиданным умопомрачительным легкомыслием, которое граничит с глупостью. – Борис Сергеевич, приостанавливаясь посреди комнаты, заострил многовыразительный взгляд на Яблочкове, сконфуженно прикусившем незажженную папиросу, и разворотом на каблуках повернулся к письменному столу, обрушился в кресло, страдальчески запустил обе руки в серебряную гриву. – Доктор, – сказал он с видом истерзанного душевными муками человека, – вы видите, какое сложилось положение, и, надеюсь, вы понимаете, что в определенном возрасте любовь – не что иное, как тихое помешательство.

Михаил Михайлович Яблочков, огненно-румяный от волнения оттого, что пришлось быть свидетелем непредполага-

емой сцены, чему очевидцем не хотелось быть, проговорил с неудовольствием:

– Позвольте сказать, Борис Сергеевич, что тихая глупость и громкая глупость – не противопоказаны друг другу. А эгоизм – самый распространенный порок в наше время...

– Что? Как? Как вы смеете, доктор? – перебил, угрожающе вздымая брови, Борис Сергеевич. – Вы обо мне?

– О вас, – излишне почтительно наклонил лысину Яблочков. – Вы обиделись?

– Я-с?

– Да-с. Обиделись?

– Представьте – нисколько! – Борис Сергеевич сделал над столом небрежительно-отмахивающий жест холеной рукой. – По всей видимости, вы относитесь к разряду докторов Айболитов! Полны альтруизма! Распространяете вокруг себя милосердие! Но попробуйте в метро случайно наступить на ногу соотечественника, так сказать, ближнего своего, которого вы должны любить, а он вас... Вы не успеете и рта раскрыть, чтобы извиниться, а у него уже – перевернутое лицо. Пе-ре-вернутое!

– Каким манером, Борис Сергеевич? Это – по Достоевскому?

– У Достоевского другие мотивы. А здесь – не лицо, а рожа! Пожар злобы! Дай этому ближнему в руки нож, так он и пырнул бы вас! Вот так-с! Не сомневаюсь, человек произошел от худшего вида обезьяны! На карачках мы, милый док-

тор, на карачках! Благovolите возразить, так сказать, с медицинской точки зрения? Хотя знаю, что вы изречете!..

Подчеркнуто уважительным взором Яблочков поглядел на внушительную фигуру Бориса Сергеевича и, казалось, некстати, перешел на шуточный тон:

– С вашего разрешения, замечу первое: Дарвин не однажды в своих трудах доказывал, что человек и обезьяна произошли от общего рода предков. И нигде не утверждал, что человек, то есть мы с вами, произошли от обезьяны. Впоследствии ученый был беспардонно поставлен вверх штиблетами. Подобно вот этому гениальному абсурду. – И Михаил Михайлович посверкал ачками на пестревшую хаосом красок картину над головой Бориса Сергеевича, захохотавшего в ответ: «Да это же Филонов!» – Замечу с медицинской точки зрения второе, – продолжал Яблочков. – По моей профессии психиатра мне известно, что в среде актеров – соперничество, зависть, сплетни, но... у вас сейчас не эта болезнь. У вас явное истощение нервной системы. Поэтому я – к вашим услугам. В любое время. Чистосердечно.

– Бандит! Дьявол! Мерзавец! – в ярости загремел Борис Сергеевич и грохнул кулаком по столу, отчего подскочила мраморная чернильница с парящим ангелом на крышке ее. – Подлец этакий! Ничтожество! Насекомое! Стрелять из оружия в мирное время! Повесить негодяя мало!

– Вы о ком так беспощадно? – поинтересовался невероятно благопристойно Яблочков и повторил: – Весьма интерес-



но – о ком?

– О том, кто подстрелил вашего пациента! – подал густой голос Борис Сергеевич, указывая на Александра, и вскочил из-за стола, неудержимо заходил по комнате. – А вы глаголите о теории Дарвина! От обезьяны мы, от самой паршивой обезьяны! И не утешайте себя глупыми теориями лживой науки! От этого не поумнеешь! Я современник своих современников и достаточно знаю нынешнюю особь человеческую! Даже по театру! Вот-так-с!..

Яблочков в непонимающей озадаченности пригладил ладонью лысину, обрамленную аккуратным колечком волос, заговорил тем же благопристойным тоном:

– Виноват, Борис Сергеевич, никто другому не может заказать быть глупцом. Испытываю неловкость перед вами. Вы благоразумны и критичны с головы до ног. А я по-эскулапски доверчив к науке с ног до головы. Добавлю: интуиция – это способности врача, даже если он предостаточный осел. Интуитивно чувствую: вы страдаете не большим сердцем, а расстройством нервной системы. Вам кто-нибудь и когда-нибудь говорил о вашем несправедливом красноречии?

– Непременно, всемилостивейший государь! Это как назвать по-вашему, по-военному – удар с фланга? Удар с тыла? Ниже поясицы?

– Мне кажется – нет.

– Прекрасная кажимость! Вы, доктор, и дочь моя сегодня преподнесли мне чудесный подарочек! – вскричал Борис

Сергеевич в фальшивом восхищении. – Впрочем, вы наказали меня по заслугам! Как, впрочем, и следует в нашей боевой нравственности! Шекспир, Шекспир и еще раз Шекспир!

– И, может быть, Филонов? – поддержал Яблочков, нацеливаясь очками на картину, освещенную солнцем над письменным столом. – Яркостью он украшает, конечно, кабинет. Но не мешает он вашим нервам криком красок?

– «Мешает»? Да вы что? Филонов – гений! Неповторимый, непризнанный при жизни, забытый всеми подвижник! Сейчас в живописи – везде гениальные ничтожества! Вы только что очень невнятно говорили об интуиции. У Филонова – аналитическая интуиция! Не врачебная, но аналитическая. Не сомневаюсь – вы не любите его!

– Постараюсь полюбить, Борис Сергеевич.

– Чем он вам не нравится?

– Я не сказал: не нравится. Способный художник для раскрашивания обоев и тряпок. Ни подлежащего, ни сказуемого. Сплошные прилагательные, неизвестно к чему прилагаемые. Хаос цвета, ни идеи, ни мысли, ни красоты.

– Ах, вам нужна красота! Вы копаетесь в ранах, в гное, в крови, а вам нужна красота! – Бориса Сергеевича охватил непреодолимый и, мнилось, деланный смех. – Красота спасет мир, и вот вам – война, все летит к черту, и миллионы убитых, уродство, беда. Нет, молитвы красоте уже не поют! Ни у кого сейчас нет безопасного убежища. Все время накапываются угрожающие валы. И никто не знает, когда придет

девятый. Последний. Гибельный...

Борис Сергеевич умолк, повалился в кресло у письменного стола, снова глубоко запустил обе руки в гривоподобные волосы и так минуту сидел, от всех отрешенный, несчастный, по его крупному породистому лицу проходили тени внутренней муки. Яблочков, румяный более обычного, подождав в раздумье, снял очки и начал усердно протирать их носовым платком, с близоруким сощуром взглядывая на Бориса Сергеевича.

– По моим коротким наблюдениям, с вами что-то случилось. Люди, похожие на вас, даже при всем счастливом везении в жизни, постоянно чувствуют превратности своего положения. И ожидают непредвиденную катастрофу, – сказал он. – Мне это понятно. Но тем не менее вы ничего не ждете от жизни?

Самолюбиво-властный рот Бориса Сергеевича повело зябко. :

– Покоя.

– Покоя? В наше время?

– Да, покоя. В нем свое движение. Боже мой, какая подлая жажда казаться выше, чем ты есть... – с омерзением промычал он в нос, не то оскорбляя Яблочкова, не то говоря о самом себе.

– Закончим на этом. Честь имею! Меня ждут больные.

Яблочков внезапно подтянулся, одергивая белый китель на низкорослой фигуре, щелкнул каблуками, оборотился к

Александр, который в течение всего этого разговора не произнес ни звука, с поверяющей придирчивостью оглядел повязку на его руке, пощупал, помял плечо.

– Здесь отдает?

– Немного, – трудно разжал пересохшие губы Александр.

– Все остается в силе. Госпиталь, – сказал настойчиво Яблочков. – Надо обязательно, Саша.

– Нет, Михаил Михайлович, не могу, – еле внятно выговорил Александр. – Я потом вам объясню. Маме ничего не говорите. Отсюда я уйду в другое место. Ребята вам скажут куда.

– Мда. Так. Туманно, – пробормотал неодобрительно Яблочков и тут же добавил: – Ну что ж, главное – не настраивай себя на дурные мысли. Держаться надо, лейтенант полковой разведки! Не первый раз. Верно?

Он слегка притронулся ладонью к плечу Александра, должно быть, утешая этим, затем крякнул и, низенький, несколько подобрвав оттопыренное брюшко, кивком попрощался с Борисом Сергеевичем, все в той же отрешенной позе несчастного человека сидевшим за столом:

– Честь имею.

И, подхватив саквояж, двинулся к двери, на ходу кланяясь Нинель, – она стояла у стены, закинув голову назад, особенно бледная от черноты коротких волос, упавших на щеку, и не ответила ни словом, ни жестом. Яблочков упредил:

– Провожать не надо, милая девушка. Я помню, как вый-

ти.

Со страдальческим лицом Борис Сергеевич заерзал бровями, замычал в нос и подал вдогонку Яблочкову повелительный баритон:

– Доктор, прошу вас все-таки позаботиться, чтобы молодого человека взяли в госпиталь сегодня же!

Остановленный властным окриком, Яблочков задержался перед дверью, произнес с сожалением:

– Да, лестницы чужие круты.

И вышел; звук его каблуков по паркету отдался в соседней комнате.

– Я уйду. Не беспокойтесь, Борис Сергеевич, – сказал Александр насколько можно сдержаннее. – Я все понял.

– Папа, что ты натворил! – выговорила Нинель со слезами в голосе и выбежала следом за Яблочковым.

– А, черт бы меня взял совсем! – вскричал Борис Сергеевич и с грохотом кресла отодвинулся от стола. – С ума можно сойти! Полоумие! Дикость!

И размашистыми шагами устремился к двери, распахивая полы своего широкого расстегнутого пиджака.

Этот не во всем понятный, хаотический, похожий на перебранку разговор между Борисом Сергеевичем и Яблочковым поразил Александра не тем, что вернувшийся с гастролей отец Нинель не желал видеть в своем кабинете «больничную палату», вдруг занятую незнакомым «молодым человеком», да еще раненным в драке, но тем, что Борис Сер-

геевич, позволяя себе безоглядно не стесняться, в каком-то исступлений ринулся на Яблочкова, как бы играя и упиваясь неистребимо-цепкой подозрительностью, свинцовой самонадеянностью, небрежением, и он без колебаний принял решение: «Сегодня же ночью уйду, Надо сообщить об этом Эльдару»...

Уже кабинет перестал заполняться голосами, опустел, и утреннее благолепие августа сверкало в тишине, комнаты. Шторы были раздвинуты, окна открыты, солнечные потоки ломились через весь кабинет. И от летнего солнца, свежего запаха утра в комнате Александр почувствовал облегчение и произнес вслух с хмурой веселостью:

– Честь имею.

Потом он бездумно лежал на диване, расслабленный, ощущая чистый бинт на руке, за которым притупленно ныла боль, чудилось, побежденная, неопасная после прихода Яблочкова. Из этого состояния бездумья его вывели шаги, голоса в другой комнате, они сплетались и отталкивались – голоса Нинель и Бориса Сергеевича.

– Папа, почему ты не хочешь ничего понять? Почему ты отпустил маму на Каланчевку? Доктор был прав, когда сказал, что у тебя что-то с нервами.

– Истерзался... Душа моя истерзана, Нели, – не сразу ответил Борис Сергеевич не артистически отработанным, а вялым, убитым голосом. – Я смертельно устал. Гастроли прошли из рук вон. Собирали половину зала. Аплодисменты

раздробленные, жиденькие. Кашляют. Сморкаются. Смеются там, где плакать надо. Играл я бездарно, ужасающе плохо. Мой барин Гаев вел себя, как пьяный извозчик. Получался не «Вишневый сад», а «Вишневый ад»! Неужели я изыгрался, выдохся, постарел и судьба пренебрегает мною? Ты слушаешь меня или думаешь о чем-то?

– Я слушаю тебя. Дальше что?

– Вчера после спектакля за ужином в гостинице поссорился с матерью, надерзил, нагрубил ей. И она оскорбила меня, сказала, что я был не Гаевым, а индюком на сцене, вообще что не намерена больше терпеть мой адский характер. Всю дорогу в поезде не разговаривала, измучила меня молчанием. С вокзала не поехала домой, а отправилась на Каланчевку, к сестре. Какая-то мука египетская! Каланчевка – ее остров! Стоит чуть вспылить, и она – к сестре! Нет, твоя мать жестоко поступает со мной!

– А ты с ней?

– Я люблю ее – вот моя жестокость! Кто-то из обиженных режиссеров сказал, что всех артистов до единого он считает развратниками, проповедующими мораль. Чудовищная клевета! Все мы подвержены одной болезни: казаться выше, чем мы есть! Все думают, как в молодости: о, я не хуже, чем Щепкин или Москвин! Тешу себя тем, что не порок мной владеет, а слабость, какая-то хворь души... Я страдаю, Нели! Я страдаю, но не могу жить в ладу с самим собой...

– Ну зачем же, папа, самоуничижение? Виват. Действи-

тельно – жиденькие рукоплескания. Какую противную роль ты сегодня сыграл. Тебе не было совестно перед доктором?

– Нинель, это слишком. Ты безжалостно преступаешь границы. Нет, ты не любишь своего отца.

В его голосе звучала мука до предела уставшего в страданиях человека.

– Прости меня за то, что я вспоминаю... Ведь была права мама, когда вы ссорились и она говорила в обиде, что ты не народный артист, а народный эгоист республики. Жуткие, конечно, слова! Но по настоящему тебя знает ведь только мама.

– Знать, познать! Что значит сие – знание о знании, что ли? Пустопорожняя болтовня! Прискорбно, но я сам себя не знаю, как не знает себя никто!

– Тогда запомни, пожалуйста. Если ты его выпроводишь, то я уйду вместе с ним. Я буду жить у Максима. Я не смогу здесь...

– Нели, родная моя дочь, за что? Вот она, казнь египетская! За нашу с матерью доброту, любовь к тебе ты хочешь предать меня и маму? За то, что мы создали тебе нормальные условия в эти страшные военные годы? Ты не голодала, была одета, жила в этой квартире. Ты в театральном училище...

– Я не сумею быть актрисой. У меня нет таланта. Я не могу его занять у тебя или у мамы.

– Что за дикость!

– Да, папа, нормальные условия. Я слышала, как ты одна-



жды сказал маме, что только материальными благами в наше ужасное время можно сохранить привязанность детей. Это так?

– Боже, спаси и сохрани от лукавого! Нели, ты в самом деле не любишь ни меня, ни мать! И бессердечно предаешь нас!

– Папа, предаешь меня ты. Я не хочу быть бесчестной к человеку, которому нужно помочь.

– Неужто ты любишь его? Неужто ты... Неужто этот незнакомый мне парень имеет с тобой что-то общее?

– Сейчас это не имеет значения.

– Та-ак, дочь моя, та-ак...

И тишина разорвалась, посыпалась, заплясала в столбах солнца серебристо-металлическими пылинками.

– Вывод ясен и ясен: ты его любишь! – речитативом утверждал в другой комнате сгущенный баритон Бориса Сергеевича и вдруг сорвался, взвился, крича: – А он? Он тебя любит? Ложь! Какая может быть между вами любовь? Это изрядная выгода для него! Расчет! Губа не дура! Любовь! Когда ты его могла полюбить? Где встретить? Как? «Она его за муки полюбила». Почему я ничего не знал, не видел его у нас ни разу? Ты же моя дочь, дочь народного артиста, артиста, а не пьяницы водопроводчика из ЖЭКа! Ромео и Джульетта, божественная идиллия! Ты доведешь меня до инфаркта! Ты в гроб меня загонишь! Я уйду на Каланчевку, к матери! Делайте что угодно, хоть госпиталь открывайте, хоть кафе-

шантан, хоть дом свиданий, хоть квартиру поджигайте! Я не хочу ничего слышать! Царствуйте! Я ухожу!..

– Где оскорбленному есть чувству уголок, – договорила Нинель с непрочной иронией, и голос ее осекся, упал. – Уходи, папа. Упав на колени перед мамой, попроси прощения. Она простит. Уходи, пожалуйста, иначе мы поссоримся окончательно.

– Экая ты у меня дура, дочь! Экая!..

Прогремели по паркету твердые шаги в другой комнате, отдаленно ударила, гудко отдаваясь на лестничной площадке, дверь – и все смолкло.

В течение нескольких минут, покуда она не входила, Александр со всей определенностью оценил жестокую смелость своего положения: укрываясь по воле Кирюшкина в незнакомом доме, он внезапно разрушил что-то в чужой семье. Этот Борис Сергеевич, еще не так далеко зашедший в годах, был человеком избалованного, недоброго ума, привыкшего не укрощать беззастенчивость собственных суждений. Думая об этом, он на ощупь вытянул папиросу из пачки на столике, но закурить не успел. Вошла бесшумно Нинель, словно только что аккуратно причесанная, но лицо по-прежнему было бледно, под глазами пепельные тени, она сказала:

– Мне показалось, ты спишь, а ты лежишь и думаешь о чем-то.

Александр положил незакуренную папиросу в пепельницу.

– Я слышал часть твоего разговора с отцом.

– Не знаю, что ты слышал, – проговорила она, не изменяя тона голоса. – Больше всего мне отвратительна мужская трусость. Сначала он спрашивал меня, кто ты, откуда, что за драка, почему в тебя стреляли, высказал предположение, что тут не исключена темная история. Он как огня боится милиции и всяких этих учреждений: судов, прокуратур. Не знаю почему.

– Пожалуй, это не трусость, – сказал Александр более непринужденно, чем ему хотелось. – Увидеть в своем кабинете незнакомого раненого парня – подумать можно о многом.

Она стояла у дивана, покусывая губы. Он позвал ее, надеясь ободрить:

– Посиди в этом кресле. Я буду просто смотреть на тебя, если разрешишь...

Она наклонилась, со вздохом обняла его, прижимаясь щекой к его щеке, так что он почувствовал мягко-щекотное прикосновение влажной моргающей ресницы. Она разомкнула руки на его шее, и только после молчания ей удалось улыбнуться ему, жалко хлопнув носом.

– Нинель, я тебя не узнаю, – сказал Александр. – Совсем не нужны слезы.

– Да это так, одна слезинка... но все прошло. Я хотела спросить тебя. О чем ты думаешь, Саша?

– Хочу остаться самим собой, – пошутил он не в меру лег-

ковесно, чтобы снизить напряжение неслучайного вопроса. – Знаешь, в любой стране, во все времена недостатка в донкихотах не было.

Она не приняла его фальшивого легкомыслия.

– Донкихоты умерли. А ты знаешь себя?

– Полностью нет. Но иногда чувствую.

Она опять неуверенно улыбнулась.

– А ты не хочешь стать не тем, кто ты есть?

– Этого я не смогу.

– Но ты же убил человека, Саша.

Александр посмотрел на нее. Она столкнулась глазами с его глазами, и губы ее чуть шевельнулись:

– Прости, если напомнила об этой жути.

– О, царица, сотканная из лунного света, сказал бы Эльдар, – проговорил он, поражаясь своему ерническому тону, но не находя в эту минуту ответа, который был бы правдой. – Послушай, Нинель, – заговорил он, уже тщательно расставляя слова, в которых был мучающий его смысл. – Я очень жалею... Жалею, что случайно достал... уложил эту сволочь... которая перестреляла бы всех нас, если бы...

– Достал? Уложил? Что за странные термины?

– Дело не в терминах. Так говорили в разведке.

– Что «если бы»?

– Если бы у меня не было с собой «тэтэ». Так называется пистолет. Я привез его с фронта. Знаешь, Нинель, пуля ведь совершенно равнодушна к тому, кого убивает. А я видел, как

эта обезумевшая мразь стреляет на поражение... Он ранил сначала Эльдара.

– И он стрелял в тебя?

– Да.

– И ты выстрелил в него?

– Убивать его я не хотел. Я не целился. А нечаянных возможностей в жизни – за каждым углом. Кто первый нажмет на спусковой крючок.

– Ты говоришь о нечаянных возможностях?

– Да.

– Это как... как судьба?

– Да. И то, и другое. Ответь мне на один вопрос, Нинель. Что сделала бы ты на моем месте, если это можно представить?

– Нет, Саша, я не могу представить, – сказала она. – Но все равно... даже кусачую собаку... я не смогла бы убить.

– Конечно, – согласился он с внезапной усталостью и лег на спину, приложив руку к бинту, плотным корсетом обкладывающему огненное сверление в предплечье.

– Болит? – чутко спросила она, а он, охваченный будто дурманно-сладкой отравой, со стиснутым горлом подумал, что неприкрытые обманчиво порочной завесой ресниц глаза ее наделены радостным даром – загораться и мягкой нежностью, и готовностью покорной помощи.

– Это еще не боль, – сказал Александр и убрал руку с бинта. – Странно... Ты спросила: болит? Так спрашивала мама

у отца, когда он умирал в госпитале.

– Саша, милый, – выдохнула она. – Все бы обошлось...

## Глава пятая

Стоял теплый и тихий послезакатный час, все мягко золотилось, угасая в вечереющей Москве, над дальними крышами одиноко царила в чистом небе зеленоватая луна. На улицах было светло. Еще не зажигались фонари.

С утра, солнечного и душного, окна были распахнуты настежь, и сейчас в комнате посвежело, везде бродил вечерний свет. Александр лежал один, в полудреме, лицом чувствовал прохладу, слышал, как стихали московские улицы, в этом затихающем шуме звучнее крякали сигналы автомобилей, изредка с опадающим шелестом проходили троллейбусы по расплавленному за день асфальту, слабо доносился электрический треск проводов.

Он любил простодушную городскую жару, палительные летние дни в замоскворецких переулках, когда июльский зной в полуденное время лежит на мостовых тупичков, нежно баюкает, клонит в лень, когда тут пребывает государство тишины и солнцепека, неразрушимый покой в школьных парках, запах сырой земли в тени под сараями на задних дворах, где на приполках в сонной истоме воркуют голуби.

Он любил и ранние утра в своем Монетчиковом переулке, открытые окна в еще росистую сырость тополей; там, в плотной зелени, от взбудораженной возни воробьев трепетала листва, чирикание врывалось в комнату сумасшедшим

хором, звенело над спящим двором.

Но ведь был когда-то и маленький немецкий городок со сказочными черепичными крышами, всюду обильно цвели яблоневые сады, дремали весь день, обогретые майским солнцем, и пресно-сладко пахло горячей травой. А он лежал в трофейном шезлонге, читая томик Чехова в дореволюционном издании, найденный в домашней библиотеке разбомбленного на границе Пруссии фольварка, и то смеялся от души над «Пестрыми рассказами» (он запомнил название этой книги), то, отложив книгу, подолгу смотрел в высокое небо, там медленно плыли белыми зенитными дымками облака, а лепестки яблонь планировали ему на грудь, касались шеи, открытой расстегнутым воротником гимнастерки. Он помнил в этом брошенном немецком доме веранду с дрожащей на полу солнечной сетью, заброшенной сюда сквозь ветви сада, упомнил майские закаты, потом сплошь позеленевшее небо светилось до ночи, а вечера были призрачны, чутки, пахучи, верхушки деревьев темнели на светлой незаходящей полосе на западе. И, сладостный в лесной дали, рождался и пропадал голос кукушки замороженным отсчетом неизбывной надежды на возможную близкую радость, и тогда ему думалось, что ради этого ожидания стоило и воевать, и жить.

В этот вечер, глядя на угасающий московский закат, на меркнувшие отсветы на мебели чужого кабинета, он вспоминал этот уютный германский городок, май, цветущие яблонь-



ни, стеклянную веранду, томик Чехова, любимого писателя отца, закаты над садом, голос кукушки, околдовывающий по вечерам обещанием счастливой жизни возвращения в милое, ни с чем не сравнимое Замоскворечье, с его провинциальными переулочками, январскими сугробами у заборов, инеем на трамвайных проводах в новогодние морозы, шуршащими и шумящими во дворах листопадами и незабвенным домиком в глубине двора, со всем школьным, прошлым, ликующим в долгожданном мире.

То было в одна тысяча девятьсот сорок пятом. Потом был фанфарно-победоносный, бескровный марш в Маньчжурии, куда перебросили его дивизию.

«Как счастливо кончилась война в том немецком городке», – думал Александр.

И, обволакиваемый тишиной вечера, приглушенными звуками улицы, Александр устало забылся, но сейчас же был разбужен движением, смехом, голосами в соседней комнате.

Он приподнялся, включил торшер, и в этот миг в кабинет уверенным хозяином вошел Кирюшкин, еще чему-то смеясь, белокурые кудрявые волосы были опрятно зачесаны на косой пробор, глаза щурились со знакомой дерзостью. Ком-составский ремень не без щегольской броскости охватывал педантично заправленную по талии гимнастерку, отчего увеличивался его высокий рост, хромовые сапожки поскрипывали по строевому; в руке он помахивал бутылкой вина.

– Боевой салют, Александр! Принимай гостей! Как на-

строение в полковой разведке? – сказал он с приветливой удалью, немного наигранной. – Глянь-ка на него, Миша, наш лейтенант выглядит ве-ли-ко-лепно! Образ-цово!

Следом за Кирюшкиным, косолапо переваливаясь на несокрушимых ногах, вероятно, из-за размера обутых не в праздничный хром, а в простые кирзачи, глыбой вдвинулся «боксер» Миша Твердохлебов, на его обширном лице отсутствовало всякое выражение приветливости, только взгляд, обычно непропускающе угрюмый по причине контузии и плохого слуха, испытывающе впился в Александра и, точно прислушиваясь, размягченно и обезоруженно засветился, выдавая свои постоянно зажатые чувства.

– Привет, кореш, – пробасил он и кинул какой-то сверток на кресло, после чего одернул новую гимнастерку, распираемую гигантскими плечами, искоса глянул на Нинель, стоящую в раскрытых дверях. – Сверточек вы возьмите, дорогуша. Там новый китель для Сашка, поскольку старый обчехрыженный и носить нельзя. И поговорить бы нам надо, дорогуша...

– Во-первых, я не дорогуша, милый гость. Во-вторых, не волнуйтесь, я уйду, – улыбнулась Нинель и, взяв сверток, закрыла за собой дверь в другую комнату.

«Непонятно», – подумал Александр, удивленный праздничным видом Кирюшкина и Твердохлебова, и, чтобы умерить волнение, нашел нужным сказать с безобидной бойкостью:

– Не то дым, не то туман! Головокружительно, кавалергарды лейб-гвардейского полка! К сожалению, нет оркестра, чтобы грянуть встречный марш! Спасибо за визит.

– Что ж, принимай ряженных визитеров, пришли к тебе как в гости, – отозвался Кирюшкин и ловко бросил бутылку Твердохлебову, поймавшему ее огромными клещами рук. – Раскупорь-ка, Мишуня, кагор полагается в госпиталях для поправки. Жив, Сашок?

– Несмотря на все принятые меры, – пошутил Александр. – Пейте без моего участия кагор и поправляйтесь. А я для приличия посижу с вами. Стаканы и рюмки вот там, в роскошном шкафчике возле письменного стола.

Он шутил, заранее закрывая предполагаемые вопросы о самочувствии, о ранении – говорить об этом значило возвращаться туда, в недавнее, о чем вспоминать не хотелось, как о неудавшейся разведке. Но забыть недавнее было невозможно.

Когда Александр, ощущая зыбкую слабость в ногах, легкое кружение в голове, сел на край дивана, а Твердохлебов ударом мощной лапы вышиб пробку из бутылки, Кирюшкин расставил стаканы, заговорил первым:

– Неглупые англичане уверены: лучшая новость – отсутствие новостей. Но все-таки новости бывают и спасательным кругом. О тебе все знаем от Яблочкова. Правильный мужик. Но его план об отправке тебя в госпиталь абсолютно неприемлем. Находиться тебе нужно здесь. Надежно и безопасно.

Только здесь. Яблочков будет приходить через день. Главная информация для тебя: Эльдар был у твоей матери, постарался объяснить твой отъезд. Понимаю – это для тебя главное. Эльдар, краснобай и златоуст, знаток премудрости мира, вспомнил всю Библию и все цитаты из Корана. Мать вроде бы поверила.

– Точно, Эльдар хвилософ, голова, – прогудел Твердохлебов, неудобно ворочаясь в тесном для него кресле, отчего оно трещало под его тяжестью. – Хвилософская, можно сказать, голова. Лошадиная.

Александр вытер испарину со лба, спросил, уточняя:

– Мать ничего не сказала Эльдару? Хотя что-нибудь она ему сказала?

Кирюшкин помедлил, обдумывая этот, по-видимому, непростой вопрос, затем проговорил размеренно:

– Уходить, Сашок, от прямого ответа, в сущности, тоже вранье... Мать выслушала Эльдара, конечно, заплакала, потом сказала вот что: «Я так боюсь за него. Не дай Бог, с ним что-нибудь случится»... Вот все, что она сказала. Это точно, до запятой.

– Понятно, – выговорил Александр.

– Мне тоже, – кивнул значительно Кирюшкин. – Даже сверх того. Ну, ты что – кагором лечиться будешь или у тебя по-прежнему полусухой закон?

– Закон я нарушил. Выпил здесь водки. Знобило. Кагор не буду, даже если он приносит наисовершеннейшее здоровье.

Пейте во здравие русского оружия, – ответил он не вполне искренней шуткой, и тут же его уколола мысль о том, что необъяснимо зачем он произнес эту хвалу оружию, похоже было, напоминал о безотказности фронтового «тэтэ», оказавшего услугу и Кирюшкину, и Твердохлебову, и Эльдару в том дьявольском лунном саду. – Нет, Аркадий, – заговорил он другим тоном, презирая себя за неудачную шутку. – Нет, здесь оставаться мне нельзя. Приехал отец Нинель и потребовал немедленно освободить кабинет. Я уйду к Эльдару. Он сказал, что в семье не возражают. Да, вот еще что. Тут объяснение по поводу меня произошло между отцом Нинель и Яблочковым – как будто черт их столкнул приехать в одно время. Народный артист был в ярости. Стоило его увидеть – фигура любопытная. Весь властелиноподобный.

– Дубина из дубин. Слава, деньги, женщины, – вяло покривился Кирюшкин. – Если заглянуть в комнату, куда он вошел, там обнаружится полная пустота. Не актер, а накладные усы.

– Ты его когда-нибудь видел? Набросился, аки тигр, не зная...

– Видел. И знаю. В какой-то картине. Играет лихо красавца аристократа. А в общем – алмаз нечистой воды. Даже добряк Яблочков не выдержал и рассказал, как Лебедев тут кипел и брызгал ржавым самоваром. Этому бы артистичности свою душу постирать надо. В срочную химчистку отдать – тогда поймет, что разжирел на народных харчах и бабьих аплодис-

ментах. Попортить бы ему попочку прикосновением грубой обуви где-нибудь в темном переулке – не мешало бы отрезать знаменитость! Терпеть патентованных проституточек и шкурников не могу! А за войну шкур в фильдеперсовых носках развелось в тылу предостаточно! Всех бы связал одной веревочкой – это безлиственные леса, мертвые! Видел их на войне?

– Ты о чем?

– О предателях.

– А ты только скажи, Аркаша, можно для порядку ляпнуть и по репе, ежели надо, – впелл трубное гудение Твердохлебов в ожесточившуюся речь Кирюшкина. – Поумнеет разом тыловая финтифлюшка. Отрастил морду. В кино видел: ну, репу разнесло! Ширше экрана. Фронтовиков не уважает, а артист хороший. Очень хороший.

Александр сказал отрезвляющим голосом:

– Перестаньте глупить! Не все решается так просто!

На лице Кирюшкина пребывала непроницаемая насмешка:

– Вразуми, Сашок, кем решается? Во имя чего? Ради каких истин? Хреновина! Каждый читает свою Библию. Два человека – две Библии. Треба знати, що брехати, абы гроши тилько мати. Девиз одних. Непротивление и трусливый сволочизм других. Между ними болтается всякая мелюзга, в том числе и великая добродетель. Болтаются, как цветок в проруби. Не могу жить в умелом бездействии. Ненавижу

усидчивое безделье исправных бурдаков! Да и ты тоже!..

– К какой категории ты относишь себя, Аркадий?

– Я вечный солдат, Сашок. Знаешь, были в девятнадцатом веке вечные студенты. А я вечный солдат. Поэтому – снаряды рвутся на бруствере. И тех, кто улыбается ушами, а при каждом свисте ныряет задницей в окоп, – презираю и брезгаю, как клопов! Это моя Библия. Как вижу, и твоя. Но разумность и расчет храбрых ребят не отрицаю. А предателей, шкуродеров, лесиков всяких расстреливал бы по приказу двести двадцать семь! По сталинскому приказу. И сколопендре Лесику мы еще припомним Сталинград! И твои дырочки в руке. Прощения тут нет! Унмёглих! Невозможно! Припомним! – подчеркнул он со злой решимостью. – Нас всех до этого не пересажают! Главное – не проколоться. Не быть ушехлопами. Как наш христианин Роман. Танкист сыграл в растяпу! Это ты знаешь?

«Проколоться? Приказ двести двадцать семь?.. – нахмурился Александр. – Что за наваждение? Он говорит так, как если бы вместе со мной видел сон, где он приговорил Лесика к расстрелу, и я все видел и слышал подробно, как наяву. Что он хотел сказать?»

– Как это Роман сыграл в растяпу? – спросил Александр недоверчиво. – Роман с Эльдаром был у меня утром. И растяпой не показался.

– То было утром, Сашок.

Нет, даже на пожаре Александр не видел Кирюшкина в

таком состоянии тугой собранности, будто раз и навсегда осознал что-то и пришел к единственному выводу. В его облике исчезла беззаботная снисходительность, зеленые глаза, всегда весело дерзкие, обретавшие змеиную неподвижность в моменты гнева, стали льдыстыми, выражая брезгливое неприятие. Он не притрагивался к стакану с кагором. Он решительно и ритмично постукивал пальцами по подлокотникам кресла. Твердохлебов, без вкуса выхлебывая из своего стакана слабенькое винцо, то и дело косился на эти твердые волевые пальцы.

– Что с ним? – поторопил Александр. – Что ты имеешь в виду, Аркадий?

– Роман растяпа и разгильдяй, дьявол бы его взял! – произнес Кирюшкин и сбросил руки с подлокотников кресла. – После того как он развез нас, ему надо было до зеркального блеска промыть пол в машине, чтобы не оставлять никаких следов. Чтобы ни один смертный носа не подточил. На полу ведь была кровь, голубиный помет. Я упустил, не напомнил ему, что блеск навести надо, а он, миленький, сам не допер, не повел ушами и преспокойно поставил машину в гараж. Машина-то была не его, как ты знаешь, а чужая, взятая якобы для перевозки мебели. А утром шоферюга, водитель машины, видать, сквалыга и зануда, обнаружил в кузове странные пятна на брезенте, на полу голубиный помет, кинулся, стервец, к завгару с жалобой: мне, мол, продукты возить, а в машине Билибин устроил безобразие. Завгар осмотрел ку-



зов, поковырял засохшую кровь и, видать, как ищейка, что-то заподозрил. Но к директору, умница, не пошел, знал, что тот будет защищать инвалида Романа, а сообщил, как стало понятно, в известные тебе наблюдательные органы. Ясно как день: служил, подлюга, честно. А уже после обеда Романа пригласил в комнату завгара некто в гражданском из уголовного розыска и с глазу на глаз стал задавать вопросы: зачем брал машину, куда ездил, а если перевозил мебель, то по какому адресу, не подвозил ли кого по дороге, что за пятна в кузове. И прочая, и прочая. Роман понял, что пропал, никакого адреса назвать не сможет, потому что проверят моментально. Сначала молчал, зажатый первыми вопросами, потом сообразил сделать неглупый шаг... – Кирюшкин с насмешливой злостью втянул воздух расширенными ноздрями. – Тут ему хватило сообразительности, танкисту бородавотому. Раньше бы соображать надо было! В общем, Роман изобразил приступ контузии – стал заикаться, мычать, дергать башкой, глаза закатывать. Ну, этого мы насмотрелись в госпиталях, изобразить можно. Да Роман и в самом деле контуженый. Малый из уголовного розыска оказался ушлым, сперва глянул с недоверием – хватит, мол, хватит, но изуродованное лицо Романа все-таки в сомнения ввело. И кончилось пока вот чем. Приезжала в гараж из милиции оперативная группа, колупались в машине, скоблили, смотрели, брали на экспертизу. Роману запретили выезд из города, он предупрежден, что вызовут еще побеседовать. Побеседо-

вать, понял, что это значит, Сашок? Особенно когда сделают в лаборатории экспертизу. Техники-криминалисты тугоподвижностью в башках не отличаются. Ребята ловкие и быстрые, даром хлеб не едят.

– Это сам Роман тебе рассказал? – спросил Александр, чувствуя, как что-то новое, опасное подступило вплотную, но в эту минуту еще безбоязненно подавляя в себе тревогу. – Роман был утром, ничего не сказал. Значит, случилось после, – договорил он то, что уже не имело никакого значения.

– Все случилось часа в три, – пояснил Кирюшкин. – А Роман приехал ко мне часов в шесть. Он знал адрес в Люберцах, где я ночую. Петлял по городу, чтобы не было хвостов. И появился мальчик с повинной. Ладно. Все. Теперь дело не в этом. Рвать на себе волосы и рыдать поздно. Давай думать, Сашок, как жить дальше. Программа лично у меня сложилась такая. Первое. – Кирюшкин ребром ладони пристукнул по подлокотнику. – Роману по причине страха перед милицией изображать рецидив контузии и играть под дурачка. Он инвалид, это правдоподобно. При его ранении и контузии ни один психиатр не докопается. Тебе же никуда не двигаться, оставаться здесь, несмотря ни на что. Народного артиста как-нибудь отшлифуем, спустим с деревьев на землю. Я что-нибудь придумаю. У Эльдара находится рискованно. Романа и Эльдара часто видели вместе. Друзья. Ниточка от Романа может протянуться к нему. Второе. Я сижу в Люберцах, в Москве не появляюсь. Запомни адрес: Тополиная, шесть.

Мой связной Миша. Приезжаю в Москву по необходимости. Вечером или ночью. С тобой держит связь Эльдар. Третье. На время, пока лежим на дне, пенензы у нас будут. Завтра мои однополчане из Люберец загонят портсигар на Тишинке. Но портсигар – попутная деталь, как сам понимаешь. У меня вопрос к тебе: как удобнее передать какую-нибудь сумму твоей матери? По твоей легенде, ты уехал зарабатывать деньги. Удобнее всего сделать это Эльдару. Он объяснит матери, что приехал твой друг из Средней Азии, привез от тебя деньги, с запиской, Тебе надо написать несколько слов. Миша передаст записку Эльдару. У меня все, Сашок. Обстановка тебе понятна. – Кирюшкин мельком взглянул на наручные часы. – Извини, до двенадцати я должен встретиться с Людмилой, иначе будет поздно, она не выйдет из дома. Если поправки и существенные идеи у тебя есть, выкладывай. Я слушаю, Сашок.

Он выпрямился, сухощавый, сильный, расправил грудь, в прищуре глаз была нерушимая твердая готовность к действию, и Александр, не прерывавший Кирюшкина, представил, как в своей батарее он отдавал приказы командирам взводов, ни в чем не сомневающийся, способный принимать рискованные решения, и подумал: «С ним легко и трудно было воевать».

– Не знаю, что ты еще посоветовал Роману, – наконец сказал Александр, – но контузия может не спасти. Надо доказательнее придумать, откуда кровь и голубиный помет в маши-

не. Утверждать, что перевозил мебель, чепуха. Ты прав – адрес проверят быстро. Поэтому про мебель стоит совершенно забыть. Роману необходимо придумать самое наивное. Может быть. Вообразить, что барышники с Тишинки попросили перевезти какой-то товар. Договорились о хорошей цене. Взял в гараже крытую машину, приехал, барышников на условленном месте не оказалось. Подвели спекулянты, как бывает часто. На обратном пути, уже вечером, машину остановил весь в крови парень с голубиным садком. Сказал, что ранен, на него напали, хотели отобрать голубей. Попросил подвезти к дому, например, в Сокольники, обещал щедро заплатить. И опять соблазн. И вот в этом-то вся вина. И тут надо говорить всякую жалкую ерунду. Зарплата крошечная, позарился, дурак, налево заработать, за эту глупость готов понести наказание и ответить. Наивно, Аркадий, но похоже на рвача шоферюгу, каких сейчас много.

«И он, и я придумываем ложь во спасение, – кольнуло Александра. – Контузия и рвачество – вряд ли это поможет, если в милиции не все круглые дураки».

– В общем, варианты продумать надо. Контузия остается. Если Роману нужно будет выздороветь, легенду твою не отбрасываем. В наивности что-то есть, – сказал Кирюшкин. – Жаль только – свою кровь какому-то парню отдаешь. – Он недоброй усмешкой отверг свою иронию и встал, механическим движением выравнивая складки гимнастерки под новым комсоставским ремнем, озабоченно сказал: – Пора. Мы

уходим. Миша, допивай кагор. Я пока позвоню.

Он подошел к письменному столу, снял трубку, быстро набрал номер и, повернувшись спиной, заговорил сбавленным голосом, удивившим Александра своей мягкостью:

– Лю, это я... Звоню из Москвы. Я здесь. Да. Через двадцать минут. На автобусной остановке. Я тоже. Знаешь, у меня в батарее хохлы говорили «соскучился за вами», когда ухаживали за санинструктором. Нет, я не ухаживал, Лю. Просто ты не любишь меня. Могу написать это в «Книге жалоб». Во всех магазинах Москвы. Это не очаровательная глупость, а констатация. Я еду. Выходи из дома, когда в окно увидишь меня на остановке.

Он положил трубку, и сейчас же Твердохлебов, как по команде, вырос перед ним тяжеловесной громадой, махнул вместо салфетки широченной ладонью по рту, вытирая губы после допитого стакана вина, пробасил:

– Да-а, хохотать и сморкаться хочется. Как Ромашка наш обо... обделался. Танкист, хфилософ, а башкой не сообразил. Тугоподвижность, как ты говоришь, Аркаша. А?

– Не хохотать хочется, а покрыть все сплошным хохотом и матом, – поправил Кирюшкин жестокосердно. – Умение жить – умение держать уши гвоздем, а не развешивать уши по-ослиному. – Он оторвал листок от блокнота возле чернильного прибора, выдернул карандаш из керамического стаканчика и, положив листок и карандаш на столик возле дивана, сказал: – Твоя записка, Саша, наверняка снимет до-

ма напряжение.

И Александр, в испарине слабости, преодолевая непослушность в отвыкшей от карандаша руке, написал насильственно старательным почерком:

«Дорогая мама, посылаю тебе первый полученный аванс. Со мной все в порядке. Целую тебя, Александр».

– Все теперь зависит, Сашок, от нашей воли, – сказал Кирюшкин, пряча записку в карман гимнастерки. – Или пан, или пропал. Не царь, не Бог и не герой... Кроме нас самих.

Александр проводил их, пожав обоим руки без прощальных слов, потом утомленно присел на подоконник, глядя на свет абажуров в двух еще не потушенных в ночном дворе окнах. Полный месяц висел невысоко в небе, крыши блестели. Синий воздух заполнял двор текучим озером, дымился, сквозил меж тополиных ветвей, длинные тени пролегли по земле. Он смотрел на крыши, на тени тополей, на месяц, в голове его вертелась одна и та же фраза: «Со мной все в порядке», – и непроглатываемый комок в горле прерывал ему дыхание. Он вспомнил слабую шею, тихий голос, всепрощающий взгляд ее задумчиво-печальных глаз, и влажно. Мерцающие лучи начали протягиваться от месяца к земле, сходиться и расходиться зыбкими веерами. Он понял, что впервые за много лет его душат забытые с детства слезы – от любви, вины, жалости к матери.

## Глава шестая

Он услышал звон разбитого стекла, брызжащий звук осколков, чей-то испуганный вскрик возле самого лица, сквозь сон почувствовал, как теплой щекой Нинель прижалась к его груди, точно ища защиты, и он, мгновенно придя в себя, протянул руку к выключателю, но она остановила его шепотом:

– Не зажигай свет, Саша!

– Успокойся, Нинель, я посмотрю, что за чертовщина!

Он соскочил с дивана.

В сером предрассветном сумраке проступал квадрат окна (ночь стояла душная, штора не была задернута), и сразу же Александр увидел в стекле крупную пробойну, она смутно прорисовывалась наподобие гигантского паука – трещины от дыры расходились лапками в разные стороны; осколки поблескивали на подоконнике и на полу – подойти ближе босиком было нельзя. Тогда он шагнул к другому окну, раскрыл его в хлынувший ночной воздух и с высоты третьего этажа взгляделся в тихий двор внизу, темный от тополей, без единого огня в соседних окнах. Двор спал под звездами, ясными и низкими перед рассветом, и нигде – ни голоса, ни движения, ни шагов – все покоилось в безмолвии на исходе ночи.

«Кто же это решил разбивать стекла? Уличная шпана? Может, швырнули камень потому, что мы долго разговари-

вали с Нинель, не гасили свет и наше окно кого-то раздражало?»

Встревоженный голос Нинель послышался за его спиной:

– Посмотри, что я нашла! Вот здесь, возле стены...

– Что там?

– Вот, посмотри. Что это?

Он различил ее в водянистой полутьме, закутанную в халат, от этого вроде бы незнакомую, потолстевшую, она со страхом держала в руке какой-то белеющий комок, и Александр, не сомневаясь, что она нашла камень, включил на письменном столе свет лампы, ожививший комнату разительной яркостью, взял из ее руки увесистый комок. Она вскрикнула:

– Зачем ты зажег свет? Погаси сейчас же!

– Не зажигать свет бессмысленно, – успокоил Александр. – Не будем показывать, что мы перепугались, затаились, как мыши. Возможно, кто-то посмеялся и наблюдает за окном. Нет, это не просто камень, – сказал Александр, разглядывая увесистый предмет, обтянутый перевязанной шпагатом пленкой, сквозь которую виднелась обернутая вокруг него бумага в синюю тетрадную полоску. – Странноватая штука, черт возьми, типичный метеорит... из аптеки, – добавил он без улыбки, срывая шпагат с прозрачной пленки, и развернул тетрадный листок, вжимавший коричневый булыжник. – Все ясно, абсолютно ясно.

На тетрадном листке крупными буквами химическим ка-



рандашом было выведено коряво:

«Тебя мы вычислили. От нас не слиняешь, курва. Под землей найдем».

– Что это за письмо? Кто это? – выговорила Нинель, заглядывая сзади, и, вмиг догадавшись, порывисто припала лбом к его плечу. – Это те, с которыми ты дрался? Это они?

Он не ответил, положил записку на письменный стол, плотно придавил ее булыжником, постоял немного, обдумывая значение этой записки, и до него плохо дошел голос Нинель:

– Они тебя преследуют? Они, это они? – Она обняла его сзади, все сильнее вжимаясь лбом в его плечо. – Но как же они узнали? Кто же им сказал, что ты здесь? Ведь сюда приходили только твои товарищи и доктор? Как они узнали?

И, подбирая слова сверх меры уравновешенно, чтобы не обострять того, что стало очевидным и что так испугало ее, он ответил:

– Это не так трудно. Им помогает уличная шпана. А она за мелкую плату может следить за каждым. Это в нашей жизни не самое удивительное.

Он легонько повернул ее к себе, чтобы обнять всю, но мешала раненая рука, тогда он улыбнулся ей в обмирающие глаза, поцеловал ее в висок, и она ответила ему напряженной улыбкой, мигом погасшей.

– Почему ты со мной так говоришь, Саша?

– Я не хочу, чтобы ты боялась чего-то. Записка с угрозой

– клочок бумаги.

Она уткнулась носом ему в шею, заговорила торопливо:

– Нет, я не трусливый заяц! Но они тебя преследуют! А это же – банда! Здесь нельзя тебе оставаться! Они что-нибудь сделают чудовищное! Мы уйдем отсюда сегодня же!

– Куда, Нинель?

Она отклонилась назад, глаза ее завораживали, умоляли и требовали немедленного подчинения.

– Я отвезу тебя к моему брату, он живет возле Калужской площади. Знаешь кинотеатр «Авангард», в бывшей церкви? Вот там, в переулке, за кинотеатром. Собирайся, Александр, сейчас же! В пять часов начинают ходить трамваи.

Он спросил нетвердо:

– Уходить сейчас? – И почему-то не поверил, что у нее есть брат: – Он старше тебя, твой брат? Младше?

– Сводный. Сын первой жены отца. Одевайся! – поторопила она. – Я оденусь быстро. Тебе помочь? Как ты себя чувствуешь? Очень болит рука?

– Я прекрасно себя чувствую, – солгал он и неудачно пошутил: – Причина – готов к новым приключениям.

– Саша, ты можешь еще шутить? Ты неискренен со мной?

Неестественным, наверное, казалось то, что угрожающая эта записка, присланная каким-то, должно быть, тюремным способом, не всколыхнула в нем ни чувства наступающей опасности, ни боязни мщения, только зябкий холодок на минуту стянул кожу на щеках, обвил его грудь как ремнями, и

это тугое чувство было схоже с обезоруженным гневом, будто издали приближалась, заходила гроза, а он мало что мог сделать, чтобы укрыться от нее.

– Ты уверена, что твой брат примет меня не так, как твой отец? – спросил он, не отвечая ей прямо. – Нежданный гость, да еще раненый...

Да, он не был с ней искренен в той мере, в какой была открыта она. Он зачастую сдерживал себя выказывать душу, скрывая боль, бессилие, стесняясь на людях проявлять свое преданное отношение к матери, которую теперь, после гибели отца, любил отчаянной жалостью верного сына. Близость непостижимого и вечно родного, единственного, непреодолимая пропасть между войной и прошлым возникали перед ним как знак предсуществования, рождая сладкую тоску по чему-то далекому, неизъяснимо счастливому, что было только в детстве и что навеки минуло, сгорело в огне. Война выработала в нем внешнюю неуязвимость. Он сознавал это, в нем жил лейтенант, командир взвода разведки, «смертник», обязанный в самой безвыходной обстановке внушить себе, что он презирает страх, трусость, минутную слабость. И – чтобы не унижить себя в собственных глазах – готов терпеть и считать риск качеством мужского порядка.

– А знаешь, Нинель, некоторые штабисты называли разведчиков смертниками, – сказал Александр не то серьезно, не то полушутя. – Я прошел войну. – значит, бессмертен. Главная случайность миновала.

– Что за случайность? О чем ты говоришь? В тебе осталась какая-то детскость. Одевайся! Быстрее! Не смотри на меня так! Я уже почти готова, – говорила Нинель, быстро расправляя на себе платье, заглядывая в зеркало меж резных шкафчиков, вновь превращаясь в ту отдаленную Нинель с восточными ресницами, какую он пытался разгадать, знакомясь на вечеринке, и не разгадал до сих пор в ее познанной за эти дни переменчивости.

– Что ж, Нинель, поедем, – сказал он, опять думая о том, что долго она не сможет быть с ним, что он не ее круга, и спросил: – Слушай, кто дал тебе такое странное имя – Нинель?

– Пошли быстрее. Подожди, я помогу надеть тебе ордена. Кирюшкин молодец, прислал китель, как будто на тебя сшитый. И, кажется, новый.

– На рынке можно купить и черта. У Аркадия глаз артиллера.

Уже одетый, он взял записку со стола, сунул ее в карман кителя, поправил руку на перевязи. Она придиричиво оглядела его:

– Кажется, все в порядке. Человек из госпиталя. Играй эту роль. Я тебе помогу. Я сопровождаю тебя. Смотри на меня влюбленнее. Я отвечаю за тебя, как сопровождающая сестра или невеста.

Они вышли, и он подумал:

«Не видит ли она во всем этом страшное и захватывающее

приключение?»

До парка культуры ехали в пустом трамвае, одиноко гремевшем в рассветной Москве. Был еще сонный час, беловато-розовый воздух над мостовыми курился предзнойным парком, в пролетах улиц нежно краснели верхние этажи, тронутые занимающейся где-то на окраине зарей, ветерок в открытые окна омывал вагон, приносил запах утреннего асфальта. На площади ранняя поливальная машина, распуская водяные радуги, звучно ударила струей в бок трамвая, мелкие брызги сверкнули в окно. Александр вытер прохладу капель со щеки, сказал с веселой задумчивостью:

– Хорошо бы сейчас искупаться где-нибудь у Нескучного сада. День будет жаркий, а вода утром холодноватая.

Она, едва ли воспринимая слова Александра, взглянула на него сбоку.

– Как хорошо, что мы одни в вагоне, – сказала она шепотом, поводя бровями в сторону водителя трамвая, спина его равнодушно покачивалась за стеклом, чудилось, дремала. – Когда мы шли до трамвайной остановки, я все время смотрела по сторонам. Боялась, что кто-нибудь следит за нами из этой шпаны. Правда, был один пьяный. Сидел на мусорной урне и спал. Что ты сказал насчет купанья? Для чего?

– Тебе послышалось, Нинель, – ушел от ответа Александр, понимая, что легкий бытовой тон не успокаивал ее. – Просто я устал молчать и сказал что-то невпопад.

– Смотри не на меня, а в окно, – сказала она и поправила

перевязь на его руке, – а то ты действительно представишь, что я твоя невеста.

– Представить эта трудно.

– То-то же. Вот и первые пассажиры, – прервала она его.

На остановке вошел средних лет мужчина в заляпанном известью рабочем комбинезоне, с вялым, измятым лицом, и следом впорхнула на острых каблучках молодая женщина-тростиночка с подведенными губами, бойким вздернутым носиком и начальственным взором секретарши. Мужчина развалисто уселся сзади и начал затаенно, с собачьим завыванием зевать, женщина присела впереди него, раскрыла сумочку на коленях и стала копаться в ней, искать что-то пальчиками. Нинель вздохнула, коротко переглянулась с Александром и с многозначительной успокоенностью опустила черную завесу ресниц, что, вероятно, обозначало: «Слава Богу, этих опасаться не надо». А он, наблюдая за ее лицом, подумал в ту минуту: «И откуда могут быть такие невероятные ресницы?»

До Калужской площади трамвай понемногу заполнился, но Нинель уже не встречала каждого нового пассажира раздвинутыми недоверием глазами, сидела, надменно выпрямив спину, лишь иногда тонкая морщинка тревоги прорезала ее переносицу, и он догадывался, что она думала о разбитом ночью окне, о камне с запиской, испугавшей ее оголенной угрозой.

Когда сошли на просторной и безлюдной Калужской пло-

щади, Нинель удовлетворенно оглянулась на трамвай, уходящий с зарумяненными стеклами, взяла под руку Александра и не без решительности повела его мимо знакомого ему кинотеатра «Авангард», помещенного в бывшей церкви, мимо маленьких, закрытых в эту раннюю пору магазинчиков с каменными ступенями, изобильных до войны, скудных теперь, жалких своими пыльными витринами. На углу они повернули в переулок, на гулкий тротуар, прикрытый, как крышей, ветвями лип, пошли мимо купеческих особнячков с мансардами, с заржавленными перилами крылец, двориками без заборов, в войну сожженных вместо дров по всей Москве.

– Вот здесь, недалеко здесь, – говорила Нинель, водя взглядом по крыльцам домов и дворикам, и всякий раз, замедля шаг, чуточку сжимала локоть Александра. – Ты не устал? Я не так часто бывала у Максима. Мы скоро придем. Он живет в полуподвале, в двухэтажном доме, недалеко от угла.

Она не очень точно помнила дом, в котором жил ее сводный брат, но Александр заметил, ее лицо вдруг осветилось огоньком облегчения, когда подошли к двухэтажному облупившемуся особняку, некогда канареечного цвета, – с навесом над парадным, где сбоку пуговики звонка виднелась табличка, обозначающая напротив фамилий жильцов количество звонковых сигналов, что говорило о плотном заселении дома.

– Вот, – сказала она радостно. – Но он не здесь, надо зайти

со двора, – поторопила она и потянула его за локоть во двор.

Двор начинался за тротуаром (забора не было), большой, покрытый выщербленным асфальтом, с одноэтажной постройкой под разросшимися липами, похожей по широким воротам на гараж. В глубине двора торчал на метр из земли фундамент какого-то строительства, валялись бревна, мешки с рассыпавшимся цементом, возвышалась пирамида новых кирпичей. Заржавленный, зияющий глазницами разбитых фар грузовик стоял в стороне от гаражных ворот, в кузове были горой навалены изношенные покрышки. Возле машины непроспанный дворник, сердясь тощим морщинистым лицом, вяло волочил по асфальту полусогнутые ноги, шмыгал метлой, собирая в кучу пыль, окурки, смятые папиросные пачки, лениво сплевывал перед собой:

– Сволота и есть пьяная сволота... шоферня подколотая...

Держа Александра под руку, Нинель повела его к навесу над лестницей в полуподвал, кивнула дворнику, как старому знакомому: «Здравствуйте», – а он оперся на метлу, расставив ноги, не узнавая, поглядел мелкими желтыми глазами, отозвался тонко скрипучим голосом:

– Извиняйте, девушка хорошая, что-то не припомню вас. К кому вы? Ежели к инженеру Киселеву, – так в командировке он. В отъездах инженер. Четвертого дни с чемоданом под мышкой уехал, сказал: ежели спрашивать будут, то, мол, через три недели вернусь, не раньше. Нет сокола ясного, уле-



тел. А женщины ходят к нему и ходят, головы куриные. Два раза в разводе, а они все ходят, жены то есть. За алиментами, небось, ходят...

– Мы не к Киселеву, – вынужденно засмеялась Нинель. – Нам он, представьте, совсем не нужен. Мы к Черкашину.

– К студенту? Ясныть. В подвале он, ежели не на бровях... то есть тверезый ночевать пришел... Тоже без царя в голове. Охо-хо, красавица, – ворчливо забормотал старик и вззрился подозрительным бесцветным взором на Нинель, затем вкось глянул на забинтованную руку Александра. – Из госпиталя, видать, парень? После войны никак гвоздануло? Дела-а... Быва-ает, и старуха теленка рожает, – заключил он. – Ежели после войны гвоздануло, Бог наказал. – И, осуждающе поджав песочного оттенка губы, махнул в сердцах метлой по асфальту. – В подвал вам, в подвал, ежели к Черкашину... Может, zenки и продерет с похмелья-то. И откуда деньги у людей? Махлюванием занимаются или еще чем...

– Мудрец вы, папаша, спасибо за информацию, – добродушно поблагодарил Александр, понимая, что старик пребывает в настроении желчном.

– Мудрец, не мудрец, а ты думал как! Чего вам в такую рань Черкашина-то? Приспичило, что ль? Кто вы такие ему? Сродственники только спозаранок к сродственникам приезжают. Вы-то кто в такую рань?

– Друзья, папаша.

Они сошли по лестнице в полуподвал и остановились пе-

ред закрытой дверью, отыскивая звонок, его не было. Из порванной обивки торчали клочья серого войлока, железный почтовый ящик висел кособоко – тут словно никто не жил, пахло плесенью и запустением.

– Как некстати мы встретили этого противного старикашку, – сказала Нинель и досадливо повела плечами. – Как нарочно! Будто кошка дорогу перебежала!

– Бог с ним, со старикашкой, – успокоил Александр. – Разве ты не знаешь, что дворники, пожарники и ночные сторожа – завзятые философы и мудрецы?

– Ты опять шутишь? Мне плакать хочется, а ты шутишь! Тебе разве легко на душе?

– А что мне остается делать, Нинель, милая? – Он осторожно взял ее за теплый затылок, притянул к себе и поцеловал не в губы, а в переносицу, в шелковистость нахмуренных бровей, проговорил: – «Люблю ли тебя, я не знаю, но кажется мне, что люблю...» Почему-то вспомнил ни к селу ни к городу. Вот и все. Это самое главное. Все остальное – че-пу-ха.

– Саша, что случилось? – прошептала Нинель в деланном ужасе и торопливо постучала в дверь, как бы спеша уйти от его ответа. – Не объяснение ли это в любви на лестнице? – И она неискренне восхитилась: – И даже романс! Поразительная сентиментальность! Никогда бы не подумала...

– Любимый романс моей матери и отца.

– Да?

И, наверное, боясь его серьезного ответа, она постучала громче и, приложив палец к губам, что означало «молчи», пододвинулась к двери, слушая за ней какие-то ползущие бумажные шорохи. Александр сказал:

– Хорошо, я отвечу потом. По-моему, твоего брата нет дома. – И, казалось, без видимой причины повеселевший, провел рукой по клочкам войлока, торчащим из обивки. – Жаль, нет динамита. Три минуты – и двери нет. А если без шуток, то вот о чем я сейчас подумал, Нинель. Правда, мысль пришла в трамвае. В Ленинграде живет мой разведчик Хохлов. Не пойми за хвастовство, но он готов за меня в огонь и воду. Парень верный, исключительный. Несколько раз умирали вместе. Приглашал меня к себе много раз. Весной женился, но я не смог поехать на свадьбу: лишних денег не было. Что ж, Кирюшкин оставил нам кучу красных бумажек – целое богатство. Не уехать ли нам в Ленинград недели на две?

– Уехать? Зачем? – выговорила она невнимательно и снова постучала с нетерпеливым упрямством. – Где же он? Где он пропадает?

– Недели две можно было бы пожить у Хохлова. Он был бы рад. И я тоже.

– Перестань фантазировать, – сказала она с несчастным лицом. – У какого Хохлова? Ах да, твой разведчик... Где же Максим? Какое жуткое бессилие, хоть плачь!

– До слез, я думаю, не дойдет, – сказал Александр, слышав шаркающие шаги по асфальту двора.

Там сверху, у навеса над ступенями лестницы, разда-лось покашливанье, кряхтение, сплевывание, потом появи-лась тощая фигура дворника, волочившего по асфальту мет-лу, болезненный голос его назойливо проскрипел:

– Нету? Без царя в голове Черкашин-то ваш... Либо с про-сти господи по ночам шляется, гуляет, либо дрыхнет без зад-них ног. И зачем он нужен-то вам, шалопут неоснователь-ный?

– Ничего, папаша, если дрыхнет, достучимся, – заверил Александр. – Его окно левее лестницы?

– Давай, стучи в окно. Али заказывай пальбу из пушек.

И дворник, ощеренным ртом обнаруживая недостачу зу-бов, побрел от лестницы, везя за собой метлу по асфальту.

Уже не надеясь, они все-таки достучались. Темная занавеска на окне раздернулась, недоуменно выглянуло круглое, совершенно невыспавшееся, ставшее вдруг сияющим лицо, после чего послышалось беглое движение за дверью, звякну-ла защелка, дверь открылась, на пороге переступал с ноги на ногу еще пьяный от сна молодой парень, босой, в трусах и майке, капельки пота выступали на верхней губе. И, не уме-ряя счастливого изумления, он воскликнул:

– Сестренка? Ты? Ну и ну! А это кто с тобой?

Они вошли в коридорчик.

– Привет, Мак, мы совсем неожиданно, соня праздный. Еле достучались. – Нинель, играя родственную строгость, чмокнула брата в щеку и представила Александра: – А это

мой друг, познакомься, Максим.

– С удовольствием! И прошу прощения во всех смыслах! Без штанов представляться вроде не по светски! – спохватился Максим, открывая бесхитростным смехом чистые сахарные зубы, и тут же чрезмерно сильно пожал руку Александра, назвал свое имя, вслух повторил имя Александра и предупредил: – Отчество мое не обязательно. В моем солидном положении – это лишний довесок. Вас же разрешите по отчеству. Александр для меня фамильярно. Мне очень приятно познакомиться. Преклоняюсь перед фронтовиками. Вы что – лечитесь в госпитале?

– Что-то в этом роде, – ответил Александр. – И тоже прошу без всяких отчеств. И, если можно, на «ты».

Нинель с видом хозяйки отворила дверь в комнату и приостановила разговор:

– Мак, не держи гостя в коридоре и оденься наконец, чтобы гость не принял тебя за шалопута без царя в голове.

– За шалопута? Без царя в голове? Гениально и сногсшибательно! Но не в десятку. Надо бы – за беспортошного голодранца, прости за грубый реализм! – поддержал сестру Максим, не обижаясь. – Как тебе не пришло в голову такое великолепное определение? Проходите, гости, в залу, – по мальчишески сияя, как давеча, пригласил он и простер руку к двери.

– Не я придумала дурацкого шалопута, а ваш мудрый дворник, которого мы сейчас встретили. Оказывается, ты

еще ходишь на бровях по ночам, – сказала Нинель, первой входя в комнату, и позвала Александра за собой: – Саша, здесь живет бесштаный голодранец, мой брат, о котором так образно говорил аристократ духа с метлой.

– А-а, дядечка Федор? – догадался Максим и проворно исчез за зеленой занавеской, отделяющей часть комнаты. – Раз два он меня видел под булдой, это справедливо и отвечает правде! Дядя Федор – особый, очень особый старичок. Он видит все человечество погрязшим в пороке, как в Содоме и Гоморре. Халда! Видели, какая у него косенькая улыбочка? По ночам читает Ницше и Шопенгауэра под одеялом. Боится, скалкой помнет бока старуха за трату электричества не по лимиту! – крикнул из-за колыхающейся занавески Максим. – Ясейчас! Сестренка, посмотри на левую стенку, над печкой, там – новое, ты еще не видела!

## Глава седьмая

– Знаешь, мне всегда нравилось у Максима, – сказала Нинель, прослеживая за взглядом Александра, оглядывающего комнату с молчаливым вниманием человека, еще не попадавшего в такую обстановку. – Здесь какая-то свобода, понимаешь? Все просто и все таинственно. Я никогда не пойму, как все это делается. Вот, посмотри сюда, на новое. Боже, как грустно!..

Она повернула его лицом к картине, и он увидел кровавый, придавленный тучами закат, под ним сторевшую деревню, повсюду черные скелеты печей, среди этого разлива крови черные ветки обугленных деревьев, на дороге исковерканное колесо, вдавленное в колею, наполненную водой, отражавшей мрачную багровость заката, и над всем этим кладбищем траурным комом выделяется на сучке ветлы одинокий ворон, как будто адский сторож пепелища и гибели.

От картины дохнуло тоской умерщвленной земли, какую много раз видел Александр, этим же ощущением одиночества обдала его и другая картина, висевшая рядом. Ночь, осень, ветер, при сильном порывегнулись, схлестывались голые ветви берез у обочины шоссе, ударяли по ослепительному диску полной луны, по раскаленному куску металла в небе, загроможденному грозно ползущими на луну чернопельными тучами, а внизу на пустынном шоссе мчится за-

брошенная от всего мира санитарная машина, тускло протянут по морщинистым лужам свет приглушенных фар.

– Ты сказала, что твой брат не воевал, – проговорил Александр. – Откуда он это знает, Нинель?

– Спроси у него сам, – ответила она и показала бровями. – Вот сюда посмотри. Наверно, тоже война, по настроению.

На картине – две человеческие фигурки, глядя куда-то вверх, стояли под звездами посреди ночного двора подле нарубленных дров, низкие тучи дымом неслись над крышами. Во дворе ни огонька, на стеклах смутно белеют кресты наклеенной бумаги. Темно, пусто, тревожно.

– Да, похоже на войну, – сказал Александр. – Твой брат любит рисовать тучи. Я почему-то на войне так отдельно туч не замечал. Важно было одно: светлая ночь или темная.

Из-за отдернутой с треском занавески вышел Максим, одетый в клетчатую рубашку, в широких брюках, запачканных краской; на фанерке, заменяющей поднос, – бутылка, стаканы, кусок сала в замасленной бумаге, батон белого хлеба. Он решительно отодвинул книги и папки к середине стола, поставил поднос и, видимо, услышав последнюю фразу Александра, продекламировал:

– «Мчатся тучи, выются тучи, невидимкою луна освещает снег летучий, мутно небо, ночь темна». Война – это бесовство, кровь, мужество и полный идиотизм. Я с двадцать седьмого. Не успел. Жаль, конечно, но... Садитесь, друзья. Закусим по-студенчески. Можно с самогоном, купленным на



Даниловском, можно и без самогона, с чаем, купленным по карточкам. Прошу садиться в кресла русской аристократии былых времен. Мебель моя не в чиппендейльском стиле. О, нет! Но гарантирую: грохнуться, ляпнуться, сверзиться с нее никак нельзя, сам чинил ножки, сам реставрирую.

Он ловко пододвинул к столу выдавшие лучшую пору ободранные кресла, включил электрическую плитку на тумбочке, кинул на покрасневшие спирали чайник и, почесав грубоватыми пальцами в пшеничных волосах, повернулся к Александру, словно вспоминая:

– Вы что-то сказали насчет моих попыток...

– Мы договорились на «ты».

– Ты что-то сказал насчет войны и туч. Понятно: войны поблизости я не видел. Объяснить невозможно. Но война связана у меня с надвигающимися тучами, с ночью, одиночеством перед смертью, с пустотой. Вот у японцев есть понятие «моно-по-аварэ» – скрытая прелесть вещей и событий, исконная печальная тонкость. О, достичь бы этого! Ухватить бы эту таинственную прелесть! – выговорил Максим, и глаза его стали мечтательно-доверительными. – Вот тогда и рождаются шедевры! Не поймал! Не ухватил!

Без желания возражать этому располагающему к себе любопытному парню Александр все же сказал:

– Пожалуй, не очень верно для войны. Скрытой прелести, печальной тонкости не было. Тучи, закаты и звезды понастоящему замечали только во время отдыха или на фор-

мировке, где-нибудь в тихом селе. На фронте это проходило мимо. Например, небо воспринимали так: летная погода для немецких самолетов или нелетная.

– Пугаюсь хулы и похвал боюсь, а ты критикуешь из ряда вон потрясающе! – воскликнул Максим и принялся такими энергичными нажимами нарезать черствый хлеб, что стол закрипел и зашатался. – И тем не менее позволь задать несколько вопросов. Скажи, все лебеди белые?

– Пожалуй, да.

– А если вдруг в стае летит черный лебедь, что подумаешь тогда?

– Подумаю, что среди белых есть и черный.

– Ну, а если увидишь лебединую стаю всю черную, что тут скажешь – все лебеди черные?

– Наверно, скажу: большинство – белые.

– Вот это есть что-то вроде математической индукции. И это очень похоже на искусство. Должно, не очень понятно, что я тут умно-глупо наквакал?

– Не очень.

– Что ты! Абсолютно понятно. Это же банальщина, азбучная истина! Наши знания – полумиф, полуложь. Мы даже не знаем, почему человек чихает. Мы знаем, отчего останавливается сердце, и не знаем, отчего оно бьется. Что мы знаем вот об этой пыли? (Указал на мельчайшую пыль, толкущуюся в. протянутом через комнату луче света). Не больше, чем она о нас. В белом черное, в черном белое. В утверждении

«да», наверно, гнездится «нет». И так далее, и тому подобное. В данном случае: белизна – мысль, дух, идея. Без белизны лебедь не лебедь, без духа – искусство чепуха. И тут же черное. Почему? Чем объяснить? Откуда оно? Тайна. Загадка. И еще раз тайна. Древних Афин нет, Сократ не подскажет, а вся мудрость мира родилась там. Вот существует добровольное рабство – высиживание птицей яиц и самоотверженное выкармливание птенцов. Это прекрасно, это вызывает у меня восторг! Я пошел в добровольное рабство, надел не по силе кандалы: хочу поймать ответ тайны... Помнишь, как в детстве мы ладонью ловили солнечный зайчик! Нет, это черт знает что с бантиком слева, когда подумаешь, как цветом передать, что чувствует иногда человек! Импрессионизм бессилён. Представь: ночь, лунное море, тишина, сверчки и далекий рокот одинокого, заблудившегося в ночи самолета... Так, вроде пустячок. А от этого пустячка однажды на юге, после войны, до жути грустно мне было и до жути радостно. И мечтать хотелось: где-то ждут, тоскуют, любят, кому-то я нужен. Такое не посещало?

– Посещало. Немного иначе, – сказал Александр.

– Ну, это все равно. Это бар-бир!

И, сглаживая сверхмерную раскрытость, Максим засмеялся журчащим смехом, как смеются наозорничавшие дети, заражая ответной волной настроения, и Александру подумалось о каком-то противоречивом несовпадении в Максиме: его жилистых рабочих рук с неотмывающимися каемками

под крепкими ногтями и ясно-доверчивых глаз, будто озерная вода, просвеченная солнцем, его борцовских плеч, туго натягивающих рубашку, и его гладкой речи начитанного парня, знающего свое.

– Позорище на всю Европу – быть скворцом или проституткой от искусства! – продолжал он с лукавой выразительностью, чисто плотно протирая стаканы довольно-таки застиранным полотенцем, вытащенным из шкафчика за отдернутой занавеской, где была видна постель, наспех прикрытая солдатским одеялом. – Скворцы – способные имитаторы чужих звуков и мелодий. И зрение у них удивительное, как у всех птиц. Но поют как заводные игрушки. А дело в том, что трава должна просто расти травой, а не подражать мандариновому дереву. Или – идиотической моде. Мода бессильна перед совершенством. В конце концов, мода всегда – проституция во имя известности и лакейства. Всегда дерьмо перед естественной красотой. И всегда безобразна перед естественной любовью. Меня тошнит от выкаблучивания модернистиков, которые революционно изображают разбитый ночной горшок посреди пустыни Сахары и бросаются в горемычный вой от общего непонимания. Что там понимать и признавать? Творения модернистиков – это понос маленького таланта! Философия шизиков и перепуганных шибздиков от малярного искусства!

– Ну, начинаются выражения на изысканном английском, – вмешалась Нинель и бесцеремонно отобрала поло-

тенце у Максима, начала протирать стаканы сама. – Удивительно изысканный лексикон хорошего тона у моего братца. Тебе следует запомнить, Саша, – посоветовала она наставительно, – Максим сел на своего конька и заговорит тебя, если ты не взбунтуешься. Цицерон отцовской школы. С добавлением крепких выражений. Но Максим переговорит и Цицерона, когда в ударе, а в ударе он. всегда.

Она задумалась, расставила стаканы на столе, подняла глаза на Максима. Сказала:

– Мак, я оставляю у тебя Александра на несколько дней. Не спрашивай почему. Он должен у, тебя пожить. Надеюсь, у тебя нет возражений. Помни, милый: он – мой друг, значит – и твой.

– Возражений? Никаких! Абсолютно! О чем речь, сестра! – вскричал Максим простодушно. – Пусть устраивается, как у себя дома! Как в пятизвездочном отеле «Хилтон»! Только где носильщик с чемоданами гостя? Ах, вижу – нет, тогда обойдемся, проживем по-студенчески. Чистое белье найдем. У меня мыши – интеллигенты, грызут лишь холсты. Будешь спать на моей королевской постели, которая скрипит, как сорок тысяч братьев после плотного обеда. Привыкнешь скоро. Я – на раскладушке, подобно Наполеону. Учти, я храплю, как доисторический зверь, как трактор. Поэтому, как только начнется увертюра, свисти в четыре пальца, я вскочу, побегаю по комнате, а после пробежки вдругорядь начну...

– Уж лучше избавь после пробежки, – смешливо наморщила переносицу Нинель.

– Избавлю. Рискну. Дабы приглушить мотор, буду спать в противогазе. Вон он висит, голубчик, на гвоздике, на случай химической войны.

Посмеиваясь, Максим подхватил заклокотавший чайник с электроплитки, подобно гире грохнул его на стол задрезавшей подставкой, струйки пара поплыли из носика, напоминая некое июльское довоенное утро, запах свежего хлеба, заваренного кофе, который любила мать, и на секунду захламленная эта комнатка, увешанная пейзажами, затянутая по углам паутиной, заставленная керамикой и рухлядью мебели, показалась Александру даже уютной своим ералашем.

– Обойдемся, – сказал Александр. – Я не очень чуток к увертюрам. И в казарме прекрасно спалось. А там заводились десятки тракторов.

– Мальчики! – сказала Нинель повелительно. – На первый раз вы чудно поострили. Теперь о главном. Хозяйство я возьму на себя. Буду покупать продукты, приезжать, готовить обед на два дня. У тебя в институте каникулы, Мак, поэтому прошу тебя быть с Александром, не мотаться по клубам со своими декорациями, откажись сейчас от своей дурацкой халтуры. У Александра есть деньги на вашу жизнь. Реже выходите на улицу. Ты должен знать, Мак, у тебя находится ему надежнее всего.

– Похвальная характеристика, – поблагодарил Максим. –

Так что, офицер? – спросил он, обращая светлые, ничем не обеспокоенные, а наоборот – бедово заискрившиеся глаза к Александру. – Засядем в оборону, как советует фельдмаршал Ни? Учти, что она имеет чутье. Тех, кто расточает мед, презираю. Тех, которых слух о надвигающейся грозе повергает в звериные рыдания, ненавижу. Нинель никогда не была трусихой, но была благоразумной, сестренка моя. Угадывала, когда мне за осячество, чертовщину и отсебятину влепят «двойку» по политэкономии и когда благодетельствуют и врубят «пять» по рисунку. И всякие прочие ситуации. Так что? – повторил он тоном объединяющего братства, в котором была доброжелательность неизменной удачи. – Ты знаешь знаменитого саксофониста Эллингтона?

– Нет.

– Узнаешь. Тихо и мирно зайдем оборону, будем крутить блюзы Эллингтона, на зависть всем недругам. Его «Караван» плюс аристократическая самогонка, плюс беседы о живописи и войне. Под блюз неплохо думается вообще-то. И, конечно, о прекрасных дамах, о слабом поле. Прости, Ни, меня, балбеса, за то, что я спотыкаюсь на определенном месте. Хотя, с детства знаю, что моя любимая сестра не любит, когда ее относят к слабому полу пигалиц – ко всем этим ох, ах, ой, ай, сю-сю-тю-тю-ню-ню... Нинель из племени амазонок, перед которыми я преклоняюсь и... которых боюсь.

– Прощаю тебя, неисправимого балбеса и контрабандиста. И прощаю даже твоих амазонок. Можешь на колени не

вставать и не каяться.

Максим с преданной влюбленностью посмотрел на сестру и подмигнул Александру.

– Ты вот что должен знать, Саша. Можно тебя Сашей? Хотел, чтобы ты поверил мне во всем. Я за сестренку горло любому вахлаку перегрызу, если попробует ее мизинцем тронуть. Но она сама с тобой пришла – это поворачивает дело анфас. Я с вами. Мой полуподвал – твой блиндаж. И никаких комментариев.

– Представляешь, Саша, – сказала Нинель. – Максим учился на класс старше, но после уроков каждый день приходил в мой класс, выбирал какого-нибудь несчастного рыцаря с симпатичной мордашкой, для профилактики немножко щелкал его в школьном парке по носу и приговаривал, кажется, такую грубость: полезешь к сестре – нос на затылок сверну, чихать неудобно будет. – Она засмеялась. – Но драки конспирировались. Так ведь, Мак? Так – не улыбайся, как младенец. Только раз он просидел в милиции часа три, выручал отчим, Борис Сергеевич. А мой горемычный кавалер пришел утром в школу с таким раздутым носом, что носище мешал ему читать. Всем объяснял, что в кухне случайно налетел на висящее на стене корыто. Хорошее корыто – кулачки Максима! Он своей ревностью упорно делал все, чтобы вокруг меня создать пустыню. У него один аргумент: не лезь к моей сестре. Чудачок! Вообрази на секунду: если бы он встретил на улице меня и тебя, наверное, дошло бы до об-



мена мужскими любезностями. Хотя я десятки раз умоляла его быть на сантиметрик разумнее. Он вбил себе в голову, что вокруг меня насильники и шпана.

– Неточность, – заявил Максим. – До сих пор приходилось выяснять отношения со школьными кувалерами и сладенькими паучками из театрального училища, то есть из вашей богемы. Да там и не парни у вас, а черт-те что. Ходят на танцующих лапках, вертят хвостами, вытягивают губки для поцелуев и сюсюкают, как трясогузки: меня не сняли, меня засняли, меня пересняли. Неточность, сестренка, неточность, герань в горшочках презираю, а с фронтовиками не дерусь – продолжал Максим, необидчиво принимая иронию Нинель. – Тем паче, что я отлично догадался, что твой, друг не банный лист, не трясогузка, не кувалер с павлиньими перьями...

– Тут ты угадал, братишка! – воскликнула Нинель и взмахнула ресницами в сторону Александра. – Вот, оказывается, Саша, к какому хитрецу я тебя привела! Он ревнив, в маму.

Ему приятно было слушать ее ироническую речь с искорками смеха и журчащий смех Максима в ответ на сестринское подтрунивание, и вдруг Александр почувствовал краткую минуту счастливого покоя, сладким ветерком пахнувшего из детства, когда, просыпаясь на теплой подушке от уже горячего солнца, он слышал из-за двери тихие голоса отца и матери. Голоса звучали в утреннем покое дома, наполнен-

ного любовью, молодостью, которая безраздельно принадлежала им, какие бы протуберанцы ни вторгались из эпицентра Вселенной в Замоскворечье, в Первый Монетчиков переулок (цены на керосин, очереди за хлебом), все, мнилось, проходило грибным дождем с солнцем, задевало стороной – вплоть до того последнего утра с июньским парным дождичком, принесшим из кипения солнца и белизны кучевых облаков над Москвой растопыренное острыми пучками, пахнущее железом слово «война», его только раз произнес за завтраком отец. Мать и отец долго смотрели друг на друга незнакомым взором пересиливаемой боли, и, не сговариваясь, оба украдкой взглядывали на Александра.

«У меня не было ни сестры, ни брата, – подумалось Александру. – Но смог бы я быть таким ревнивцем, как Максим? Вряд ли. У меня получилось бы резче».

– Мне повезло, Максим, что ты не решился отколошматить меня, заметив рядом с Нинель. Это бы нас познакомило, – позволил себе сказать в меру шутливо Александр. – Но тебе, наверное, повезло вдвойне: твоя сестра дикая кошка, которая ходит сама по себе.

– А в Москве убийства, грабежи, насилия, пропадают женщины, – вставил Максим. – Именно красивых кошек ловят в сети.

– Я не кошка, Мак.

– Тигрица! – вскричал Максим с трагической наигранностью. – Ягуарица! Твои острые коготки – для маникюра? Нет,

нет! Я сам боюсь ее, когда она начинает фыркать на меня! – И он ударил в заплесневелый медный колокол, прикрепленный к стене, заорал надсадным голосом забулдыги: – Ур ра! Вперед! Спаси меня от критики сестры, Саша!

– Тише, можно оглохнуть! И перестань карабкаться по деревьям, – возмутилась Нинель. – Во-первых и во-вторых, мальчики, не изображайте шекспировских могильщиков, ушибленных болтовней. Я сейчас ухожу, Саша.

Тогда он подошел к ней и в присутствии ревнивого Максима прикоснулся губами к волосам, ее новой прическе, загораживающей щеку вороненым вензелем, потом поправил прическу губами и поцеловал в висок.

– С Эльдаром надо связаться сегодня. Он предупредит всех. В том числе и Яблочкова. Будь осторожна около своего дома. Там может торчать Летучая мышь. Ушастый мальчик. Лицо у него пляшет, когда он заискивает.

– Эт-то что за представитель мышьиной фауны? – подал голос Максим. – Что за троглодитство? Шпион? Насекомое? Соглядатай?

– Что-то в этом роде.

Максим сказал:

– Завтра, сестренка, покажи мне этого летучего ушастика, и я его микрофоны превращу в лепешки. Тихо, дипломатично и мирно. В какой-нибудь подворотне. Больше вертеться не будет. Шапке не на чем будет держаться. А чтоб Александр не сомневался в слюняйстве интеллигенции, то

посмотри на эту штучку.

Он взял с полочки довольно мощную на вид скобу, играючи подбросил ее, поймал на лету, сдвинул в кулаке и швырнул ее, смятую, на полочку, подняв там серую пыль среди гипсовых статуэток.

– Очаровательный хвостун! – воскликнула Нинель и хлопнула в ладоши. – Сделай поклон, поклон зрителям! Геракл и Гектор одновременно!

– Художники и ваятели должны обладать кое-какой силенкой – месить глину, делать подрамники, рубить гранит, – увесисто заявил Максим и, подсмеиваясь над собой, выпятил грудь, растопырил, подергивая бицепсами, руки, как это делают штангисты, отходя от побежденного снаряда. – За мухрышек не люблю в искусстве.

– Bravo, братишка, ты даже геройски напряг затылок, как настоящий борец! – расхохоталась Нинель. – Слушай, Мак, я тебя люблю. Ты всегда был моим защитником. Оставляю Александра под твою ответственность. Умоляю: будьте тихими и умными. Если что, автомат у «Авангарда», я приеду немедленно.

Они вышли в коридорчик ее проводить. Она задробила каблучками по лестнице вверх, на тесной площадке перед дверью, улыбаясь, пошевелила на прощание пальцами и, колыхнув юбкой, выпрямив спину, вышла независимой походкой через двор к воротам.

## Глава восьмая

После завтрака Максим походил по мастерской, предварительно с громом свалил немытую посуду в раковину, сказал Александру: «Я часок поработаю, а ты посмотри вот этот рисунок, чтобы не скучно было, потом скажешь, так это или не очень», – затем, не взявши ни красок, ни кисти, не подходя к мольберту, распростерся на диване, заложил ногу за ногу, закурил и надолго замолк. Сначала Александру показалось, что «перекур с дремотой» после завтрака Максим называет работой, но вскоре убедился, что это не так. По-видимому, он обдумывал что-то свое, может быть, нарушенное приходом Александра, изредка перекашивал рыжеватые брови на мольберт, голый, сиротливо пустынный, гасил и вновь закуривал папиросу, и Александр, впервые попав в непривычную обстановку мастерской, подумал, что здесь, по всей вероятности, не унывая, жил вот этот прямодушный, забавный парень, брат Нинель, ничем не похожий на нее. В этой каморке, загроможденной реставрируемой мебелью, с непонятным плакатом «Запрещается запрещать!», на полках происходила какая-то своя жизнь гипсовых фигурок, в онемелых позах выглядывающих из-за керамических кувшинов, в окружении пестрых пятен этюдов лета, осени и зимы, по словам Максима, куцых «щенков» по мысли и чувству. Оттуда глядели черная ночь, над спящим городом

мутно-розоватое зарево; далекие окраины Москвы, сугробы, освещенные фонарями; нахохлившийся воробей на карнизе, заливаемом бурными струями дождя, за карнизом – мокрые сучья бульвара; светлая метель на городской улице, пронизанная невидимым, уже весенним солнцем; почти засыпанная снегом фигурка безногого инвалида на тележке, привалившегося виском к облезлой стене пивной. И рядом с инвалидом прикрепленный кнопками листок ватмана, рисунок карандашом: юноша с классической мускулатурой сидит на земле, положив локти на поднятые колени, он смотрит себе под ноги, красивые ступни которых насквозь проросли изогнутыми мощными корнями из-под земли, корни, изуродовав икры, атлетическую грудь, плечи, голову, уходят вверх, опутав античный торс, как чудовищными щупальцами удущая и вместе с тем держа юношу прикованным к земле. Рядом, у ног, лежал перебитый корнями автомат. Вокруг автомата рассыпаны стреляные гильзы, торчали впитавшиеся в землю головки снарядов, пробитая, проросшая корнями каска.

– Как тебе рисунок? Так или не так? – И Максим метко забросил окурочок в ведро, стоявшее в углу комнаты.

– Ни хрена не понимаю. Почему корни? И при чем автомат, снаряды и гильзы?

– Не похож?

– На кого?

Глаза Максима поблуждали по рисунку.

– Ну, скажем, на тебя. Ничего общего?

– Один к одному, – сказал Александр, подозревая розыгрыш. – Если это война как сказка для маленьких детей и больших дураков, то так оно и есть. Если это кошмар, то маловато кошмарного.

– Нет, Александр, – проговорил Максим и даже щелкнул пальцами в знак возражения. – Не сказка и не кошмар. Это – ваше поколение. Понял? Ваше поколение... как я представляю молодых ребят, – возбужденно начал доказывать Максим, – поколение тех, кто воевал, тех, кто погиб, и тех, кто вернулся. Вы все там. Не возражаешь?

– Пожалуй.

– В каком смысле «пожалуй»? Уточняю: в смысле – ты ничего не забыл. Согласен?

– Да. А что значит «запрещается запрещать?» – спросил Александр. – Кому запрещается?

– Плакат для внутреннего пользования.

Максим рывком опустил ноги с дивана, достал из помятой пачки папиросу, размял ее в грубоватых пальцах, резко высек огонек из зажигалки.

– Запрещается думать, когда ты не хочешь думать. Это призыв к бунту против самого себя. Стоп, тихо! – Он задул зажигалку, хитро всматриваясь в угол, где среди подрамников стояло ведро с прислоненной к нему деревянной перекладной. – Не запрещается только ловить мышей, – сказал он таинственно. – Грызут, пакостники, подрамники и хол-

сты, как заведенные. Одно спасение – спаиваю их самогоном. Вон, посмотри туда, появились подпольные гении. Невероятного ума субчики.

Около ведра меж жестяных банок, разноцветных пузырьков и тубиков зашевелились, зашуршали старой газетой два серых комочка, пробежали к жердочке, прислоненной к ведру, и тотчас первая мышь принялась подробно и недоверчиво обнюхивать ее, после чего бочком покатила к жестянке из-под консервов, видневшейся у стены.

– Вспомнила, пьяница, – вздохнул разочарованно Максим. – К водяре побежала. И вторая – видишь? Тоже алкоголичка. В капкан, пакостницы, не пошли. Не очень себя оправдывает изобретение.

– Какое изобретение?

– А вон видишь – жердочка у ведра, – объяснил Максим. – Жердочка натерта хлебом, чтоб запах был. На конце, над самым ведром – кусочек сала на гвоздике. Животное выходит на разведку для добычи харча. Чувствует запах, ползет по-пластунски по жердочке до сала, хватать зубками, а тут перевешивается другой конец жердочки, и хищница опрокидывается в ведро с водой. Принцип весов.

– Поймал?

– Пока нет. Но наблюдать любопытно. Ты посмотри, посмотри, куда алкоголички поперли. Ин вино веритас, – зашептал с охотничьим азартом Максим. – Вон, видишь, окружили жестянку. У них чего-то заколдобило. Чего-то испуга-



лись. Ушли, скотинищи. – Он потер ладонью о ладонь со звуком наждака. – О, понятно. Их облапошила соседка. Опередила.. И рванула вдрызг. Ты не знаешь, почему мыши не поют: «Шумел камыш»?

Он спрыгнул с дивана, присев на корточки у жестянки, взял заржавленный предмет с полочки и, ахнув, торжественно показал неподвижную мышь, прихваченную пинцетом за хвост, говоря при этом голосом экскурсовода:

– Мертвецки надралась и спала сном праведника. Вылакала весь самогон, ни капли не оставила одноплеменницам. Маленькая, но жадная. Это она изгрызла у меня холст, уверен.

Неся в пинцете спящую мышь, Максим прошел к узенькой двери в конце комнаты, и там за дверью зашумела вода, спускаемая в унитаз, после этого Максим вышел, пощелкивая зажимами уже пустого пинцета, победно взирая на смеющегося Александра.

– Смейся, паяц. Пришлось утопить в унитазе, иначе сожрут всю мастерскую. До последнего гвоздя.

– Это здорово, честное слово, – пьяные мыши и пинцет, – говорил Александр, смеясь от удовольствия. – В жизни не видел таких хитрых мышеловок. Великолепное изобретение, только самогона жалковато.

«Я смеюсь? – пронеслось в голове Александра. – А со мной случилось отвратительное...»

– Да ты что! – поразился Максим и швырнул пинцет на по-

лочку. – Самогон – мелочь! А мыши – юмористы! Сам люблю похохотать, хлебом не корми! Смех – спасательный круг человечества. Охохонюшки мои!

И он хлопнул затвердевшими от мозолей руками по бедрам и зажурчал своим пульсирующим смешком, похожим на мелкие пулеметные очереди. Но смех его был настолько раздражителен, что Александр расхохотался, уже не сдерживаясь, и это окончательно сблизило их доверительным расположением друг к другу. Александр окинул взглядом захламленную комнату, спросил то, что хотелось спросить раньше:

– Скажи, вот ты живешь здесь один, наверное, получаешь стипендию – а на жизнь хватает?

– До изжоги. В баню не хожу. Купаюсь в деньгах. Что за вопрос! Ха-ха и хи-хи. Я самостоятельный мужик. Впервые, я леплю вот эти кувшины, вазочки и кружки. Потом: подбираю на свалках старую мебелишку и реставрирую. Иногда везет. И таким образом подторговываю на Тишинке. На рынке публика бестолковая, бедная и шалая – пейзажи не покупают. А жаль. Но керамикой и реставрацией жить можно. Не Крез и не Ротшильд, а с голоду дуба не дам. Что за вопрос? – воскликнул Максим и догадливо протянул: – Т-с-с, засек! Не понравился мой аристократический антураж? – Он пальцем заключил свою комнатку в кольцо и широко ухмыльнулся. – А ты знаешь – : мне пока этого хватает. Полная независимость. Свободен. Как собака. Как облака в небе. Как вольный осел без ослихи!

– Запрещается запрещать?

– Совершенно верно. Запрещается думать и делать не то, что ты хочешь. А что тебе не нравится у меня, Александр? Неудобно? Сыровато?

Александр поморщился, переждав уколывшую боль в предплечье.

– Я привык ко всему, Максим. Плащ-палатка, сырая солома в сарае, котелок под головой вместо подушки – для меня уют. Наоборот – у тебя мне нравится. Но вот что. Пока я побуду у тебя. Поэтому возьми. Сколько истратишь.

Он вынул туго распиравшую карман пачку денег, оставленную для него Кирюшкиным, положил ее на стол. Максим, подойдя к столу косолапой развалкой, пощупал двумя пальцами пачку купюр, оттопырил губу.

– Ого! Такие самоцветы? Ты что, сберкассу ограбил?

– Дали друзья на излечение.

Максим в задумчивости взлохматил свои пшеничные волосы.

– Таких денег я в жизни не имел. И иметь никогда не буду. Очень хочу – давай начистоту, – заговорил он с неподдельной прямоотой. – Если ты друг моей сестры – это для меня все. Она избалованная, но предельно честная девчонка. Таких, как она, с фонарем Диогена не найдешь. Я ей верю, и она верит мне. Скажи начистоту, Александр, у тебя с Нинель далеко зашло?

– Что ты имеешь в виду?

– Скажи по-мужски.

– Наверно...

– Как понимать твое «наверно»? Если бы я какую-нибудь по-настоящему полюбил, то ответил бы твердо: люблю больше жизни.

– Понимай... как следует. Об этих вещах, Максим, не очень ловко говорить, – сказал Александр, заметив, что Максим огорченно свел брови. – Только о матери можно так сказать.

– Значит, Нинель ты не любишь.

– Это не так.

– В общем – о матери верно, – согласился Максим, с долгим упорством разглядывая пачку денег на столе. – Хорошо. Будем считать: сумма на излечение, – произнес он. – А на счет расходов на харчи – ты у меня в гостях. Насчет лекарств постараюсь завтра связаться со спекулянтами. Теперь скажи – что с рукой?

И все-таки можно ли было всецело верить брату Нинель, его круглому лицу с выгоревшими бровями, на которые спал непричесанный косячок желтоватых волос, его искрящимся незатейливым доверием глазам, его коренастой фигуре, его рукам с не очень чистыми от красок и глины ногтями?

«Да что это со мной? Для чего я здесь? От кого я скрываюсь? От уголовного Лесика и его банды? От милиции, которая разыскивает убийцу? Плыву, как в сне сумасшедшего,

что-то делаю, двигаюсь, что-то говорю... А есть только одно: вина перед матерью. Больше ни перед кем. И еще безумная тоска, и нет никакого страха. Ни перед кем. Ни перед чем. Стало быть, я теряю разум. Стало быть, случилось дикое безумие. Почему так замерзла спина и так кольнуло руку? Озноб опять?..»

– Ты спрашиваешь, что с рукой? – проговорил с ненатуральной беспечностью Александр. – Огнестрельная рана. Ничего страшного. Бывает и хуже.

– В драке?

– Что-то в этом роде.

– Хулиган какой-нибудь?

– Думаю, рангом повыше. Уголовник.

– Он стрелял в тебя?

– Да. Из охотничьего ружья.

– Ого, не все понял. Он носил с собой ружье? Интересно, каким образом? Или, может, обрез какой-нибудь?

– Пожалуй, обыкновенная двустволка, заряженная крупной дробью.

– Он выстрелил, а ты что?

– Что я? Я тоже выстрелил.

– У тебя было оружие?

– Было. Я выстрелил из пистолета.

– И что же? Конечно, не промахнулся.

– Откуда тебе это известно?

– Иначе Нинель не привезла бы тебя ко мне в такую рань.

Да, значит, ты дорого ей стоишь. Ясно, что Нинель будет помогать тебе до последнего.

– Что ты называешь «до последнего»?

– Она отшивала всех хахалей из студенческой братии, с моей, конечно, помощью. Своего рода разборчивая, строптивая невеста. И знает себе цену. Ты первый, кого она признала. Понятно: у нее серьезно. Тебе повезло потому, что Нинель не столько ресницы Шахерезады, сколько неразгрызенный орешек. Ее-то я изучил с детства прекрасно... Александр, мне все ясно. Больше можешь ничего не рассказывать...

Максим глубоко задвинул руки в карманы измазанных гипсом потрепанных брюк и, нагнув голову, заходил по мастерской, задевая ботинками за ведра с песком, за прислоненные к ящикам подрамники.

– У меня ты можешь находиться сколько тебе потребуется, – проговорил он и вдруг по-шутовски изогнулся, наставил в окно внушительную фигуру. – Вот, крокодилы! – И взволнованно зажурчал своим заразительным смешком, – Ни в чем не помешаешь. Располагайся как дома. Чем богат...

– Что ж, спасибо, – сказал Александр, не испытывая облегчения, а чувствуя, что какая-то неподчиненная ему сила уже не один день управляет им, как во сне, и он теперь почти не способен сопротивляться ей. Колочая зыбь озноба проходила по его спине, время от времени-шершавым огнем охватывало руку от пальцев до плеча, во рту было сухо.

## Глава девятая

За окном горел солнечный день.

Во дворе на стройке рабочие в пропотевших майках, как сонные, носили кирпичи. Повсюду жаркий блеск августовского зноя, на низкой крыше гаража, на асфальте двора, на железной бочке под водосточной трубой – везде пекло и духота. Молоденький рабочий, оголенный до пояса, отошел от стройки в тень липы и, запрокинув голову, стоя жадно пить из носика чайника, вода лилась на его голый живот, он вытирал ее локтем.

– Денек будет адский, – говорил Максим, двигаясь около верстака. – Пустыня Сахара поменялась местом с Москвой. Сейчас бы залезть по горло в воду, пить пиво и не вылезать до вечера!

Он сноровисто работал рубанком, отделявая доску для подрамника, кудрявые стружки сыпались под ноги, он с сочным хрустом ступал по ним, запах свежего дерева, сладкого скипидара распространялся в мастерской, напоминая Александру какой-то лесок на Украине, синеву меж деревьев, пахучую траву, где он лежал на спине, глядя на высокие дымки облаков. А может, в Германии это было, в мае сорок пятого? Или на даче под Москвой до войны?

«Не бред ли это начинается?»

Он полулежал на диване, не произнося ни слова, курил, а

вкус папиросы был железисто-горьким, каждая затяжка отдавалась болью в виске, – о, как надо было бы с отвращением бросить папиросу, закрыть глаза, чтобы хоть на время забыть это душное беспокойство о матери, эту мучительную неопределенность своего положения, всасывающего его как вязкой тиной.

– Что ты сказал? – спросил он, неясно расслышав голос Максима, и швырнул папиросу в ведро с водой, переспросил:

– Ты, кажется, что-то... о немцах?

Максим помахал рубанком в направлении окна.

– Яговорю: пленных немцев на работу привезли. Вон, полюбуйся.

– Пленные немцы? Откуда они в Москве?

– А ты их в первый раз видишь?

Александр подошел к окну и прижмурился: подоконник, залитый солнцем, слепил глаза. Грузовик с откидным задним бортом, загруженный досками, стоял справа от стройки, два человека, это и были немцы в своей зеленой, выгоревшей до сероватого цвета форме, в порыжевших каскетках, в потертых сапогах, сгружали доски, клали их аккуратным штабелем на землю. Шофер, жилистый, с сержантскими усами мужичок, в поношенной гимнастерке без ремня, помогал им сверху, подавая доски, командовал сипловатым тенором:

– Шнель, шнель, ребятки! Доски носить – не шнапс пить!

Немцы благодушно принимали его подбадривающие команды, и один из них, сутулый, пожилой, отзывался, каза-



лось, охотливо:

– Водка тринкен! Карашо! Данке! Спасибо! Карашо!

– Какие милые ребята, просто золото, друзья закадычные, – сказал Александр. – Когда берешь вот какого-нибудь такого «языка» – зверь, волк, зубами в горло бы вцепился. А когда притащишь его к нам в тыл, становится овечкой, и сплошное бляение: «Гитлер капут», «карашо».

– Ну, наши тоже не все герои, – возразил Максим. – А сволочь генерал Власов сдался и служил немцам.

– И это верно, – проговорил Александр и с преодолением и вместе с желанием взглянуть вблизи на тех, кого не раз пришлось касаться собственными руками, чей запах помнил (запах пота, смешанного с химической сладковатостью солдатского одеколона), неожиданно добавил: – Интересно, что это за викинги? В общем-то, солдаты они были настоящие, воевать умели. Может, поговорим с ними? Интересно, как сейчас они? Правду не скажут, но все-таки...

– Ты говоришь по-немецки?

– Немного.

– А что – пошли, любопытно даже! – Максим всей грудью выдул остатки стружек из рубанка, поставил его на верстак, энергично выщелкнул из пачки папиросу. – Мне эта мысль в голову не приходила.

Солнце с беспощадностью предобеденного часа горячо припекало двор, над асфальтом змеисто дрожал стеклянный парок, и в этом пекле лишь напоминанием прохлады звене-

ла о железо струя брандспойта в гараже, а когда проходили мимо его раскрытых дверей, дохнуло маслом, обдало тёплой водяной пылью. Они подошли к стройке, где пленные немцы выгружали из машины доски, ровно укладывая их одна к одной, под добродушные подбадривания шофера:

– Давай, немчишки, давай, шнель! У нас хлеб не даром, как и у вас! Кто не работает, тот не ест! Нихт кушает, ежели не работает! Гут?

– Я, я, клеп, – отвечал сутулый пожилой немец подобострастно-отзывчиво. – Арбайтен карашо! Гут!

Он, видимо, понимал незлобивые покрякивания шофера и, поддерживая хорошие отношения, откликался на них, в то время как второй немец, смуглолицый, не отвечал ничего, работал, как немой, нелюдимо не замечая никого вокруг.

– Привет, – сказал Александр, сделав шоферу знак здоровой рукой, нечто вроде козыряния. – Устрой перекур пленным, земляк. Ты прав: на русской жаре план выполнять – не дрова рубить. А с твоего разрешения я угощу их папиросами... Идет?

Глупее фразы невозможно было придумать, но шофер смахнул пот со скуластенького лица, сообразительными глазами сверху вниз скользнул по фигуре Александра, на секунду оценивающе ощупал взглядом его ордена, забинтованную руку и спрыгнул на землю, стукнув в асфальт растоптанными «кирзачами», крепенький, должно быть, расторопный сержант из фронтовых шоферов, подвозивших боеприпасы на

передовую.

– А почему не покурить? Возражений нет! Курить – не дрова рубить! – одобрил он, похохатывая, искомандовал немцам: – Хальт! Раухен! Гут!

По этой команде немцы моментально прекратили работу, с субординационной предупредительностью выпрямились подле досок, при виде Александра выказывая солдатскую выправку, вероятно, по орденам, по кителю угадав в нем офицера.

– Гутен таг, – кивнул Александр, спешно вспоминая немецкие слова, оставшиеся от школы и от примитивного общения на фронте с захваченными «языками». – Неймен зи плац. Битте, раухен. Битте, папиросен.

Немцы не садились и не притрагивались к пачке предлагаемых папирос. Они не отводили глаз от его забинтованной руки, в глазах их было выражение почтительного сочувствия. Максим сказал:

– Вышколенные ребята.

– Садись, садись, перекур, говорят! Русского языка не понимаете, гансики? Орднунг ист орднунг. Порядок. Бери папиросы, ежели угощают. Битте, хрените, данке, хренанке! – покрикивал шофер, по приятельски моргая немцам, и бесцеремонно вытянул ногтями папиросу из пачки Александра, следом потянулись к папиросам и пленные. – Человеческое отношение понимать надо! – продолжал он задушевно. – Не хухры-мухры! Эти не как вы нас в лагерях гноили! Мы – лю-

ди добрые, незлые!

– Подождите со своей добротой, – возмутился Максим. – Знаете, слюнявую доброту к чертям собачьим! Нам поговорить с ними надо!

– Не серчай, парень, на дыбки не вставай, я-то свой никак.

– Зетцен зи, битте, камараден. Садитесь, пожалуйста, камарады, – приказал Александр ровным голосом.

Немцы наконец сели на доски, и Александр, для удобства разговора устроившись напротив, спросил, подыскивая некогда заученные фразы:

– Ви гейт ее? (Как поживаете?) Антвортен зи курц. (Отвечайте коротко.)

Не отвечая, пожилой, вялоглазый немец курил, горбя спину, его по-гусиному длинная шея, поросшая волосами, желтое продолговатое лицо были унылыми, как у человека, страдаемого тоской; в нем, видно, гнездилась то ли изгрызающая его болезнь, то ли тоска по дому, по семье, по свободе – все проступало в облике этого нездорового, крайне уставшего человека.

«Есть ли смысл с ним говорить? – засомневался Александр. – От таких „языков“ не было проку. Где воевал вот этот второй немец, смуглый, плечистый?» И Александр спросил его:

– Дранг нах Москау?

– Наин. Нихт ферштеен. Не понимайт, – четко ответил смуглый и жадно затянулся, задержал дым в выпуклой груди.

Только сейчас он увидел, что часть левой щеки и висок этого плечистого немца как бы покрыты коричневым лаком, мокрая от пота кожа собрана мелкими рубчиками, не было сомнения, что это следы ожогов, сразу напомнивших ожоги Романа Билибина, по которым безошибочно можно было узнать танкиста.

– Шпрехен зи русиш, – посоветовал Александр, догадываясь, что в разговорном запасе немца есть русские слова, способные облегчить их общение. – Шпрехен, битте.

Из-под козырька каскетки, из ее тени остро вонзались в ордена Александра чернильно-черные зрочки немца, но губы фальшиво растягивались, в заученной улыбке, как наклеенной насильно.

– О, зер, вениг. Мало. Плёхо.

– Прекрасно говорите, – одобрил Александр. – Зер гут. Вундербар. (Великолепно.) Антвортен, битте. Панцерн? Танкист?

– Я, – удерживая ту же улыбку, немец поднял подбородок с волевой и, как показалось Александру, жестокой ямочкой посередине.

– Наступали на Курск? Манштейн?

– Курск. Служиль фельдмаршал фон Манштейн.

– А Сталинград? Котельниково? Тоже Манштейн?

– Сталинград? О! – Немец приложил руку к коричневым рубцам на виске, продолжая ненатурально улыбаться. – Те «тридцатчетыре» стреляль, мой танк горель. Финиш.

«Да на кой черт мне все это знать нужно? Зачем я задаю вопросы? Десятки раз я видел таких вот, с неподдающимися глазами и приклеенной улыбкой, – вдруг подумал Александр с тупой болью в голове, ругая себя за попытку поговорить с пленными. – Все ушло, все не нужно. Все фальшиво, кроме одного – воевали мы с ним на одних фронтах... И что из того? И он, и я прошли войну в убивающих друг друга армиях. Повезло ли мне? Повезло ли ему? Рано или поздно он и этот вялоглазый вернутся из плена в Германию. Я тоже вернулся домой. И что же?»

– Да, Манштейн мастер танковых ударов. Так его называли в Германии, – проговорил со злой задумчивостью Александр. – Мы его разбивали дважды. Под Сталинградом и под Курском. Наверно, русская «тридцатьчетверка» сожгла ваш танк, когда панцерн-группен Манштейна прорывалась к окруженному Паулюсу. Зо?

Немец перестал улыбаться, уголки его рта затвердели.

– Паулюс – зер шлехт (Паулюс – очень плохо), – произнес он, и грудь его расширилась, глубоко вбирая дым папиросы, – Гитлер не хорошо. Нет успех. Фельдфебель. Сталин ест побед. А фельдмаршал Манштейн ест гросс генераль. Гросс маршал.

– Я, Манштейн зер гут, – внезапно слабым эхом подхватил вялоглазый, до этого непробиваемо молчавший, и поморгал восковыми веками, ловя приказывающий взгляд смуглого.

«Прорезался и этот, – подумал Александр. – Они разъеди-

нены, но чем-то и объединены – товариществом пленных, страхом?»

– Ясно, – сказал Александр и взглянул на Максима, шепкой отвлеченно рисующего на земле квадраты и треугольники. – Все понял? Дипломаты и хитрецы, стараются держать марку. Манштейн остается Богом. Паулюс предатель. Образцовые солдаты. Но песнь старая: Гитлер проиграл – капут. Сталин победил – гут. Если еще скажут, что русский народ – гут, то в плену им сносно.

– А ну их к черту! – закричал Максим и отшвырнул щепочку. – Тебе привычно. А мне тошно на них смотреть. По заднице им наложили, а они все «гросс генераль». Не знаю, как ты, а я считаю, что весь немецкий народ по макушку виноват в войне. К черту сантименты! Как по-немецки – цум Тейфель? Вот именно! А этот обоженный танкист – будь здоров субъект! Тебя бы он раскокошил, попадись ты ему под прицел! Но случилось наоборот!

Танкист вздрогнул подбородком, заострил зрачки на Максиме.

– Варум цум Тейфель? – проговорил он с четкими расстановками, опять устраивая на губах фальшивую улыбку. – Варум немецки нарот, рюсски нарот? Немецки нарот не победиль, нет. Рюсски народ взяль побед. Абер – плёхо кушайт, плёхо одевайт, плёхо живьет... Варум? Почему плёхо?

Александр помял в пальцах папиросу, не показывая, что слова немца покоробили его.

– Что же, в вашей Германии сейчас живут не лучше, – сказал он. – Мне пришлось быть в Берлине, и я видел, как за банку тушенки, за пачку сигарет готовы продать душу.

– Вас ист дас «не лючче»? Плёхо? Нихт гут? – Губы немца все держали улыбку, а глаза, неподчиненные этой трудной выдержке, отливали зимним холодком. – Мы не победиль, – повторил он тоном презрения к себе. – Мы не победиль...

– Не победиль? Плёхо живут ваши немцы! – с размаху вторгся в разговор Максим, по мальчишески передразнивая танкиста. – Чешут набитые затылки, задницы и голодают, как крысы! Страна бургеров и колбасников, возмечтавших о мировом господстве! Найн орднунг в Европе! Ваши девочки идут в проститутки, продаются американцам. Забыли, что у вас был Бетховен, Гете и Кант! Хотели огнем и мечом добыть жизненное пространство в России! И получили то, что хотели! По мозгам! Плёхо, вот оно и есть плёхо! Доннер веттер, мать вашу так!

– Максим, не обижай пленных, – сказал Александр. – Они сейчас в слабой позиции.

Немец, разобрав отдельные слова из жаркой вспышки Максима, понял, что русский парень рассержен, однако не убрал улыбку, его обожженный висок залоснился потом. Вялоглазый еще ниже робко нагнул свою гусиную волосатую шею, прорезанную трещинками.

– Вас ист лёс? (Что случилось?) – выговорил танкист хрипло и, похоже было, за поддержкой обратился к Алексан-



дру: – Уберзетцен, битте шён, герр офицер...

– Алес гут, – сказал Александр, подбирая немецкие слова. – Мой друг прав в том, что ни огнем, ни мечом... файер унд шверт... Германия не смогла завоевать лебенераум... жизненное пространство. И никогда не сможет победить Россию!

– О, найн, – сухо произнес немец, поняв все. – Германия будет победить в двадцать первый век. Германия будет победить Америка... Плутократ, гроссраум. Большой пространств.

– Вот как? – сказал Александр. – Не думало, что после этой войны кто-то победит.

– Ну и аппетиты у нибелунгов! – воскликнул Максим. – Даже в плену не очухались!

От машины донеслась команда шофера:

– Кончай перекур! Генуг, хватит, гансики! Кто не работает, тот не кушает! Шнель, быс-стро!

Шофер сидел в тени, на ступеньке кабины, разговаривая с дворником, с тем самым желчным стариком, который проводил Александра и Нинель до квартиры Максима. Разговор, должно быть, шел о пленных. Дворник, астматически покашливая, сплевывал, оборачивал к немцам морщинистое лицо, штаны пузырились на коленях, обвисали на тощих ногах.

– Кончай ночевать! По местам, орлы, воробьиные перья! Шнель, Дейтчланд, – и точка! – со смешливой лихостью

крикнул коренастый шофер и, шустро перекидывая ногу через борт, влез в кузов, пружинисто потоптался на досках сапогами. – Шнель, шнель, други закадычные! Давай на хлеб зарабатывать!

Немцы по-военному вскочили, словно бы не забывая свою подчиненность, солдатскую привычку к исполнению приказов, что остается неизменным и в плену. Танкист попрощался с Александром кивком подбородка. Вялоглазый пробормотал искательным голосом:

– Виедер зеен.

– Виедер, – бросил Александр.

– Ауф виедер зеен! – с едкостью ответил Максим. – Будьте здоровы, салют, привет, тысяча поклонов благороднейшим викингам от порабощенных иванов!

Немцы заспешили к машине, где шофер уже ворочал доски, подсовывая их к заднему борту. Александр сказал:

– Максим, здесь нервы тратить нет смысла.

– А ну их... подальше! – выругался Максим. – Они с наших солдат в плену кожу на абажуры сдирали, а мы с ними – битте, гут, данке. Кожу с них, конечно, сдирать нечего, но пусть чувствуют, что им ничего не простили. Вон видишь – ухаар шофер едва не целуется с ними. Рас-сея-матушка!

– О, Максим, это не просто сейчас.

– Что?

– Ненависти, что была в войну, у меня к ним нет. Знаешь, сейчас ненавижу всякую тыловую шушеру, свою, род-

ную мразь, пожалуй, больше, чем немцев. Мне самому трудно это понять.

– Прекрасно понимаю, – хмыкнул Максим. – Вон, погляди-ка, чудесненький старичок, В нашем дворе самая замечательная шушера. Сказочный городской, а не дворник. Знает, у кого кошка рожает, кто чихнул в понедельник, а кто треснул под одеялом во вторник. Ходит по квартирам, сатана эдакая, и вместо управдома квартплату выбивает. Экспонат выше всех похвал. А в чем душа держится! Наводит порядок в государстве. Привет и мое почтение дяде Федору, блюстителю закона и общего благоденствия! – воскликнул Максим, простирая руки навстречу сухонькому дяде Федору, шмыгающей походкой приближающемуся к ним. – Как драгоценное? Как тетя Зина? Как дети? Вы прекрасно выглядите, молодеете, здоровеете, становитесь шире в плечах, вероятно, употребляете гематоген!..

– Добренького здоровьица, Максим Борисыч, – обласкал дядя Федор окающим голосом и сладкой ухмылкой вдавленного рта. – Шуткуете все, настроение, стало быть, хорошее, деньжата есть, за квартиру внесете. Должок за два месяца. А то сын такого хорошего человека, а неаккуратен, ах, как неаккуратен, Господи, не приведи...

– Всенепременно и обязательно, – затряс своими небрежно причесанными волосами Максим. – Завтра же раскошелюсь. Управдом и вы будете довольны чрезвычайно. Внесу за апартаменты сумму!

– Добро, добро, так оно по закону... Я вашего отца очень уважаю. А вы картинки рисуете, продаете, а неаккуратен, ох, неаккуратен...

Дядя Федор медовым голосом выговаривал все это Максиму, но при этом глядел с некоторой опаской на Александра, без слов извиняясь, что помешал общению между ними. Видимо, у него была астма, он шумно дышал, в груди клокотало, он откашлялся, сплюнул, растер каблуком, вытер ладонью песочные губы.

– А вы, молодой человек, беседы с немчишками беседуете? – отдышавшись, продолжал он заинтересованно. – И о чем говорить со зверьем? Сейчас-то они голубки, а сколько нашего народа изнахратили, скольких замучили... Антихристы! И какой интерес беседы вести с врагами... с вражьиими элементами? – Дядя Федор съезжил лицо гадливостью, но спохватился и сейчас же изобразил намекающую осведомленность. – Или вы... по этому делу... у нас?

Александр рассмеялся.

– По какому этому?

– Ну, по этому, сами знаете... политическому... – Дядя Федор заговорщицки качнул головой в сторону немцев, разбирающих доски на машине.

– Нет, не по этому. Не совсем понимаю, что вас интересует?

Дядя Федор подобрал беззубый рот, бесцветные глаза его выразили служебную неприступность.

– Надолго в гостях у нас будете?

– «У нас»?

– У Максима Борисыча то есть. Вь дружок его будете?

– Дя-адя Фе-одор, благоде-етель, – с жалобным притворством взмолился Максим. – Мой гость – фронтовик, из госпиталя. Я пишу его портрет по заказу. Давайте будем гостеприимными и не надоедать. Прошу покорно. Ему квартплату не платить.

– А мне что? Детей крестить? Пиши себе, пиши... Водку пей, да дело разумей. Заколачивай деньгу, авось по закону жить будешь без всяких претензий.

Дядя Федор старчески заелозил локтями по бокам, в сердцах поддегивая сползавшие с жиденских ягодиц штаны, двинулся к воротам, насадно кашляя и отплевываясь.

Максим заговорил, когда вошли в мастерскую:

– Этот чудесный старичок – из рода сколопендр. Говорят, двадцать лет работал в тюрьме надзирателем. Самая благородная профессия, достойная душевного восторга. Но какой-то заключенный выбил ему зубы. Потом заболел астмой, вероятно, на нервной почве. И теперь видишь: командует в дворниках. По закоренелой привычке сует нос во все дыры, как старая овчарка, которая былой нюх потеряла. Милиция у меня уже была разика два. Претензии – спекулянт картинами и керамикой. Студент-капиталист. Побывали и успокоились, выкушав самогонки. Любят это дело.

– Именно этого как раз и не хватало, – сказал Александр.

– Ты насчет чего?

– Насчет твоего знакомства с милицией.

– А-а, тут просто. Посмотрели, задали вопросы, потом: «Не очень гостеприимны вы, товарищ художник». И с большим удовольствием выкушали. И еще раз заходили. Сделал вывод; не все кристально чисты наши блюстители, стражи и охранники.

– Я тоже об этом думал в последнее время, – сказал Александр, как-то легко допуская, что Лесик, еще с сорок второго года освобожденный из тюрьмы и взятый в армию, участвовал в предательстве и казни своего друга под Сталинградом, уже связанный с «блюстителями порядка и закона», и связь эта, быть может, продолжалась до сих пор, позволяя ему чувствовать себя по мере обстоятельств защищенным. – Да, возможно, – Александр лег на диван, придавился затылком к спинке, чтобы облегчить боль в голове. – Ну, ничего, пока живы – прорвемся, – сказал он глухо, видя, что Максим, задвинув руки в карманы, стоит посреди комнаты, размышляя о чем-то.

– Крупно чхать! Ох, как я вас люблю, мордовороты тыловые, разжиревшие на крови! Вот вам ответ Чемберлену! – сказал Максим и, как бы угрожая своим противникам и дразня их, снова наставил внушительную фигу на окно, шагнул к столу, взял бутылку. – Налить тебе самогончику, дабы снять напряжение?

– Нет. Спасибо.

– Я-то сниму. Дзынь – и все. Сосуды расширились – и цветут розы, поют соловьи, чирикают кузнечики.

– Выпей, если поможет.

Александра познабливало, во рту было горячо, должно быть, начинался жар.

## Глава десятая

К вечеру душного дня над Москвой наволокло тучи, отдаленно погромыхивал в небесных высотах ленивый гром, дождь не проливался, но стало темно, и лампа под зонтикообразным железным колпаком горела в полуподвале ярко.

Уже больше часа на первом этаже беспрерывно заводили патефон, по потолку топали и скребли ногами, изредка доносились голоса, женский визг. Максим пояснил: «Инженер-сосед, выпивоха и бабник, вернулся из командировки и отмечает приезд в теплой компании». И не без удовольствия вытянулся на кровати, покуривая после чая.

Слыша это веселье над головой, Александр листал сборник стихов Иннокентия Анненского, сборник этот предложил «для освежения души» Максим из своей маленькой, умещавшейся на двух полках библиотеки, немыслимо разнокнижной, зачитанной до ветхости пожелтевших страниц, — все это покупалось, надо полагать, на рынке, вразнобой, однако было отдано предпочтение поэзии. На полках, до невозможности притиснутые друг к другу, размещались Достоевский («просто гений») и Анатолий Франс («иронист»), Оскар Уайльд («эстетствующий малый») и Шолохов («мировая, знаешь ли, книга»), проза Лермонтова («непревзойденный») и Андрей Белый («клоунада»), Блок и Есенин («таланты»), вперемежку с самыми разными поэтами девятна-



дцатого века, монографиями о художниках.

– Почитай Анненского. Случайно купил на Тишинке. Его мало знают, да и ты, поди, не слыхал. В школе, даже в десятом классе, не проходят, – сказал Максим, рассеянно стряхивая пепел с кончика папиросы. – Нехотя, знаешь, развернул его, а читал всю ночь. И пришел к выводу, что жизнь – расстояние между двумя болями, рождением и смертью. А само это расстояние – радостная боль. Вывод: три боли составляют жизнь.

– Радостная боль? – повторил Александр. – А если чуть проще?

– Дай-ка, пожалуйста, книжку. Вот послушай, как можно сказать о жизни.

Он загасил папиросу в керамической пепельнице собственноручного изготовления, взял книгу, полистал ее, нашел нужное место:

*Оставь меня. Мне ложе стелет скука...*

*Зачем мне рай, которым грезят все?*

*А если грязь и низость – только мука*

*По где-то там сияющей красе...*

– Здорово, а? Мудро сказано. В этом, понимаешь ли, лежит человеческая неудовлетворенность. Мы сами не знаем себя. Вот ты, Александр, знаешь себя?.. Что такое? Кто еще там? Вроде в дверь стучат. Ах ты... – и Максим порывисто сбросил ноги с кровати, прислушиваясь: – Кого это бесы притащили? Совсем некстати...

– Теперь стучат в окно, – подтвердил Александр. Стекло зазвенело за темной занавеской.

– Неужели Нинель?

Максим вышел на лестницу, зашлепал ногами, поднимаясь по ступеням к двери, там щелкнул замок, возникли и угасли мужские голоса, и вслед за Максимом в комнату вошел рослый костлявый милиционер с полевой сумкой в опущенной руке, за ним заколыхался тощей фигуркой дворник дядя Федор, он ослабился, пропел скрипучим голосом:

– Доброго здоровьица, вечер добрый, Максим Борисыч. Участковый к вам, проведать вас...

– Здравствуйте, Максим Борисыч. Я, как всегда, не вовремя, – сказал невыразительным тоном участковый, обегая глубоко сидящими усталыми глазами комнату, вставшего с дивана Александра, и, подойдя к столу, положил сумку на папку с эскизами. – Разрешите, Максим Борисович, нарушить ваш вечерний покой, если ничего не имеете против? – прибавил он без всякого выражения, присел к столу, облокотился и не отклоняя соучастливо утомленный взгляд от перебинтованной руки Александра. – Вижу, друг у вас раненый гостует? Да, до сих пор раны залечиваем...

– Залечиваем. Только прошу, товарищ лейтенант Усольцев, сумкой не мять эскизы, – произнес Максим и нестеснительно сдвинул полевую сумку с папки. – Я к вашим услугам. Но, если мне не изменяет память, вы месяц назад были у меня.

– Были, были. – Дядя Федор обнаружил ухмылкой пустоту во рту и притерся ягодицами к затерханному сиденью кресла. – Тогда-сь ваш приятель в подвыпивших настроениях вместо футбола мусорную урну по двору в час ночи зачал гонять. Всех жильцов разбудил и перепугал, а мне оскорблений полный мешок насыпал. Жандар, кричал, людям повеселиться не даю... и всякие заборные слова. У вас он водочку кушал, от вас в непотребстве выходил. Очень вы тогда шумели, дом ходуном...

– Помню: студент Степанов, ваш однокурсник, – сказал участковый. – Из Строгановского училища. Вел себя недостойно студента и гражданина. Отсидел в милиции, оштрафован.

– Прекрасный парень и талантливый студент, – не согласился Максим. – А шумели по поводу моего дня рождения.

Участковый снял фуражку, положил ее рядом с сумкой на стол. Левая щека его сдвинулась, он вобрал воздух, издал свистящий звук, как если бы зуб болел, и сдвинул плотно губы. У него были подстриженные под полубокс волосы, изжелта-серое впалощекое лицо, узловатые руки с крепкими пальцами.

– Продолжаете все праздновать, Максим Борисович? – спросил он и пощелкал ногтем по бутылке, не убранной Максимом. – Там гуляют, – он указал на потолок, где не смолкал топот. – Двое подраться успели, пришлось протокол составлять... И тут вы гуляете, Максим Борисович? На какие,

извините, средства? Никак страну, разоренную после войны, подняли, разбогатели, деньгами обзавелись? Прямо-таки разгулялись все! Ведь продуктов, жратвы нет, а страну пропьют!..

Он поцыкал большим зубом. Максим между прочим поинтересовался:

– Что вас привело ко мне, товарищ участковый? Рад видеть дядю Федора и вас, но... что-то не так?

Усольцев глянул на Максима, в глубоко посаженных неулыбчивых его глазах появилась жесткая стылость.

– Я к вам по дороге. У инженера Киселева по вызову был. Решил и к вам на огонек заглянуть. Хотел вопрос вам задать: все так же картинки рисуете и на рынках продаете, Максим Борисович?

– Рисую и продаю. Кроме того – керамику. Поломанную мебель реставрирую. Иногда удачно, иногда нет. Как-никак, а добавок к стипендии.

Усольцев неудовлетворенно поцарапал ногтем козырек своей выгоревшей фуражки.

– По спекулятивным ценам? В комиссионный не сдаете? Не тот резон? Смотрите, за спекуляцию привлекут...

– Совершенно верно, товарищ Усольцев! – подтвердил Максим в неумеренном восторге. – На рынке деру по сто тысяч за пейзажик, пятьдесят за кувшин! Богат, как Ротшильд! Стены моего дворца сделаны из золота и алмазов вперемежку с платиной. Вглядитесь внимательней, товарищ участко-

вый, и вы увидите – червонный и алмазный блеск!

Усольцев омраченно выговорил:

– Хахачки все, хахачки, Максим Борисович. Своему папаше в актерстве подражаете. Да таланту у вас нет. Папашиного-то. Характер у вас чересчур вольный. Себя не контролируете. Что хотите, то и выпендриваете. Хотите, торгуете на рынке, хотите – самогон с друзьями пьете и всем жильцам покой нарушаете, хотите, с врагами советского народа, то есть с немецкими пленными, странные беседы ведете. В обществе вашего гостя. Персональное, конечно, дело, с кем и как разговаривать, но в данное время непатриотично, скажу прямо. Я четыре года от звонка до звонка на войне протрубил, видел их зверства своими глазами. На нюх их за версту чувствую. Ох, Максим Борисович, язычок у вас, одно, другое, третье, так и на кривую дорожку свернуть недолго. А вы – хахачки! Легкомысленно! Смотрите, смотрите... В моей обязанности предотвратить проступок, упредить противозаконные нарушения граждан на вверенном мне участке. Это моя обязанность, мой долг перед родиной, Максим Борисович!

– Перед родиной? Противозаконные нарушения? От ваших угроз и наставлений рассмеется даже камень, – сказал Максим нейтральным голосом. – Моя совесть чиста, товарищ лейтенант, как песнь жаворонка. Как слезинка соловья. Чем я так вам обязан за ваше милостивое посещение? Земная глупость достойна наказания, что и есть справедливость.

Считаете, я сделал какую-то глупость, – наказывайте. Не совершил преступления – осло-бо-ни-те от казенных нраво-учений. – Максим втиснул пальцы меж пальцев и вскинул руки к пейзажу на стене, как к иконе. – Я идейный студент, я кандидат в члены вэлкээсэм!

– Опять хахачки строите? За квадратного дурака принимаете? – Усольцев свистяще втянул воздух, охлаждая больной зуб, на его землисто-серых впалых щеках лежала тень мрачности, не допускающая ни улыбки, ни шутки. – А вот плакатик все висит у вас. Очень сомнительный. Говорил я вам тот раз: снять бы надо, нехорошие мысли приходят. Как так? Все, значит, разрешено? Ничего не запрещать? А голову кому-нибудь проломить – тоже разрешено? В парадном раздеть? Тоже? Ножом пырнуть? Разрешено? Если волю во всем себе давать, и за решетку угодить можно...

– Ваше милицейство!.. – вскричал Максим в ужасе.

Со сцепленными по-актерски руками, протягивая их к Усольцеву, он своим видом выразил потрясение испугом, вину и покорность – трудно было определить, как ему удавалось так убедительно управлять собой.

– Ваше милицейство! – продолжал он плачуще. – Ваше лицо, извините меня, дурака, напоминает страницу закона! Уголовный кодекс! За что?

– Насмехаетесь? Злостно хулиганите? «Ваше милицейство». Ишь ты, какое оскорбление выдумали! Или – болтаете сдуру? При вашем госте скажу: вы – легкомысленный,

незрелый, зеленый человек!

– Да что вы, нисколько. «Ваше преосвященство», «ваше милицейство» – прекрасно звучит, какое же тут оскорбление? Но почему вы говорите только о моих недостатках? – Глаза Максима плаксиво заморгали. – Я – легкомысленный? Нет, в вашем заявлении нет прибежища для справедливости. Не знаете вы меня, товарищ лейтенант, так же, как я вас. Не знаете – никак! И сожалею, честное слово...

– Я говорю: бол-лтаете много! Темный вы еще человек, зеленый и темный!

– Это верно, – обрадовался Максим. – Зеленый, темный и серо-буро-малиновый в горошек!

Судорога прошла по нервному лицу Усольцева.

– Еще будете болтать, я вас за хулиганство отправлю в отделение! Прекратите, гражданин Черкашин! Кончено! Точка. Я не в гости к вам пришел, а предупредить от проступков в доме, где за положенный порядок отвечаю я, а не вы, гражданин Черкашин!

Впалые щеки Усольцева натянулись, крутыми буграми вздулись желваки, он произнес «Тэ-эк», и темные глаза сдвинулись вкось, будто ударили дядю Федора сбоку. Тот, с желчной скорбностью подбиравший беззубый рот, неудобно устроился в кресле, старческие пальцы его нетерпеливо оглаживали лоснящиеся подлокотники, выдавая явную раздосадованность тем, как ведется разговор Усольцевым. И почему-то появилась мысль, что он, дядя Федор, привел участ-

кового, а не участковый захватил его по делу службы.

– Ну, Федор, что скажешь? – произнес с тяжелым недомольством Усольцев, которого крайне взвинчивали неподатливые ответы, балагурство Максима и молчаливая отстраненность дворника.

Дядя Федор заерзал, в груди его захлюпало, он откашлялся, проглотил мокроту, отчего его немощная шея сделала натужное птичье движение, проговорил тонкой сипотцой:

– Посторонние люди бывают тут. Чего-то уносят иногда... в газетку завернутое. Может, картинки, вон их сколько... – Он повел из стороны в сторону остреньким подбородком. – А может, кувшины какие или еще чего. Нехорошо это. А то молодежь приходит, скубенты. Так эти, видать, напьются, ночью песнями пошумливают, а во дворе и непотребства творят.

– Какие непотребства? – пасмурно спросил Усольцев.

– Да надись... Поймал одного, кудлатого. На стену гаража без стеснения нарушал... Во-от.

Максим засмеялся своим журчащим пульсирующим смехом.

– Восхитительный донос! Но я к вам не в претензии, дядя Федор! – И тут же с омерзением перекривился и позволил себе сказать без умеренного гнева: – Пренеприятнейший вы человек, товарищ дворник! По вашему жить – это к месту врать и предавать. Сподобились. Благодарю.

– Как так врать? – Дядя Федор взъерошенно заелозил в



кресле, его сухонькое песочного цвета личико вмиг озлобилось каждой морщинкой. – Посторонних людей у себя пригласите? По какому праву? Для какой такой корысти? Кто такой этот гражданин посторонний, раненый? Почему ночью к вам пришел? Да еще с женщиной? Дворник я! Мое дело – чтоб порядок, а не против!..

– Образцовый вы были надзиратель, дядя Федор, – печально похвалил Максим. – Но в вашу тюрьму я не хотел бы...

Дядя Федор привскочил в кресле, вскрикнул:

– Чего-о? Ах, ты-и... Я по уставу исполнял!..

– А ну погоди глупить, Федор, – смирил его Усольцев, и казавшиеся недвижимыми в запавших глазницах твердые, без блеска глаза его запоминающе измерили Александра, как если бы только сейчас он заинтересовался им вблизи.

«Вот оно... об этом я подумал, едва они вошли», – промелькнуло у Александра, ощущавшего среди разговора боковое внимание Усольцева, хотя тот не смотрел на него.

– Гость будете? Из госпиталя?

– Да.

– Ранен? Долечивались?

– Да.

– Не понял.

– Открылась рана. Залечивал.

– Приезжий?

– Нет.

– Москвич?

– Да.

– Не понял.

– Москвич. Я сказал ясно.

– Значит, в Москве проживаете? И прописка в столице?

– Да.

– Разрешите ваши документы. Прошу паспорт.

Они встали одновременно – Усольцев с табуретки, Александр с дивана. Участковый был на голову выше его, шире в плечах, костистая фигура, стриженная под полубокс голова выглядели непреклонно – портили эту внушительность вдавленная грудь, какая бывает у очень рослых людей, не вполне свежая милицейская форма, от которой пахло не то горьковатым потом, не то уличной пылью. Усольцев выдвинул длинную руку, повторил:

– Прошу паспорт.

Нет, с тех пор, как вместо офицерского удостоверения был получен паспорт, он не носил его с собой. Он получил его в конце сорок шестого года и положил в ящик отцовского письменного стола, где хранились орденские книжки и справки о ранении.

– С собой паспорта у меня нет, не ношу, – сказал Александр. – Только военный билет. Вот, пожалуйста.

«Почему меня так раздражает его глухой голос, его очень прямые плечи, его вогнутая грудь и особенно глаза... Застывший металл без блеска. И зачем он цыкает краем рта?

Зуб у него болит?»

– Как так нет паспорта? – спросил поднятым голосом Усольцев. – Паспорт удостоверяет вашу личность, и его положено иметь всегда при себе. Как иметь костюм, гражданин...

«Болван или напускает на себя роль стража закона?»

– В чем разница – паспорт или военный билет? – сказал Александр. – И то, и другое – удостоверение, по-моему.

– По-вашему – это еще не по-нашему, – заговорил Усольцев, не спеша раскрывая военный билет. – Значит, лейтенант запаса, разведчик... Вот как. Смотри ты... Тезки по званию. Но я воевал не в полковой разведке...

– Понимаю. Служили в Смерше. Не ошибся, товарищ лейтенант?

– Ошибаетесь, лейтенант Ушаков, Александр Петрович, одна тысяча девятьсот двадцать третьего года рождения, – проговорил Усольцев, тщательно изучая военный билет Александра. – Три года я прослужил старшиной роты. С сорок первого. Знаю, что такое передовая... что такое окружение и атака. В конце войны после госпиталя меня взяли работать в Смерш. А после демобилизации предложили работать в правоохранительных органах. Так что... намек ваш понял. Сейчас я простой чернорабочий правосудия – участковый инспектор. Так что не надо намеков.

– Намека не было.

– Не такое уж я бревно, товарищ лейтенант Ушаков.

Со стороны темных элементов несознательное отношение к Смершу на войне было известно, – с уничижительным равнодушием произнес Усольцев.

– Так же, как к милиции в тылу, – заверил возбужденно Максим, заложив руки в карманы и упершись плечом в полку с запыленными глиняными фигурками.

Усольцев углом рта втянул воздух к нездоровому зубу, проговорил:

– Предупреждаю русским языком: отправлю в отделение. За хулиганство. Ведете себя, как пацан. А еще студент. Сын уважаемого артиста. Так, значит, Александр Петрович, малость непонятно мне, – продолжал Усольцев, не выпуская из рук военный билет. – Здесь отмечено: два ранения – в сорок втором году и в сорок третьем. А это у вас что же – третье ранение открылось, не указанное в билете? Срок-то очень большой – четыре года. От второго ранения. И открылось?

– Да.

– В каком госпитале лечитесь?

– В двадцать третьем.

– Лечитесь или выписались?

– Выписался.

– Адрес. Где госпиталь находится?

– На Чистых прудах.

– А справка из госпиталя у вас имеется?

– Нет.

– Тэ-эк.

Глухой голос участкового как будто растворялся над извилистым бурым туманом, вползая в сознание тупой опасностью, своими допрашивающими вопросами одновременно расставляя в текучей пелене преграду из колючей проволоки. Он, участковый, точно догадывался о чем-то, подозрительно чуял профессиональным нюхом несообразность, некое отклонение. И Александр, с целью кратко выговаривая «да» и «нет», еще надеялся найти выход в этой глуповатой простоте ответов, но вместе с тем чувствовал, как росло в нем раздражение против рьяной придирчивости Усольцева, выполняющего служебный долг чернорабочего милиции при бдительном содействии всевидящего старичка дяди Федора.

– Кировский райвоенкомат, – прочитал вслух Усольцев в военном билете и, сложив билет, похлопал им по ногтю большого пальца. – Кировский район, значит. А по какому адресу проживаете конкретно, Александр Петрович? И где же находится паспортник ваш? Дома? По какому адресу, если не трудно вспомнить?

«Вот оно – сейчас...» И Александр сказал, уже утрачивая выдержку:

– Какое это имеет значение? Вам недостаточно военного билета?

– Ах, не имеет?.. Каждый человек имеет адрес проживания. Проверим, проверим. И госпиталек проверим. С ранением как-то чудно у вас. Сам был ранен тяжело, а рана через четыре года не открывалась. Неувязочка.

«Паспорток», «госпиталек», «неувязочка» – эти не к случаю уменьшительные слова, не к месту произнесенные Усольцевым с каменной ласковостью, так не сочетающейся с его допытывающим взглядом из провала глазниц, едва сдерживали Александра от резкости, он затрудненно спросил:

– Как это проверим? Как именно?

– Вы ведете себя неподобающим образом, товарищ участковый! – вмешался разгоряченно Максим. – Здесь не Смерш, а квартира, и Александр Петрович мой гость! Одна голова хорошо, а две... два сапога пара и то на одну ногу! Почему ко мне вас привел дядя Федор? Донос сделал? Порядок блюдет, как и вы?

– Мо-олчать! – ухающим басом скомандовал Усольцев и, погашая вспыхнувший огонь злости, постоял безмолвно несколько секунд. – Тэ-эк! Придется вам, Александр Петрович, пройти со мной в отделение милиции! – сказал он непреклонно. – Для выяснения.

Он подхватил полевую сумку со стола, поношенную, покарбанную, повидавшую, должно быть, фронтовые виды, расстегнул ее с намерением бросить туда военный билет, и Александр понял, что вот сейчас, в этот момент, когда расстегнута сумка участкового, происходит главное: отсюда потянется все. Боль в голове жарко ударила его, отдаваясь в предплечье, он поморщился.

– Отдайте билет, – проговорил он, протягивая руку, и шагнул вплотную к Усольцеву, загораясь гневом. – Какого черта

вы взяли мой военный билет? Дайте его сюда!

– В отделении все выясним и проясним, и я верну ваш билет, – сказал с тою же каменной ласковостью Усольцев и помахал перед грудью Александра военным билетом. – Лейтенант разведки, а ведете себя расхлябанно, как ребенок. Ваш билет будет в целости и сохранности, гражданин Ушаков.

– Мне не нужна целость и сохранность моего удостоверения в вашей сумке, – выговорил Александр и дерзко вырвал военный билет из пальцев Усольцева. – Идите к черту! Я вас знать не хочу!

– Что-о? – крикнул горлом Усольцев. – Ты... на должностное лицо? Я – лейтенант милиции! У меня права, а не у тебя, гражданин беспаспортный!

– Я сказал: знать вас не хочу!

– Что-о? Я лейтенант правоохранительных органов! Понял?

– Я вижу, вы влюблены в свое звание и пользуетесь взаимностью, лейтенант правосудия.

Он уже не мог сдержать себя, подхваченныйжигающим толчком сопротивления и неприязни к этому бывшему фронтовому лейтенанту, смершевцу, а теперь участковому, еще не расставшемуся с полевой сумкой, такой знакомой, такой родственной по своему фронтовому виду.

– А ну! – опять крикнул Усольцев командным голосом, вкладывая в это «а ну» силу данной ему власти.

– Что «ну»? Здесь не милицейская конюшня, лейтенант!

– Как безобразничает, а? – просипел дядя Федор, перепуганно озираясь, и в груди его захрипело, забулькало. – Неподчинение органам, а?

– Сиди, старая галоша, и помалкивай, – посоветовал Максим. – Сиди и молитвы читай...

– А ну, пойдем со мной! – скомандовал Усольцев и боднул головой в сторону лестницы. – Выходи!

Его сдавленные в полоску губы безжизненно посерели, мертвецкая бледность покрыла лицо, стянутое по скулам злобную решительностью. И участковый вторично крикнул:

– Выходи, приказываю!

– Идти с тобой мне незачем, лейтенант, – сказал Александр. – Незванным пришел ты. Ты и уходи. Вместе вон с этим мухомором, который тебя привел... как его... дядя Федор? Вот, вот, вместе с бывшим тюремным надзирателем, банальным местом нашей действительности! Вали к чертовой бабушке отсюда!

– Сволочь! Говнюк! Силой выведу! Силой в отделение вытащу! – вдруг не бухающим, а высоким режущим голосом выкрикнул Усольцев, вроде бы второй, пронзительный голос имел он, и его мертвецкое лицо уродливо изменилось, он качнулся к Александру, весь изготовленный схватить его за здоровое плечо, но в ту же минуту отпрянул, попятился, зачем-то судорожно оглаживая на правом боку ремень, на котором висела новая кобура, но пистолета в ней не было. Он открывал и закрывал рот, выдавливая шепотом:



– Ты это что? Какое имеешь право? Ты куда рукой полез? Оружие имеешь? Нож? Пистолет?

– Пошел вон отсюда! Бегом, подонок, отсюда! – говорил Александр, опаленный головокружительно-горячим туманцем гнева, подступая к участковому, а рука сама по себе в ответ на жест Усольцева с молниеносной поспешностью толкнулась к заднему карману, где знакомой тяжестью давил на бедро пистолет. – Брысь, подонок, немедленно! – крикнул Александр, не расцепляя зубов.

И тотчас, увидев страшное в злобе меловое лицо Усольцева, подумал, трезвея: «Я идиот. Взрываюсь при каждой нелепице. Да откуда у меня такая ненависть к этому глупцу? Безумие? Рефлекс, выработанный в разведке? У меня болит голова, я чувствую, обострилась контузия, и я не сдерживаюсь...»

А Усольцев, каблуками нащупывая ступени, спиной подымался по лестнице за трусливо ковыляющей впереди скрюченной фигуркой дяди Федора и кричал неистово:

– Сейчас, мы сейчас! Вызову наряд, и силой доставим! Мы тебя, голубчик, раскусим! С оружием приду! У нас не выкрутишься! Ишь ты, умный какой! Дерьмо всмятку!

Хлопнула дверь наверху, пробежали удаляющиеся шаги по двору, тишина сомкнулась за окном.

– Ты не думал, что тараканы и чижики почувствовали после войны власть? – сказал Александр, пытаясь усилием воли остудить накаленность только что случившегося, и под невы-

пускающим взглядом Максима поправил сзади рубашку. – Только теперь начинаю понимать, что большинство шантрапы выжило и приспособилось к тыловой жизни, а лучшие ребята погибли!

– У тебя... есть оружие? – спросил Максим, и страх проскользнул по его лицу. – Хорошо, что участковый не носит, а то бы вы...

– Уже не имеет значения.

Казалось, у него хватило воли не показать голосом свое возбуждение перед Максимом, но рука, заправлявшая сзади рубашку, дрожала, и было душно после несдержанного в краткую секунду гнева, когда надо было сдержаться. Но какая-то пружинка в его душе, расчетливо разжимавшаяся на войне, изменила выверенной упругости, и стало очевидным: сдавали нервы.

– Они скоро придут, – сказал Александр утвердительно. – Мне надо уходить. Пожалуй, уеду из Москвы. Недели на две. Они, конечно, потреплют тебе нервы. Но ты чист. Со мной и с Нинель ты познакомился на улице, дал нам свой адрес. Мой адрес тебе неизвестен. Впрочем, я вижу, ты парень не из трусливых – пронесет, Максим.

– Не трус ли я – надо бы еще разжувати, – усомнился Максим. – Скорее всего – презираю трусов. Поэтому храбрюсь перед этими халдами и играю под шалопаю. С кем имеем дело? Дядя Федор – доносчик, надзиратель, банальное место нашей жизни, ты прав, а с милицией связываться – пи-

сать против ветра. Но покладистого зайчика заключают. Да-а, у участкового была такая зверская рожа, словно у него половину ягодицы откусили. Скрежетал зубами. Но в общем-то, Александр, хреновые дела! Что, если бы у него был пистолет!..

– Дела не простые. То, что они придут, – это ясно!..

Александра морозило, начинался опять озноб, зябкие токи холодили спину. Он накинул китель, осторожно придерживая раненую руку, и Максим кинулся помогать ему. Александр сказал:

– Все равно, Максим, что бы ни было, наш враг – это наша собственная трусость. Ты хороший парень, и все будет как надо. Держись! И не бойся халд. Спасибо тебе за гостеприимство. Увидишь Нинель, объясни, что произошло. Она знает про Ленинград.

Он поудобнее устроил забинтованную левую руку на перевязи и правой рукой стиснул мозолистые пальцы Максима.

– Не поминай лихом, как говорят.

– Подожди! – крикнул Максим и рванулся к шкафчику. – Деньги!

– Я себе оставил. Это тебе на жизнь.

– Ни за что! На жизнь я зарабатываю! А тебе – ой как пригодятся теперь!

## Глава одиннадцатая

Поезд несло, качало, по купе вкось мелькали дымящиеся светлы фонарей, на всей скорости врезались и исчезали косматые вспышки, все гремело, гудело, скрипело под полом, дождь между залпами грома яростно колотил по крыше вагона. В черное окно хлестали бурные струи, и чудом зацепившийся за раму березовый лист вибрировал и не отрывался, прижатый к стеклу водяными потоками. На воле бушевала ночная гроза после многодневной жары, колдовала тьмой, светом, взблеском молний, мокрым воздухом, хлопала ветром, словно гигантскими простынями, крутила спиральями раскаленных искр и гасила их в непроглядных безднах.

Вместе с буйством грозы мчалась в ночи уютная, под шелковым абажуром, настольная лампа, отражаясь призрачной медузой среди мрака залитого окна. Но уют этой лампы не создавал дорожного покоя, и не трогали строчки раскрытого сборника Анненского, любимого поэта Максима, который он, прощаясь, сунул Александру в планшетку. Александр отбросил книгу, тупо глядя на свой китель, однообразно раскачивающийся на вешалке над приготовленной постелью, раскрытой крахмальной белизной. Он ехал в мягком вагоне. Он был один в купе. Не спалось. На войне его всегда тревожили майские и эти августовские грозы с ветром, громом и молниями. Тревожили дикой неумеренностью, излишним молоде-

чувством, бесстыдной страстностью, угрозой разыгравшейся небесной стихии, возбуждавшей мысль о смутности ухода в края вечные при встрече со случайной или нацеленной автоматной очередью. И тогда не отпускала другая мысль: вот в такую разгромленную грозовым налетом ночь или в сырое насквозь утро, заставшими разведку где-нибудь в нейтральном овраге, он не хотел бы проститься с белым светом и быть положенным в недорытый окоп, затопленный водой, гнило пахнущий плесенью, не хотел, чтобы глинистая вода стояла в глазницах, не хотел грязного и отвратительного конца на дне мелкого окопчика, взятый в плен самыми жестокими победителями – шестью породами могильных червей. Мысль о такой гибели вызывала у него чувство брезгливости к своей возможной смерти, в обстоятельствах, унижающих последние минуты на земле.

«Почему и сейчас так действует на меня дождь? Меня не перестает знобить. Такое ощущение, что загноилась рана, а ничего сделать не смогу».

Измученный всем прошедшим днем, колобродством, бешеным разгулом ненастья, он, не раздеваясь, лег на постель среди грохочущего перестука колес, какого-то гула, треска под полом; сверкали и потухали, озаряя купе, молнии. Сдавленный толщей дождя, вагон несся, как по дну океана, в сплошную бесконечность, над которой стояли десятки километров воды, и Александр вдруг почувствовал такую тоску, что стал задыхаться в своем запертом от всего мира купе,

в этом непробудно спящем экспрессе. И он запоздало пожалел, что перед покупкой билета в Ленинград зашел к начальнику вокзала и попросил в мягком вагоне двухместное купе на одного, на себя, в связи с открывшимся ранением и рецидивом старой контузии, что может принести немалые беспокойства пассажирам в случае приступа. Начальник вокзала при виде его забинтованной руки и орденов отдал без единого вопроса распоряжение отпустить билет в мягком вагоне. И Александр, войдя в купе, заказав проводнику чаю с печеньем и потом запершись, ощутил вожаделенное облегчение после мучительных суток, проведенных в Москве.

В тот вечер, когда Александр ушел из полуподвальчика Максима, он добрался до Ленинградского вокзала, но опоздал на последний полночный поезд и до закрытия привокзального ресторана сидел один за угловым столиком и безразлично допивал бутылку кислого грузинского вина, обдумывая, где провести остаток ночи и следующий целый день до отправки двенадцатичасового экспресса. В зале ожидания, переполненном, пропахшем нечистой одеждой, вокзальным духом вещей, угаром железной дороги, он пристроился на крайней скамье, вдали от дверей, между толстошеим мужчиной в надвинутой на полнокровное лицо кепке, который, сложив на животе пухлые руки, в забытии причмокивал губами, и маленькой, как мышка, старушкой с постными глазками, то и дело слепляющей их в дремоте и одновременно украдкой проверяющей ногой целостность мешка под

скамьей. И Александр, то отуманенный сном, то просыпаясь от боли в предплечье, тяжело размыкал веки, с удивлением видел множество людей, спящих с откинутыми головами на скамьях, скорченных возле узлов и чемоданов, видел пустые ночные окна, сонный зал, озвученный сопением, мычанием, храпом, еле уловимым писком грудного ребенка, – и тогда четко понимал, зачем он здесь, как он оказался здесь.

«Да, мне плохо. Никогда так не было. Откуда эта тоска?» – думал он, чувствуя свое непереносимое одиночество в непросыпно спящем под грохот дождя поезде с дрожащим светом настольной лампы в затопленном струями окне. Там, в черноте, отражались вместе с лампой белые страницы книги на столике, подаренной Максимом в дорогу от бессонницы, уже не имеющей значения.

«Нет, не этого я ждал и не этого хотел. Белый поезд увез отца. И я тоже в поезде, и думаю о матери, и вспоминаю ее лицо. Странно: мать часто говорила, что было самое большое счастье для нее и отца, когда я родился».

Этот рассказ матери он помнил так отчетливо и так подробно, точно бы и сам видел и ту весну и уральскую ночь, полную сокровенного лопотания, хлюпанья весенней воды в саду возле крыльца. Да, в детстве он видел такие ночи. Был март, капель не смолкала, всю ночь подсвеченные по краям разорванные тучи вытягивались над вершинами деревьев и иногда закрывали сиреневой дымкой, иногда открывали раскаленный шар меж обнаженных ветвей. Тогда все светлело,

только на траве черная тень от дома становилась еще четче, еще чернее. В конце сада синели стволы берез, запах тающего снега в холодном воздухе был дурманяще сладок, и мать чувствовала его: влажный воздух вливался в открытую форточку.

Потом началась боль, исчезла красота ночи, боль кончилась лишь в пять часов утра.

Это был месяц и час его рождения, и однажды перед самой войной мать как-то счастливо рассказала, каков же он был, этот час, в минуты ее страдания и появления Александра на свет. Обессиленная родами, она помнила одно: зная, что родился мальчик, очнулась в слезах радости в темной палате и сразу увидела в переплете окна сверкающую, как раскаленный пятак, луну. «Не потому ли я в молодости так любила лунные ночи?» – подумала она и вспомнила, как муж иногда говорил ей: «Ты у меня романтик, Анюта».

А Александр до войны особенно любил сугробные зимы в своем Замоскворечье, стеклянный звук утреннего мороза, перехватывающую дыхание стужу, запах оттаивающих поленьев, принесенных к «голландке», погожее безмолвие после ночного снегопада. Опоздав на нелюбимую алгебру, он идет в школу на второй урок, не застегнув пальто, с тетрадями под мышкой, а между заборами все горит снежным огнем, оловянное солнце стоит за опушенными густым инеем деревьями, на ослепительной пелене замоскворецких дворов крестиками плетут кружева следы сорок, и в переулке две фи-



гуры, запахнутые в тулупы, с лопатами под локтями, кричат, хакают, гыкают в избытке зимних чувств, дышат паром из поднятых воротников, вразвалку подходят друг к другу, топчутся на снегу и обмениваются степенными фразами, которые вызывают у Александра беспричинный смех. Ему весело от голосов дворников.

– Морозец-то как, а? Лютует, – сообщает солидно один тулуп.

Другой тулуп крикает на весь переулочек и соглашается:

– Подковывает. Так в груди и спирает.

– К ночи гляжу – снежит. Думаю: отпустит. Ан нет – по-падал стервец и перестал. Постоят морозцы-то, видать. Без туманов они суровее. До Крещения постоят.

– Постоят, куда деваться. Никуда не убежешь. Стужа свою силу знает. Вон как инеем заборы-то разукрасила, ровно серебра кто набросал!

И эти утренние многозначительные переговоры знакомых дворников из соседних домов, их голоса, тулупы и эти запомнившиеся с тех пор безоблачные зимы в Замоскворечье – все это было его детское, безраздельное, навек его, и особенно потому, что мать вечером, подымая опрятно причесанную голову от книги (она читала по вечерам), вдруг говорила задумчиво:

– Какой сегодня прекрасный был день. И как хорошо это у Пушкина: «Мороз и солнце – день чудесный...»

Неужели в ту пору его замоскворецкого детства мать нена-

вязчиво пробовала передать ему что-то свое, близкое ей с молодости, что постепенно разрушила в нем война?

И он помнил сорок третий год, свирепые морозы на Украине, напоминающие сталинградские холода, – воробьи обледенелыми комками валялись по утрам под плетнями полусожженного села с загадочным названием Люберовка, где расположился его взвод на отдых. Но отоспаться после ночных разведок Александру не удалось – вечером передали телефонограмму из дивизии: срочно прибыть к помощнику начальника штаба на совещание. Он взял лошадь в хозяйстве полка и километров десять в тыл – до штаба дивизии – проскакал легко, только время от времени приходилось растирать рукавицей лицо, ошпаренное ветром. В полночь, выслушав на совещании инструкции помначштаба, хлебнув с дивизионными разведчиками перед обратной дорогой глоток горилки «для сугрева», вскочил в седло и рысью двинулся в Люберовку, раздумывая над инструкцией и очередным поиском на правом берегу. Размышляя о своих заботах, он то и дело растирал коченеющее лицо, изредка поглядывал на блещущую, сверкающую звездами неистовость в черно-синем небе – ожигающе холодную луну, сбоку которой огненно пылал высокий Марс, на юге разгорался, искрился огромный Сириус, а на севере в беспроглядной тьме лежал на боку серебряный ковш Большой Медведицы – ориентир справа при направлении на Люберовку. И, торопясь выехать из звездной пустыни, Александр под бегущий перестук копыт о ледяную

дорогу почему-то повторял про себя когда-то узнанные от матери названия звезд и созвездий. И представлялось, как мать показывала ему в отцовский бинокль августовское небо на террасе подмосковной дачи, которую снимали до войны.

От этой глухой украинской ночи без ракет по всему горизонту, от острого блеска, яростного сверкания, переливания и фиолетовых вспышек созвездий, от безучастного широкого огня Большой Медведицы исходил адский, гложущий тело холод. И Александру вдруг почудилось, что лошадь его, подстегнутая человеческим воплем, вырвавшимся из-под ее копыт, и криками позади, не слушая повода, мчится вскачь, испуганно фыркая, вздрагивая напрягшимся крупом. В тот миг стало ясно, что на несколько секунд он задремал (как он мог забыться?) и теперь скачет не по дороге, а куда-то вслепую, по степи, по шелестящим стеблям. Он взглянул вправо – Большая Медведица сдвинулась за спину, переместилась: лошадь свернула с направления на Люберовку и наметом мчала его не к селу, а правее его. И тут, еще ничего не понимая толком, он уловил в звездном свете какие-то бугры, силуэты крыш слева, казалось, дальней деревни, а неуправляемая лошадь с размаху перескочила через зачерневший ровик, увязла по грудь в сугробах, заметалась, вскидывая головой, разбрызгивая слюну, и вновь перемахнула через траншею, в которой раздались всполошенные голоса: «Хальт! Хальт! Вер ист да?» – и клацнули затворы автоматов, простучали над ухом. И наискось взвилась в небо ядови-

то-малиновая ослепляющая трасса, и сейчас же суматошно заработали автоматы, сумасшедшей иллюминацией схлестнулись вперекрест очереди над головой, над холкой лошади. Сомнений не было: он проскочил боевое охранение немцев и испуганная лошадь неудержимо несет его в расположение вражеской обороны, прямо немцам в руки – командира полковой разведки, лейтенанта, как всегда имеющего при себе карту в планшетке, с уточненными пометками наших пехотных позиций и артиллерийских огневых.

«Пропал... все!.. – оглушающе ударило в сознании. – Так попасть в плен?..»

Изо всей силы окостеневшими руками он натягивал повод, пытаясь остановить лошадь, изменить направление, взять влево, к силуэтам села. Но лошадь, подхваченная непонятным бешенством, рвалась из стороны в сторону, перепрыгивая через траншеи, расстреливаемая снизу из окопов, и, должно быть, была ранена, так как дрожь пробегала по ее крупу. А он силился и не мог вытащить негнущимися пальцами пистолет из скользкой от инея кобуры, и не осязал пистолет, а осязал равнодушный кусок металла, готовый вывалиться из неживой руки, – последняя и единственная его защита, Его спас инстинкт. Он уже не осознавал, как нащупал предохранитель, спусковой крючок, как нажал на спусковой крючок, как выстрелил дважды над правым ухом лошади, как расстрелял весь магазин по вспышкам автоматов, как лошадь обезумело рванулась влево через немецкие окопы, от-

куда кричали команды чужие голоса и просекали звездное небо автоматные очереди. Когда лошадь рванула влево, выскочила на нейтралку, к нашим позициям на окраине Люберовки, уже близко видневшейся крышами хат, из пехотных траншей, не разобрав, в чем дело, открыли стрельбу «славяне», но и здесь повезло Александру – убило только лошадь, которая и предала его, и помогла...

Обледенело-нагую, продутую как в трубу степь он не мог терпеть со Сталинграда, а после злополучной Люберовки возненавидел все эти прожженные морозом небесно-звездные красоты, когда едва не попал в плен на Украине, под жестоким полыханием Медведиц и Сириусов среди такой праздничной, фейерверочной ночи. И, не забыв коварную ночь, он иногда думал, что смерть на войне – это неразгаданная случайность, за которой царство вечного холода. В зимние, разукрашенные звездами ночи он был раздражен и выверенно осторожен в разведке.

Мать не знала его таким. Она, конечно, помнила его тем мальчиком, кто до войны на террасе подмосковной дачи искал в бинокль созвездия, расспрашивая о них.

И была еще другая морозная ночь, сорок шестого года, оставшаяся горечью в его памяти навсегда.

Было три часа ночи. Трамваи уже не ходили. Подняв воротник шинели, он один шел по Садовой. Снег косо сыпался мимо тусклых витрин. На площади белыми волнами метельная пыль накатывала на фонари. Он возвращался с вокза-

ла. О, эти послевоенные прибежища и убежища ожидающего люда, забытые московские вокзалы с промерзшими окнами, теснотой, спертым воздухом, храпом, кашлем, запахами еды, шинелей, сапог, вонью махорки, с неразберихой, с пронизывающими сквозняками от махающих дверей. Ровно в полночь возникло хаотичное движение у дверей, и он выбрался из переполненного зала ожидания на заиндевелый бугорками перрон, где в облаках морозного пара тенями задвигались фигурки с мешками, поворачиваясь к зеленому пятну светофора. На втором пути мертво стоял пассажирский состав, там редко желтели окна, толсто заросшие инеем, беззвучный паровоз темнел неподвижной громадой, чудилось, потухли задушенные стужей топки. А впереди, среди путаницы путей, колюче мерцали в студеном воздухе красные и зеленые огоньки на стрелках. Потом из-за этих огоньков с гулом выкатился еще один огонь – большой, угрожающе яркий. Под ним льдисто вспыхнули рельсы, далекие фонарики на стрелках затуманились, начали исчезать, застилаемые дымом катящегося паровоза.

Он стоял на краю перрона, взволнованно, глядя на скользящий по рельсам гигантский огонь, и сдерживал споткнувшееся дыхание.

Он увидел ее в тамбуре, она не успела выйти на перрон. Толпа с мешками, оглушая криками и руганью, смяла проводника, хлынула в вагон, и он почти на чужих плечах оказался в тамбуре, стремясь пробиться к ней, стремясь к ее

растерянно-радостному лицу. Их толкали, теснили, бранили, наконец прижали к закрытой противоположной двери, а они смотрели друг на друга, дыша паром, смеясь, сперва не в силах выговорить ничего, потом она стала повторять: «Саша, Саша, Саша», и он выговаривал вслед за ней: «Оля, Оля»... Он не помнил, о чем они говорили. Да был ли между ними вообще толковый разговор? Что они могли друг другу сказать тогда? Их притискивали к двери все плотнее, она была одного роста с ним, и под ее тонкой из английского сукна шинелью с погонями лейтенанта медицинской службы он чувствовал всю молодую гибкость ее; ее губы, ее жаркая белизна зубов были так близко, что он попытался поцеловать ее влажные зубы, но она чуть отклоняла голову, а колени ее дрожали, подгибались, и глаза становились сумеречными. Все крепче прижимая ее к себе, он все горячее загорался нежностью к ней, и она тоже стеснительно просунула руки ему за спину, обняла его, виском приникла к его подбородку, а он видел, как тихонько вдыхали воздух ее тонкие ноздри, перебивалось дыхание. «Я не думала, что ты меня встретишь, – говорила она шепотом. – Все время у нас как-то не очень хорошо. Ты уехал из госпиталя неожиданно, и мы даже не простились. Только твой адрес случайно...» А он, кажется, убеждал ее, что нужно остаться хотя бы на три дня, он что-нибудь придумает, снимет комнату, здесь все-таки не полевой госпиталь, у него достаточно фронтовых денег, им хватит, а Ольга умоляюще повторяла, что она из Потсда-

ма, из Германии, что ей нужно в Харьков, домой, что она в Москве проездом на несколько часов, что здесь служит в Генеральном штабе и сейчас живет ее двоюродный брат, майор, он должен встретить ее с каким-то обещанным в письме бисквитным тортом. «Какой торт? При чем тут дурацкие торты? И что за брат майор?»

Возвращался он с вокзала одурелый, пропахший, как спекулянт, прокуренным тамбуром, мешками, мерзлой картошкой, и его неотступно мучил сладковато-яблочный вкус ее губ, влага ее зубов – умопомрачительная мука неутоленной близости была и в госпитале, где они встречались урывками, в часы ее ночного дежурства, погибая от поцелуев, но не переходя последнюю черту, – она всегда сдерживала его, боясь последнего, когда он становился чрезмерно решителен.

Да откуда он мог взяться, этот двоюродный брат, майор, генштабист, с мифическим бисквитным тортом в сорок шестом году, черт бы его побрал! Но в то же время, остывая, ему хотелось оправдать Ольгу – стоило ли ей связывать судьбу с бедным, в общем-то бесквартирным, безденежным лейтенантом. Ее брата, майора, он, оглянувшись, различил лишь издали: ширококостный гигант в новой офицерской шинели стоял в толпе перед вагоном, держал в руке, обтянутой коричневой перчаткой, большую коробку. Неужели действительно – торт? Смешно и даже трогательно...

«Что за тоска вгрызлась в меня? И кончится ли она когда-нибудь? Меня знобит, и жар... Я знаю, как умирали ра-



ненные от заражения крови».

И, не открывая глаза, он снова увидел ту зимнюю ночь, когда он возвращался с вокзала по метельной Садовой, – гуляла на площадях светло-снежная мгла, срываясь с крыш, вьюжно застилала пустые витрины, крутилась вокруг залепленных фонарей, а он еще чувствовал гибкость ее стеснительного тела, прижатого к нему толпой в тамбуре, ее подгибающиеся колени, зубы, возбужденный блеск глаз и вспоминал свое желание близости с ней, девочкой-врачом в потсдамском госпитале, которую из-за ее стыда и страха он, уже опытный фронтовой лейтенант, не тронул, пораженный ее чистотой среди гнойных бинтов и крови.

Послышался стук в дверь, заглушаемый грохотом колес, и он открыл глаза. Возле горела настольная лампа, мелко тряслась, покачивалась от скорости поезда. Липкая сырость проходила сквознячками по горячему лицу. Вагон раскачивало с воем, скрежетом колес, дождь обрушивался на крышу, налетами бил по незадернутому шторой стеклу, там наискось извивались струи. Ветер, тонко вонзаясь, звенел в вентиляторе, и этот зубоврачебный звук бормашины наждачным холодом проползал по спине.

«Кажется, постучали в дверь? Или это дождь? Сколько времени? Рассвет? Куда я еду? Даже во сне невыносимо болит рука... будто пытаются раскаленным железом. Перевязку и врача бы. Милого Яблочкова...»

Он сцепил зубы, взглянул на часы. Было половина четвер-

того – глухая пора ночи. «Ах да, Ленинград... Заявлюсь к Хохлову с раненой рукой. Зачем? Как? Погостить? Глупо. Без письма, без телеграммы».

Негромкий стук в дверь повторился. Нет, он не ошибся. Это не был дождь – стучали в дверь вкрадчиво, наверное, опасаясь разбудить соседей. Ему не хотелось вставать. Кто бы мог ночью к нему? Поезд в Ленинград приходил утром, и будить перед прибытием было рано.

– Кто там? – недружелюбно спросил Александр. – Какого черта рветесь ночью?

Опять нечеткий стук в дверь, топание в коридоре и смешанный с гудением кояес голос:

– Проводник это... Из своего окна вижу: лампа у вас на столике горит. Можно зайти, коли не спите?

– Что вам угодно?

Александр с неохотой откинул защелку и снова лег. Загремела отодвинутая дверь.

– Извиняюсь, – сказал, входя, проводник, некрупного сложения пожилой человек в служебной фуражке, серые навывкате неласковые глаза припухли от бессонницы.

– Чую, не спите, – заговорил он сниженным голосом и не без огорчения выпустил ртом воздух: – Ясные дела-а, рана... И слышу: вроде вы за стенкой вслух стонете. Мое окошко рядом, свет вашей лампы хорошо виден. И небось лекарства нет.

Он осмотрительно присел на самый кончик полки, в ногах

Александра. А тот, находясь еще в состоянии полуяви, раздраженный внезапным появлением проводника, отсек возможные вопросы.

– Обхожусь.

Проводник ладонями широких рук придавил колени, подумал немного.

– И ничего не надо вам? Ехать-то еще несколько часов. Ранение, должно, открылось?

– А вы что – можете предложить врача?

Его плохо выбритое лицо было устало-нахмуренным.

– В нашем поезде нет. А я по-солдатски лекарство могу предложить, – сказал он. – В медсанбат меня после боев под Ржевом привезли, осколок мины к бедру приласкался. А наркозу в медсанбате как раз не хватало. Так мне вместо наркозу подают стакан спирту: пей, говорят, и можешь песни петь, веселиться, а мы с тобой повозимся. Я, как дурной на свадьбе, давай орать «Стеньку Разина», а они осколок инструментами выковыривают. Не так чтобы в обрез, но помогло. Так это лекарство с собой вожу. Принесть, сынок? Оно притупит. Рана-то когда открылась? – спросил он и, приготовленный подняться, нажал ладонями на колени с выражением неодобрения в выпуклых серьезных глазах. – Водка, ясно и дураку, не лекарство, а боль снимает.

– Спасибо. Водку не пью, – сказал Александр, отмечая про себя, что такие вот не очень заметные простонародные лица он встречал в пехоте среди «стариков» (а солдаты в 30 лет

казались ему стариками), и спросил, что спрашивал всякий раз воевавших: – Где служили? В пехоте, наверно?

– В пулеметной роте.

– А демобилизовались когда?

– Отвоевался. В сорок втором. Дали инвалида. Потом сняли. А сын, единственный был сынок, должно, ваш ровесник, на Зееловских высотах...

Его сиповатый голос сорвался в кашель, лицо набрякло краснотой и отклонилось в тень.

«На Зееловских высотах? У проводника убит сын. Мой ровесник? Сколько же моих ровесников, избранных, осталось жить? Сотни? Десятки? Единицы. Что-то мне совсем нехорошо...»

Мокрые нахлесты ветра по крыше вагона, всплески дождя, дробь крупных капель по стеклу заполняли купе, над постелью волнами колебался влажный воздух, холодил шею, и одновременно сухой жар расползался от предплечья, осыпал руку огнем, туманил голову – и голос проводника становился бесплотным, неуловимым, ускользал, мнилось, спрятанный от оранжевого света лампы полосой тени, и покачивался где-то, пропадал в хлещущем шуме.

– Видать, сынок, плохо тебе, – проник сквозь этот шум голос проводника. – Не отпускает? Что делать с тобой, сынок, ума не произведу. До Ленинграда четыре часа катить. Делать-то что? Лекарства моего не принимаешь, а другого ничего...

– Дайте мне... вашего лекарства, – попросил Александр и постарался улыбнуться, чтобы взбодрить самого себя, но улыбка получилась искаженной. – Клин клином...

Ему неприятно было слышать, как зубы его ознобно застучали о край стакана, когда начал пить принесенную проводником водку, показавшуюся кислотовато-горькой, омерзительной, но он выпил весь стакан до дна, ожидая облегчения.

## Глава двенадцатая

В медпункте вокзала ему сняли бинт, и он почувствовал головокружение, увидев сгустки гноя, отваливающиеся от окровавленной марли в таз. Металлический запах нашатыря ударил в нос, к его лицу близко придвинулись чьи-то осуждающие глаза, сросшиеся разительно черные брови под белым медицинским колпаком, прокуренный голос сказал, что только остолоп может так запустить рану, что надо немедленно в госпиталь на Нарвскую заставу, неужто руку потерять не жалко, – и, неудовлетворенно крикнул кому-то в солнечный свет медпункта: «Маша, оставьте меня часа на полтора и проводите на трамвае воина в пятый госпиталь!» После перевязки стало легче, боль оттаивала, растворялась под бинтом, в голове прояснилось, и, помня свое отвратное состояние в вагоне, он попробовал убедить себя, что не так уж плох. Но когда он отказался от помощи сопровождающей Маши, поблагодарил и вышел из медпункта на площадь, отблескивающую после ночного дождя невысохшим асфальтом, в сознании его всплыла фраза «неужто руку потерять не жалко», и испарина выступила на лбу.

Солнце стояло над крышами. Невский проспект за площадью, уже по-утреннему оживленной толпами на остановках, звонками трамваев, дымился парком над тротуарами, а на площади тянуло в воздухе речной сыростью, и это немно-

го освежило Александра.

Хохлов жил на Васильевском острове, в доме восемнадцать, адрес он хорошо запомнил, отвечая на письма своего верного сержанта, и надо было у кого-нибудь расспросить, как добраться туда. На остановке сутулая женщина с челкой седых волос вежливо объяснила ему, как доехать до Васильевского. В трамвае предупредительно уступили место, участливо поглядывая на его орден, а он смотрел на прямоугольную ровность немосковских сероватых улиц, на высокомерную в своей широте Неву с дымками крошечных буксиров, на зеленую, воду каналов под горбатыми мостами, на утреннее скопление людей возле булочных, но все это скользило мимо сознания, не мешая думать о том, как на Васильевском острове он найдет этот дом номер восемнадцать, как встретит его Хохлов.

На Васильевском около получаса он искал дом Хохлова, всматриваясь в старые закопченные корпуса с немытыми окнами, разглядывая петровских времен особняки, потрескавшиеся колонны, обвалившуюся лепнину балкончиков, подпертых потемневшими от веков атлантами, и был довольно обрадован, обнаружив номер восемнадцать на строении, похожем на башню, напротив уличного садика. Каменные ступени, сквозь выбоины краснеющие кирпичом, вели к парадному. Но Александр без полной уверенности остановился перед дверью, заметив кнопку звонка и на алюминиевой пластинке четыре фамилии: против Хохлова стояло – «3 раза».

«Хохлову три раза. Значит, он в обычной коммуналке. Так если у него одна комнатенка... то как же это я просто решился?..»

Он минуты три постоял у двери, не находя воли позвонить, и медленно спустился по ступеням, перешел дорогу, сел на скамью в садике. Зачем он сидел здесь, напротив дома Хохлова, – хотел ли чего-то выждать или увидеть своего храбрейшего разведчика, поговорить с ним тут, на улице? О чем поговорить? О том, что в гости приехал? О том, что скрывается в Ленинграде?

Когда он издали увидел Василия Хохлова, своего помкомвзвода, в первое мгновение показалось, что это не он, а кто-то схожий обликом – рябоватый лицом, крепко сбитый, с упругими, слегка покатыми плечами. Он всегда был весь наизготове к любой команде, Хохлов, опасный, физически двужильный, бледнеющий в гневе; его желтовато-ореховые глаза хищно узились, когда он стрелял «на взмах снизу», а владел он пистолетом отлично, и Александр научился этой его манере не сразу.

Мужчина и женщина вышли из башни. Мужчина придержал тяжелую дверь парадного, пропуская молодую женщину с завернутым в одеяло ребенком на руках. Ребенок плакал ослабевшим кошачьим писком, она качала его на руках, а мужчина толкался возле, пальцем отгибая край одеяла, и, неумело устраивая на лице ласковое умиление, произносил какие-то нелепые звуки губами, наподобие «тюшки, тюшки,



тюшки».

Мужчина в бурой кепчонке, в гражданском костюме, полосатой рубашке с незастегнутым воротником, в пузырящихся на коленях брюках, заправленных в кирзовые сапоги, был, конечно, Хохлов. И, привыкший видеть своего помкомвзвода в вычищенном обмундировании, в пилотке на левый висок (фронтальной шик разведчиков), подобранным всегда, Александр почувствовал нечто постороннее, жалкое в его облике, будто встретил другого человека, а не своего бравого старшего сержанта, любимца разведки.

Они оба сходили по ступеням, молодая женщина все трясла и трясла на руках тоненько попискивающего ребенка, то и дело заглядывая через край отогнутого одеяла, и обеспокоенно говорила что-то Хохлову, а тот протягивал руки, верно, намереваясь взять ребенка, но она вдруг движением ноги как-то некстати стала поправлять сползавшую туфлю.

«Все отпадает. Здесь не до меня, – бесповоротно принял решение Александр, с ощущением коварно обманутого, видя на Хохлове эту затрапезную кепчонку, помятый пиджачок, грубые кирзачи; главное же было – это неузнаваемое лицо, прежде опасно смелое, неподпускающее, а сейчас подавленное, измученное. – Да, немедленно надо уйти, уйти».

Но Александру не хватило твердости уйти немедленно. Он встал.

– Хохлов! Василий! – окликнул он голосом, сбитым хрипотцой, и, подталкиваемый какой-то сторонней силой, дви-

нулся через дорогу на ту сторону улицы, к башне, где стоял на тротуаре Хохлов с женой.

– Кто такой? Что? – вскрикнул Хохлов, весь напрягаясь, как от удара в грудь, и тоже околдованными механическими шагами пошел навстречу Александру, на ходу всасываясь глазами в его лицо, – лейтенант? Ушаков! Товарищ лейтенант! Да неужто! Товарищ лейтенант, вы? Да как вы тут? – выговорил он, осекаясь, и на середине дороги расправил плечи для объятий, но, увидев бинт и перевязь, так сдавил здоровую руку Александра, что у обоих пальцы хрустнули. – лейтенант, да неужто ты?..

– Привет, Василий, – сказал Александр, и пересохшие от внутреннего жара губы его разжались в улыбке. – Рад тебя видеть.

– А рука? Что с рукой? Старое открылось? Что? Здорово прихватило? Вид у тебя не очень, лейтенант... Идем ко мне... Что мы тут стоим? Лиза, это лейтенант Ушаков! – крикнул он, оборачиваясь. – Вот здорово-то! Мой лейтенант! Я тебе рассказывал... вместе в одном взводе... Мы с ним, Лиза, огонь и медные трубы!..

С выражением нечаянной радости он взял под правый локоть Александра и тотчас же повел к дому, смехом показывая отсутствие бокового зуба, на котором он в войну носил стальную коронку, придававшую ему лихой вид.

– Здравствуйте, – прощбетала Лиза, покачивая на груди ребенка, и добавила, оробело оправдываясь: – Коленька вот

у нас заболел... В консультацию мы...

Хохлов погладил жену по плечу.

– Уверен: у Кольки живот – недоел или переел. Сходи в консультацию без меня, Лиза. Дело такое!..

– Хорошо, Васенька, – послушно закивала Лиза. – Только не пей, Васенька, Христа ради. Чайку попейте, поговорите. Не надо водку, отраву эту. Падучая еще начнется. Контузия у тебя серьезная.

– Пойдем, пойдем, лейтенант, – заторопил Хохлов нетерпеливо.

Они миновали общий коридор с его кухонными запахами керосина и супов, загроможденный устен велосипедами, чемоданами и ящиками, узкий от висевших на гвоздях корыт и тазов, вошли в тесную комнату – гардероб с зеркалом, кровать, стол, три стула, старая детская коляска с сохнувшими на ней пеленками – неприютное, унылое жилище Хохлова, его семьи.

Но рябоватое лицо Хохлова не выражало ни смущения, ни вины за эту бедную его неустроенность, оно было весело, возбужденно, он швырнул кепчонку на кровать, заговорил, взъерошивая черные, цыганские волосы:

– Ну, не ожидал! Без всякого предупреждения! Как это ты решил заехать? Садись, садись, вот сюда, к столу! Как живешь-то, лейтенант? Не женился? Что с рукой? Работаешь?

– Нет.

Но Александр отмечал про себя, что Хохлов довольно-та-

ки похудел, сдал лицом, а пиджак был кургуз, не по росту, большие руки торчали из коротковатых рукавов – костюм был, несомненно, с чужого плеча, как видно, купленный на рынке по дешевке. И не в меру исхудавшее лицо Хохлова, и эти в куцых рукавах торчащие руки, которые делали несвойственные ему суетливые движения – выставляли на стол из гардероба, служившего, похоже, буфетом, начатый батон белого хлеба, банку американской тушенки, два стакана, блюдечко с сахаром.

– Не работаешь? А чем живешь? Фронтовые-то кончились! – говорил Хохлов, как бы оглушенный встречей, не дожидаясь ответов, и вместе с тем искал что-то на полках в гардеробе и не находил. – А я, как видишь, женился и вкальваю по новой профессии: был учеником, теперь слесарь-инструментальщик на Кировском. На карточки с натяжкой хватает, да вот пацанок появился – консервные трофеи бы с немецких складов не помешали! Помнишь Котельниково и Житомир? – Он засмеялся так искренне при воспоминании об оставленных немецких продуктовых складах в Котельникове и Житомире, так по-молодому солнечно засверкали зубы, что Александр мгновенно увидел его в белом полушубке, красиво отороченном мехом, в кубанке, с черной лакированной кобурой парабеллума на левом боку – лихой помкомвзвода Хохлов с каменным голосом, от которого шарахались лошади.

Но ни кубанки, ни полушубка, ни парабеллума не было

на старшем сержанте, лишь смех и зубы на минуту вернули прежнего помкомвзвода. А он все рылся на полке гардероба среди пустых стеклянных банок, среди пакетов, черные волосы растрепались, и как-то чуждо, бледно, как нечто унижающее забелела круглая плешь на макушке Хохлова.

– Да чтоб тебя бесы разорвали! – выкрикнул раздосадованно Хохлов, оглядываясь и извиняясь потерянными лицом. – Четвертинка была карточная... была как энзэ – не найду! Как сквозь землю провалилась, стерва сорокаградусная! Ты вот что, лейтенант, погоди минут десяток, посиди, отдохни, я сбегая сейчас в коммерческий, тут, за углом! Я сейчас! Погоди! Поговорить хочу с тобой, надобно не на сухую! И не чаял встретиться! Никого нас почти не осталось! Рад я тебе, ой как рад!

Он с суматошным и жалко-суетливым видом, какого не хотелось видеть Александру, принялся хлопать себя по карманам пиджачка, проверяя, должно быть, наличие денег, и Александр быстро вынул несколько бумажек из кирюшкинских купюр, положил на стол.

– Возьми. Купи, что надо. Я ведь не пью водку, ты знаешь.

Скулы Хохлова приняли оттенок кирпичного румянца, мелкие рябинки проявились и побелели..

– Не суди, лейтенант, трешка в кармане, все пенензы идут на пацаненка! – заговорил он с неожиданной фронтовой бесшабашностью. – Беру у тебя личный кредит с возвратом! У меня Лиза дома главный бухгалтер, все подсчитывает до ко-

пья!

Он подхватил деньги со стола, накинул несусветную свою кепчонку на черноволосую голову, на пороге обнадеживающе крикнул:

– Я сейчас, в один момент! Айн момент, лейтенант, битте шён!

Александр, внутренне сжимаясь от непрекращающегося озноба, отчего-то подумал, что нездоровье возбуждала в нем эта полукруглая комнатка, разрушенная войной, пропитанная сладковатой кислотой пеленок, со старым гардеробом, сиротливой лампочкой без абажура, свисающей на шнуре с потолка. Крохотная комнатка без солнца (оно лежало на тротуаре за окном), когда-то, в далекие годы бывшего петербургского величия, была, возможно, швейцарской, а теперь давила неприятном, жалостью к Хохлову, к его больному ребенку, к его жене, робенькой Лизе, и это чувство отвергало надежду, что он мог потеснить семью Хохлова, тоже требующий маломальского ухода. Он подумал об этом и непроизвольно встал.

«О чем мы будем говорить с Хохловым? О том, что было, пожалуй, счастливым в нашей жизни. Об этом потом, потом, когда все будет иначе. Рассказать Хохлову, что произошло со мной? Но зачем? Это ничего не изменит. Не могу понять, дорогой лейтенант Ушаков, зачем ты приехал сюда? Сидишь и ждешь Хохлова с водкой, которую не пьешь? Нет, нет, обидится он или не обидится, но сделать надо так, как надо сей-

час...»

Он достал пачку кирюшкинских денег, положил несколько бумажек на стол, оторвал уголок от газеты и найденным на подоконнике химическим карандашом написал: «Нет времени. Срочно надо уезжать. Деньги тебе пригодятся. Вернешь, когда будут. Не обижайся. Жму руку. Увидеть тебя был рад. Мы еще живем. Александр».

Когда он, выходил и искал глазами трамвайную остановку, что-то зыбкое, как незаконченное головокружение, появилось при повороте головы, но это скоро прошло.

По набережной он дошел до Летнего сада. Нева древне взблескивала, овеявая порой северным воздухом, за ее свинцовым пространством оставался Васильевский остров, недвижимой иглой стоял в синеве шпиль Петропавловской крепости, на дальних мостах играли с солнцем окна переползавших трамваев – и вновь было ощущение чего-то стороннего, немосковского, и Александру хотелось только одного – сесть где-нибудь на скамью в Летнем саду, закрыть глаза и ни о чем не вспоминать, не думать в успокоительном беспамятстве.

«Как хорошо, что я не остался у Хохлова. Это была бы мука...»

Он вошел в Летний сад, безлюдный в эту пору дня, лишь стайка детей возилась, бегала с мячом вокруг скамьи под наблюдением строго одетой немолодой дамы. Он перешел ветхий, еще не отремонтированный после войны мостик над

овражком, засыпанным по дну прошлогодними листьями (от них приятно тянуло земляной гнилью), ступил в сумрак деревьев, обдавших летним покоем, благодатной тишиной начавшегося зноя. Ему почудилось, что его поглотило ликующее царство нерушимого величия, как огромный лесной дворец, куда не доносились городские звуки, сохранявший на мраморном полу прохладу, а вверху, будто через высокие щели окон, радиусами расходились между колоннами жгучие лучи.

Он шел по тропинке этого зачарованного своей тишиной лесного дворца, и тут бессонная ночь в поезде начала сказываться ватной вялостью во всем теле. И он нашел скамью, уже сухую, нагретую, откинулся затылком, и дремота стала наплывать на него лиственной духотой. Он упал, в мягкую яму, без тревожных сновидений, без боли – сознание мигом отключилось от действительности. Он проснулся оттого, что солнце припекло голову и мучила боль в виске. Он увидел внизу сквозь деревья проблеск Москвы-реки, затянутой кое-где утренним паром. Сразу не понял, как это он оказался в Нескучном саду на милых Воробьевых горах, с детства знакомых благословенными малолюдными местами, куда всем двором ездили купаться на полный день, счастливые свободой, солнцем, водой. Как он добрался сюда? Ехал один на трамвае с пересадками? И почему принял решение пробыть до вечера в Нескучном саду, затем в Парке культуры, который примыкал к саду, днем всегда немногочленно-



му? И отчего этот день был невыносимо долог? Томительно парило, как перед грозой, даже в тени было жарко. На берегу озера в Парке культуры он зашел в маленький летний ресторан, попросил нарзан, пил теплую, железисто покалывающую горло воду, курил, смотрел на раскаленное стекло озера, на дорожки опустошенного солнцем парка, на медлительно вращающееся «чертово колесо», откуда долетал одинокий детский взвизг, одиноко торчащую парашютную вышку, с которой никто не прыгал в этот прокаленный час. Убывая время, он бесцельно ходил по разным углам парка, по берегу Москвы-реки, пил в киосках, не утоляя жажду, кислотную «газировку», курил. Читал у стендов газеты, ничего не воспринимая, бесцельно зашел в «комнату смеха» (там трое мальчишек до икоты хохотали, хлюпали носами, вскрикивали сквозь смех, перебегая от зеркала к зеркалу), увидел в зеркале свое смешно искаженное лицо, искривленные ноги, попробовал улыбнуться, но получилась гримаса раздражения. «Какого черта я должен смеяться уродству? Для кого это? Для идиотов?»

Он вышел на аллею, прислонился спиной к перилам балюстрады, закрыл глаза, размышляя о своем положении, о всех этих неприкаянных днях, о трижды проклятой необходимости скрываться и вдруг почувствовал презрение к самому себе и даже засмеялся этому презрению.

«Да подожди, подожди, милый лейтенант, каким образом ты попал в „комнату смеха“? Где ты? В Ленинграде? В

Москве? Ты в детстве любил бывать в этой комнате. Что ж, человек смешон и трагичен. Как клоун? Нет, каждый смертен не по-клоунски. От чего я так трусливо бегу? От кого? Или мне предстаэилась эта комната с зеркалами? Где же я? В своем бегстве я сам себе был смешон с Хохловым, с проводником, с Максимом. Значит, я погибаю,.. Если нет смысла, там трусость... Как нужна сейчас Нинель... Почему-то кажется, что за нее я пошел бы на что угодно. Только бы увидеть ее».

Слабым шелестом пропорхнул старческий голос над головой:

– Гражданин военный, вам припечет голову, вы получите солнечный удар.

Он вскочил, от резкого движения поплыло темными кругами в глазах, и он напряжением воли справился со слабостью, сиюсь улыбнуться старичку в парусиновом пиджаке, в старомодной панамке – тот стоял перед ним, моргая кроличьими, в круглых веках глазами, какие бывают у страдающих беспокойством пожилых людей.

– Простите, вы... ко мне... вы сказали что-то, – пробормотал Александр, очень ясно видя всю солнечную дорожку Летнего сада, солнце на траве, чугунную решетку меж стволов деревьев, сквозную небесную даль за плавающей над городом иглой Петропавловской крепости. Да, он был в Ленинграде, но почему ему привиделся Нескучный сад, совсем ненужная «комната смеха» в Парке культуры?

– Мне... мне надо на почтаamt. Где у вас можно позвонить в Москву? – выговорил он не вполне вразумительно, и старомодный старичок приставил за ухом покрытую гречкой руку, вслушиваясь глазами.

– Чего вы? Я ведь тоже не здешний, к дочери приехал. Второй месяц я тут...

– Мне надо позвонить, – окрепшим голосом выговорил Александр. – Вы не знаете, где почтаamt?

– А-а, почтаamt, – расслышал старичок и, как крыльями, заколыхал краями панамки. – Знаю, знаю. Бывал. Из садочка выйдем, молодой человек, я и расскажу путь-дорожку. В Ленинграде... тут и пингвин не заплутается. Как на Северном полюсе.

\* \* \*

– Нинель, это ты? Здравствуй!

– Господи, неужели? Я не верю, что это ты! У тебя другой какой-то голос. Это ты, Саша, ты? Господи, неужели?..

– Это я, Нинель. Я не вытерпел и позвонил тебе.

– Саша, миленький, ты так нужен сейчас. Но не приезжай, не приезжай, я тебя умоляю... У нас случилось ужасное. Не приезжай сейчас!

Он задохнулся от захлестнувшего его волнения, услышав ее голос, ее дыхание, такое приближенное чудом человеческого изобретения, что телефонная трубка в его ладони ста-

ла влажной.

– Что случилось? – спросил он хрипло и, не вытирая капли пота, защекотавшие виски, повторил: – Ничего не скрывай. Говори.

Она замолчала. Ее голос удалился и растаял в мышинных писках пространства:

– Плохо, Саша...

– Что «плохо»? Объясни как следует. Что значит «плохо»?

– Плохо с твоей мамой. Приходил Яблочков, был сначала у меня, потом у Максима со мной вместе. Очень был рассержен, что ты уехал...

– Что с мамой? – закричал Александр, ловя ускользящий ее голос. – Нинель, говори громче! В трубку говори! Куда ты исчезаешь? Чертова связь! Нинель, что с матерью? Говори, что у вас!

И опять, наслаиваясь на взвизги, на гудение воздушных далей, стали прорываться ее слова:

– ... В булочной какой-то подонок... Его прозвище Летучая мышь. Ты знаешь такого? Он подкараулил в булочной твою мать и сказал ей, что ты убил человека и скрываешься в Москве, что тебя ищет милиция...

– Этого подонка придавлю, как крысу! Что с мамой? Что с мамой? Здорова? Что с мамой?

– Мама больна. Убили Эльдара. Господи!.. Его нашли во дворе, связанного проволокой. Пальцы на руках отрезаны, выколоты глаза. Они пытали его, чтобы он выдал им, где ты,

Саша. Это звери, звери!

– Ясно. А что мама? Что говорит Яблочков? Что он?

– Он говорит...

– Что он говорит?

– Он вчера вечером отвез ее в больницу.

– Вчера вечером? Я сегодня выезжаю в Москву.

– Не надо, не надо! Не приезжай! Тебе нельзя! – воскликнула Нинель, и голос ее поперхнулся, упал до шепота: – Нельзя... У нас тут происходит что-то ужасное. Кирюшкин арестован. Понимаешь – Кирюшкин! Логачева вызывали на допрос. Какие-то подростки дежурят у нас в подъезде, провожают меня волчьими глазами. Не надо, Сашенька! Приедешь, когда все успокоится. Не приезжай! Не надо! Не приезжай, мой милый!..

Он погибал в клещах ее голоса. Известие об Эльдаре, страх за мать, за Нинель обвивали и сжимали его горячей духотой, теснотой кабины, ее надышанными человеческими запахами, и он безнадежно ловил ее поперхнувшийся и загороженный диким свистом шепот, с жестким препятствием в горле выдавил:

– Я приеду завтра...

Ему почудилось – она заплакала, вскрикивая:

– Не надо, не приезжай! Саша, не приезжай!

– Я приеду завтра утром.

## Глава тринадцатая

– Так чего нам делать с ним?

– Он сказал, что была санкция прокурора на арест? По всей видимости, он причастен к какому-то убийству, так я понял. Понял я, что его дело передается следственным органам прокуратуры, но достаточных оснований нет. Он говорил об экспертизе крови в машине. Это лишь косвенное доказательство.

– Лапшу на уши весит! Убег из Ленинграда! Пьяный до одури он, белая горячка! Прибил кого и напропалую запил. А ордена, видать, украл или содрал с кого. Сдать его в милицию, позвать проводника – и все дела! Вот чудак егорьевский, сам все и выболтал, пьянь или полоумный, что ль? Ехать в одном купе с убийцей очень интересно, но не жаляю! Не за то деньги в спадный вагон плачены. А ежели у него нож? Встанет, пырнет с пьяных глаз, сейчас много таких!

– Перестаньте кричать, он болен, не видите разве? Не пьян, а болен! То, что он наговорил в бреду, отнюдь не прямые и не косвенные доказательства. Они не свидетельствуют, что он кого-то убил. Он все время повторяет, что убит какой-то Эльдар... кто-то арестован. Какой-то Кириллов, Краюшкин, трудно понять.

– А вы вроде адвоката какого или из каких-то знатоков

этого дела? Больно уж вы разбираетесь. Я ни бум-бум не понял, что он тут лопотал, а вы ухо наострили. Из адвокатов, видно? Из защитников? Уголовный мир защищали? Вы из добрых с душегубами, значит?

– Что-то в этом роде. Когда-то имел какое-то отношение. Так вот, дорогой сосед, чтобы инкриминировать убийство, нужны неопровержимые улики и доказательства, дознание и показания свидетелей, протокол экспертизы крови и судебно-медицинская и баллистическая экспертиза. Обвинитель доказывает преступление, а обвиняемый защищает свою невиновность. Прокуратура обвиняет, суд устанавливает преступника. До окончания этой процедуры убийцу пока назвать нельзя. Это вы поняли, дорогой сосед? Какого же пса вы изображаете из себя суд, да еще над незнакомым молодым офицером, который болен и едет с вами в одном купе?

– Крепко вы эти штуки-дряки знаете. Ясныть – из адвокатов.

– Немного не точно. Несколько лет назад я был осужден и прошел через все, что полагалось. Выучил кодексы и постановления наизусть. Назубок.

– Ах, вон вы кто-о! Значит, птицу из своего гнезда заметили! А я-то кумекаю, что такое, что за защита объявилась! Уголовник человека убил, а вы ему: бред, мол, болен. Попал я в компанию, попа ал!..

– Если вы, дрянь такая, сейчас не замолчите, я вам расквашу толстую морду, а проводнику скажу, что вы в пьяном

виде упали с верхней полки. Согласны на такой исход дела?

– Да вы как? Да как вы сме... как вы можете так нахальничать? Да я мили...

– Замолчите, дрянь! А ну, лезьте-ка на свою полку и – спать до самой Москвы, как суслику! Вы меня до крайности рассердили своей глупостью, милый сосед! Учтите, что я был обвинен в непредумышленном убийстве. Суд признал меня невиновным.

«Кто это сказал? Какой защитник? Кто уголовник? – прошло в сознании Александра. – Я слышал, что они говорят обо мне. Или это началась галлюцинация голосов, когда я вошел в купе, не хватило сил раздеться, я помню: лег на полку и закрыл глаза. Почему в эту минуту кто-то мне сказал; „ТТ“ – калибр семь шестьдесят два, восемь патронов в магазине. Это надо знать назубок. Последний патрон разведчик оставляет для себя. «Кольт» – тридцать восьмого калибра. «Вальтер» – калибр семь шестьдесят пять. Оружие украшает человека. Кто это говорил когда-то? Кирюшкин. Что с ним? Эльдар убит? Кирюшкин арестован? Где оно, невозвратное и невозвратимое прошлое? Привычная и даже милая мне война, где мне лучше было на душе. Сплю? Бред? Я схожу с ума... Вот сейчас опять, вот сейчас»...

За толстой стеклянной стеной какой-то комнаты наискось валила толпа, у всех – предсмертные глаза, рты разодраны криком, изуродованы плачем, женские, мужские, детские ноги двигались по изумрудному кафельному полу мимо стены



к огромному бассейну под стеклянным куполом, откуда лил зеленоватый бутылочный свет. Толпу давила невидимая сила, напирала, толкала сзади, ноги скользили, спотыкались, и тела людей летели в бассейн, их кто-то неумолимый, темный, в лакированных сапогах, сталкивал в воду, а в забурлившей воде – месиво лиц, глаз, голов, везде странно выгибающиеся спины, распахнутые, как крылья, пальто, множество скрюченных пальцев пытались ухватиться за мокрые кафельные края бассейна, выбраться из воды, но их сбивали и давили подкованные железом каблуки, остроносые женские туфли, широкие приклады били по головам людей, дробили тонкие детские пальчики, скрюченные на кафеле, отлетающие при каждом ударе в стороны, как отсеченные зеленые стручки. А на краю бассейна, в толпе, безголосо воющей, мечущейся, сбрасываемой в кишашую телами воду, вдруг возникало родное лицо среди плеч, покореженных в безмерной боли, такое близкое, милое, дорогое лицо, что он, сжав зубы, задохнулся от слез, от любви, от нежности, потом, дико крича, бросился к стеклянной стене, чудовищно толстой, заглушавшей все звуки до единого, саданул в нее плечом, стекло чуть подалось, выгнулось полукругло, но не разбилось, а родное, залитое слезами лицо, обращенное к нему с мольбой, мелькнуло над краем воды, черный приклад ударил его в висок, и тело матери исчезло в бассейне, переполненном утопленными людьми до краёв. А рядом кто-то истонченным ласкательной ненавистью голосом выговаривал, прише-

петывая: «Вот подлюки, до чего страну довели! Гитлера на хрен, в рай, пол-Европы освободили, а что теперь! Всякая падла наших матушек в бассейнах топит! Лучше бы вы не побеждали! Сдали бы страну и жили бы себе потихоньку, пиво баварское пили да окорока пожевывали! Дурак ты, лейтенант! Облапошили тебя кругом! Хрен в сумку дали!»

Из зеленого сумрака пятном проявлялось пухлощекое сомовье лицо, в то же время лицо мальчика-старика, болезненно-зеленое, как бы в плесени, а белые порочные глаза жестоко наслаждались его страданиями, указывая туда, за стекло, где топили в бассейне мать.

«Не имею ли я чести видеть самого Лесика, отъявленную сволочь и труса? – сказал Александр безликим голосом, в спокойствии которого было что-то бесповоротно смертельное. – Как тебя – придушить? Или пристрелить?»

Неспешная скользкая ухмылка расширила и сомкнула рыбий рот.

«По окуркам твою группу крови определяют. Свидетель там, где и преступник. Нет у тебя алиби, хоть шилом колись. И пушка твоя. Кроме тебя – ни у одного кирюшкинского лопуха пушки не было. Вычислили. А милиция... а лягаши... Они у меня сидят в кулаке. Все есть, пить хотят. У вас защиты – хрен наплакал. Кирюшкин – белоручка, брезгал дать лягашам в лапу. Айда, посмотришь на своего татарина, – поймали мы его, как бабочку сачком. Не боись, крови немного».

Он по-прежнему чувствовал в своем спокойствии что-то

смертельное. Внезапно все стало тихо, бесплотное.

«Пошли, гаденыш».

«Пошли, храбрец».

Он ощупью толкнул дверь. В комнате, заполненной туманом, шла злая перебранка. Из темной толпы к нему в упор сунулось квадратное, дышащее сырым мясом лицо, налитое темной кровью, глаза горели раскаленными углями, немецкий мундир раздернут, железного вида курчавый смоляной волос покрывал до горла жирную грудь. «Раскрою! – заревел он по-бычьей. – Кишки на двенадцать метров выпущу и жрать заставлю!» Александр мимолетом бросил ему с тихим бешенством: «Удушю мизинцем. Укуси себя за немецкий пенис, сволочь недобитая». Вздывая волосатые руки, ищущие шевеля в воздухе толстыми пальцами, багроволицый взревел грозно: «Нож! Ритуальный нож!» Тут его кто-то отодвинул взглядом, и этот кто-то, столбообразный, в плаще, обволакивая сладостной улыбкой, обласкал Александра долгим пожатием влажной бескостной руки, ангельским, не мужским голосом: «Вы хотите найти голову змеи? А лучший способ мести африканца – насилие над белой. Есть ли пропасть между желанием и необходимостью?» Великолепный швейцар в серебрищейся галунами форме выражал изысканное почтение свинцовыми глазами. У него были учтивые манеры, он, грассируя, заговорил прочувствованно: «Я надерзил вам, извините, но сам я мертв. И не могу помочь. Вы тоже умрете. Посмотрите, где вы находитесь. Если человек смертен, жизнь

бессмысленна. Если смерть бессмысленна, значит, человек бессмертен».

Оголенный до пояса человек сидел, привязанный к стулу, посреди толпы, не поднимая окровавленных вывернутых век, он тягуче стонал, длинные волосы спадали на плечи. Что у него с глазами? Вырезали? Кто-то выбежал из толпы, шатаясь на тонких паучьих ножках, и запричитал гадливо. Широкий пиджак обвисал на жиденьких плечах, торчали, как крылья летучей мыши, уши. Его залитый пеной узкогубый рот обнажал остроугольные зубы. Потом у Малышева мерзко затанцевало лицо. Бледно-голубые глаза вращались.

Или это был Лесик? Он надрывным криком кричал и плакал и резал финкой себе грудь. Где это было? Когда? Неукротимая злоба взвивала к потолку его вопль: «Мово дядю Степана угробили! Вот он – падла! Брюхо ему мало распороть и кирпич положить!» Он упал, искривленный в поясице, на пол, захрипел, как в припадке. Толпа загудела звериными голосами. У него странным манером была вывернута нога. Выдавленные ненавистью белки его округлились в гнойных глазницах, и прозрачно посинели огромные острия торчащих ушей. Да кто это – Лесик? Или Малышев? Нет, Лесик... Пробуя подняться, он втыкал финку в пол, багровея сомовым лицом, и исходил криком: «Пусть медленно подышает! Кирпич ему врезать в живот! Он дядю Степана закопал, падла!» Все отсмеялись и притихли – прокатился звериный рев по толпе и смолк.

«Заткнись, мразь, – сказал Александр, не разжимая зубов, и повернулся, пошел через толпу к двери. Его шатало, он спотыкался, продвигаясь по комнате мимо злорадно оскаленных из-под немецких каскеток лиц. – Откуда здесь немецкая сволочь? – подумал он. – Лесик собрал палачей? Или это русские?»

Он не дошел до двери, остановился и, чтобы не упасть, уперся коленями в подоконник, холодный, как могильная плита. Это была передышка. Непомерность физической слабости не держала его на ногах. Множество плотоядных чужих глаз ножами воткнулись ему в спину. Позади угрожающе шумели, сговаривались, как убить его, а его стискивала гибельная тишина пустоты с выкаченным воздухом. И стало казаться, что он летит в черный провал впереди. И уже ясно было видно: внизу стояли, поджидая его, люди, растерзанные, голые, безликие, те, которых топили в бассейне. И далекие трубные туманные крики в поднебесье, какие он слышал в сорок третьем году на Днепре осенними ночами, тоской перехватывали ему грудь: неужели вот эти в комнате прикончат его?

И вдруг повышенный умилительным удовольствием голос принялся повторять, с хохотком, надрываясь в толпе:

«Убить героя успеем! Пусть поговорят промеж собой, а мы послушаем их, дружочков, перед панихидой, информацию дадут!»

Чей это голос? Малышева? Ах, Летучая мышь... То-

гда, теряя самообладание, Александр в приступе бешенства крикнул языком уголовников:

«А ну, сволочь недорезанная, ваша взяла! Линяй отсюда и дай поговорить, хоть минут пяток!»

«Можем перед казнью разрешить и папиросочку, и стакан водочки, как в культурной загранице! – паясничая, хохотнул повышенный голосок. – Шампани на том свете много! Бочками! Напьетесь!»

«Заткни глотку, идиот! Я тебя на том свете шампанским напою, Летучая мышь!»

В комнате опустело. Эльдар сидел, привязанный к стулу, голова склонена на грудь, длинные волосы свешивались вдоль щек, избитое лицо было в лиловых подтеках, из одного изуродованного глаза капала и капала на рубашку кровь, стекала ниточкой по щеке к губам.

«Что, Эльдар?..» – тихо спросил Александр не то, что нужно было спросить.

«Тысяча затруднений, – заплакал Эльдар и поднял голову, его правый, заплывший кровью глаз был обезображен, как будто хотели вырезать его ножом, левый был полон слез. – Они поймали меня и хотели узнать, где ты. Да почиет над тобой милость Аллаха, о, ясновзорый Саша...»

«Ты прежний стихослагатель и трепач, Эльдар. А смотреть на твою физиономию – радости нет. Говори – что с матерью?»

«Не могу».

У Александра еще достало присутствия духа, чтобы сказать:

«Ты осторожен, как тот сторож на бахче, который ходит воровать арбузы на чужом поле».

«Мама, – прошептал Эльдар. – Твоя аны...»

«Мама? Болеет, ты хочешь сказать?»

«Нет, – подчеркнул Эльдар. У него тряслись губы, он слизывал бегущую из глаза кровь. – Кто оставил себе замену, тот не умер».

Он слушал, мертвея от ужаса.

«Что ты бормочешь, Эльдар? Что с мамой? Говори, черт тебя возьми! Ты переидиотил идиота, а этот идиот я! Говори же, говори!» – грубая, несправедливая, неподчиненная ему враждебность душила его. Совсем недавняя любовь к Эльдару, к его остроумию и иронии не сходила на душу.

«Молчание – это тоже ответ, – всхлипнул Эльдар. – Можно помолчу?»

«Что? Говори!»

«Мамы нет. Нету аны, Саша... Я заходил к вам и видел ее. Там был Яблочков и ваш сосед. Он смотрел на твою мать, как полоумный. А мне, Саша, прости, мне, прости, показалось... она отмучилась».

«Нет, – расслабленно сказал он и закрыл глаза. – Я не отмучился».

«Мама, мама...» И он, замычав сквозь зубы, увидел на белом тонком лице матери жалеющее, незаконченное выраже-

ние ласковой улыбки, знакомой с детства, потом увидел ее в тот вечер, когда Яблочков, стараясь возбудить в ней бодрое настроение, принес красного вина, мандарины, разрешил ей курить, а сам энергично ходил на коротких ножках по комнате в снежно-белом кителе майора медицинской службы, испуская сияющую доброту своими хитроумными глазами, неопровержимую уверенность и надежду на все хорошее, что будет в жизни матери. А она сидела у стола в домашнем халате, не закрывавшем нежные, слабые ключицы, опустив свои мягкие карие глаза, держала у губ дольку мандарина, и светлые капельки капали на белую скатерть, разрывая Александру душу.

«Нет. Не хочу, – повторил Александр и, не владея голосом, спросил: – Это они... они сделали?»

«Летучая мышь и Лесик зашли к ней и сказали, что ты убил человека и теперь скрываешься... Это просто отняло у нее последние силы...»

«Бог, который не видит подлецов на земле и всю злую мразь, разве это Бог?»

«Не богохульствуй, Саша. Не всегда будет темнота там, где она густеет».

«Может быть, что-нибудь скажешь про непротивление?»

За их спинами комната наполнялась голосами, хохотом, руганью, кто-то взвизгнул, наслаждаясь безудержной властью:

«Кончат их, но не враз, не враз. По кап-пельке!»



И, уже никак не сопротивляясь, Эльдар прошептал с безнадёжной покорностью:

«Конец нам, Саша. Все».

«Все, – сказал Александр задушенным голосом. – Все», – немного погодя повторил он и вдруг так стремительно повернулся навстречу шуму, топоту и голосам, что по лицам входивших в комнату пробежал страх, мгновенно вызвавший у Александра жгучее головокружительное упоение решительностью. Это было исступленное самозабвенное отчаяние, знакомое ему по безвыходным минутам в разведке.

«А ну, кто хочет первым! Шестерых уложу подряд, даю гарантию! – крикнул он взбешенным голосом, выхватывая пистолет из потайного кармана на внутренней стороне бедра. – А ну, все прочь в другую комнату! Быстро, сволочь! Бегом!»

Шарахнулись к двери, там образовалась свалка, Александр рванул узел напутанных на теле Эльдара веревок, но в эту секунду что-то жесткое и острое свистя ударило его в плечо невыносимой болью, к ногам упал железный прут, кинутый кем-то с рассчитанной силой.

Александр дернулся всем телом, повернулся набок, схватился рукой за плечо, заскрипел зубами – и очнулся от бреда. И, еще не окончательно придя в себя, понял, что он в поезде, лежит на нижней полке, что, ворочаясь, ударился предплечьем о стенку. Рану жгло каленым железом, голову сдавливала мутная тяжесть.

Гремели под полом колеса, перестукивали, скрипела скрежетали, покачивались стены. Водянистый воздух расцвета вползал в купе сквозь щели опущенной шторы.

«Что мне привиделось? Эльдар, которого они пытали, мама за столом с долькой мандарина у губ... Как ясно я все видел. Да, это банда Лесика. Все в каком-то безумии. Я болен. Эльдар видел улыбку на мертвых губах мамы: она отмучилась. Сначала отец, потом со мной... Улыбку на мертвых губах я видел на войне несколько раз – и это вызывало необъяснимое чувство перед какой-то тайной, которую унес убитый. Узнать бы ее мысли – нет, это уже в запредельных, запретных измерениях. Я не оправдал любви матери ко мне. Не смог стать ее защитой после смерти отца. Не оправдал».

Он лежал лицом вверх на полке, слышал похрапывание соседей, голоса которых прорывались ночью в его бред, краешком сознания помнил, что кто-то называл его душегубом, убийцей, и он опять думал о матери, и опять тоска и застывшие слезы заслоняли ему горло. Он знал, что все, что мучило его целую ночь видениями, ненавистью и жалостью, был тяжелый сон, близкий к беспамятству. Чтобы не застонать, не заговорить вслух, он прикусил губы изнутри и, пересиливая себя, поднялся, держась за стену. Его подташнивало. В купе спали, за шторой уже светлело утро. Лица спящих отливали нездоровой бледностью.

Он бесшумно открыл дверь, захлопнул ее без щелчка, пошел к тамбуру по качающемуся коридору, и от слез, горячо

бегущих из глаз, все колебалось, плыло, распадалось перед глазами на какие-то стеклянно-зеркальные, лучистые осколки.

В туалете он сделал усилие, чтобы вытошнило, но ничего не получилось. С надрывом вырвало одной ядовитой желчью. Споласкивая лицо, он посмотрел на себя в зеркало и не узнал: это было смертно-белое, осунувшееся лицо, ненатурально ярко блестели глаза.

В тамбуре ходили железнодорожные, пахнущие углем сквозняки, утреннее теплеющее солнце раскачивалось на стенах, на металлической рукоятке стоп-крана с серой ниточкой пломбы; за пыльными стеклами дверей проходили платформы дачных поселков, тамбур наполнялся мимолетным шумом, справа и слева отсвечивали на солнце крыши домиков, прячась в листве садов: поезд шел в пригороде Москвы, по дачным местам. Александра бил озноб, стучали зубы, им все больше овладевало чувство безвыходности, и чем ближе была Москва, тем отчаяннее утрачивалась хрупкая защепочка за смысл его приезда домой, в никуда, в пустоту, где не было матери, и его внезапно ослепило: пропал!

Нет, нет, Нинель, в Москве была Нинель. И, прислонясь спиной к скрипящей стене тамбура; он точно утонул в забвении. Такого у него не было ни к одной женщине.

Откуда эти резные шкафчики с выдвижными ящиками, эти фотографии в кабинете ее отца? Как он оказался здесь? Как они познакомились? Мать не видела ее ни разу.

Что таилось в глубине ее зрачков, какие загадки Вселенной, какая запредельная, манящая счастливой гибелью бездна, какое чувство, невысказанное ею, – разве все это можно было передать ее губами, отдающимися его губам так робко и осторожно, что теплые потоки космоса уносили его в безбрежные звездные миры, невесомо опускали на землю, обогретую солнечным ветром?

Потом он лежал, прикрывшись одеялом до пояса. Она не поцеловала, она вздохнула ему в щеку.

– Ты любишь меня, разведчик?

В сладостном изнеможении не обдумывая слова, он ответил шутливо-уклончиво:

«Я знаком с тобой из моих снов. Больше, чем знаком. Я помню во сне твои прохладные груди, и губы, губы...»

Она, радостно блестя глазами, обняла его.

«Спасибо».

«Ты сказала „спасибо“?»

У нее наморщился нос. Ему снова показалось: ее глаза были наделены светом нежной искренности.

«Конечно. А что же еще, Саша?»

«Удивительно, – сказал Александр. – На войне я почти забывал свое имя. Знал только фамилию и звание».

«Умерьте грустный тон, лейтенант, – она нажала кончиком пальца ему в подбородок. – Я вас люблю, и это все. Я иду на Голгофу. Понимаете, лейтенант? На Голгофу».

Он не улыбнулся.

«Спасибо. И я с тобой. На распятие».

Она, улыбаясь, сказала своим обычным безмятежным голосом:

«Повторяешь меня. Ты – плагиатор».

– Нинель, Нинель, – шепотом повторял он ссохшимися губами, придавливаясь к стене тамбура дрожащей в ознобе спиной, бессмысленно глядя на уходившие назад дачные платформы, на которых темными косяками подсыхала роса перед жарким днем.

И вдруг как молния – белым по черному – сверкнуло название поселка на деревянном зданьице с шумом пробежавшей назад платформы – Верхушково, – вспышкой полоснуло по глазам и исчезло, как и гул безлюдной платформы, только поодаль затеплели на солнце скаты крыш, яблоневого сада, испещренные красными искрами, стал поворачиваться заросший кустами купол полуразрушенной церквушки над макушками садов, надвинулся березовый лес вплотную к платформе, мигом оборвался, и разом замелькали какие-то сарайчики с копнами свежего сена – и все кончилось, все затопило пустотой зеленого поля до горизонта.

«Что это – помрачение сознания? Верхушково? Вот оно откуда все началось, вот оно... Да, это то трижды проклятое Верхушково; и здесь дом за новым забором, пруд с задней стороны, косматые звезды выстрелов, вылетевшие из кустов. Верхушково, Верхушково, и Лесик, и его банда, и мама умерла, и убит Эльдар, и Кирюшкин арестован, и Билибин, и они мстят мне. Я все помню, но я в каком-то безумии. Неужели это конец? Последняя моя случайность? Нет, это еще не все. Я еще жив, – повторял он, как молитву. – Я найду их... Я дождусь их в этом доме. Что ж, пусть будет безумие. Я найду их...»

## Глава четырнадцатая

Как будто змейки жара докрасна раскаленного железа сходились пульсирующе на висках, он даже видел это раскаленное железо перед глазами багровой дымящейся преградой с болтающейся пломбой на ниточке. Пломба шевелилась от скорости поезда – крошечный запретный серый жучок на полированной стене.

Он безуспешно сопротивлялся. Он поднял руку, потянулся к стене.., Никто никогда не смог бы объяснить, что прервало короткое сопротивление и толкнуло к действию, которое не подчинялось сознанию. Он лишь выждал, когда поезд замедлил ход то ли перед семафором, то ли перед стрелками, и со всей силы рванул на себя рычаг стоп-крана...

Весь как бы измятый (успел инстинктивно спружинить удар о землю), он отлеживался на прошлогодних листьях в канаве березового леска, и здесь его с болью вытошнило желчью. И, уже не чувствуя онемевшую от боли левую руку, не оглядываясь на поезд, который, простояв минут пять, с лязганьем, с ударами буферов двинулся дальше, захромал по лесу в Верхушково, в сторону церкви, не забытой им с той лунной ночи. Во время толчка поезда он все-таки зашиб колено, и это затрудняло движение. На дорогу он выходить опасался: там изредка проходили ранние прохожие.

Возле церкви он не сел, а упал на холодный и колючий,

как лягушачья кожа, камень, отдышался, чтобы успокоиться, попробовал даже закурить, но бросил папиросу: она оказалась горькой, и было сухо и горько во рту. Он посмотрел вокруг с неожиданной, настойчивой мыслью: запомнить, вобрать в себя это утреннее высокое предзнойное небо с протаявшей, как стекло, зеленоватой луной в этой неумирающей светлой вечности, кирпичную стену церковки, согреваемую солнцем, степной запах полыни у ее стен, серую, пыльную дорогу перед новым тесовым забором, за которым капли росы горели на краснеющих яблоках. Что-то влекло его запомнить эту великую простоту летнего утра, куда привела его та ясная и роковая лунная ночь.

Все должно было быть очень просто. Он должен был перейти дорогу, где сейчас никого не было, и, пройдя несколько влево, спуститься вдоль забора по тополиной аллее к пруду, внизу завернуть у самой воды направо, тут новый забор переходил в жердевую изгородь, в середине которой калитка, ведущая в сад: дальше – тропинка меж яблонь к дому, полянка со срубом колодца неподалеку от зарослей жасмина, откуда, стреляли по нему и куда стрелял он по вспышкам.

Он мысленно прочертил в голове этот путь и, чувствуя, что пересохшие губы потеряли жар, стали ледяными, словно температура спала вмиг, поднялся с заплесневелого церковного камня, вдохнул носом и выдохнул воздух, заставляя ровнее работать сердце, и, посмотрев по сторонам, перешел дорогу, вошел в зеленое укрытие тополиной аллеи вдоль за-



бора, моля судьбу, чтобы здесь никто не встретил и не помешал ему.

В этот час дачного утра берег пруда, истыканный копытами коз, с втоптанными в илистую, грязную его кромку белыми перьями, был занят семейством гусей. Они ходили по мелководью, в осоке, порой устрашающе взгагакивали, поднимаясь на неуклюжих лапах; на противоположном берегу лениво дребезжали козы.

Он знал, что ему нельзя было стоять возле калитки долго, надо было входить, незаметно, быстро продвинуться в тени сарая к крыльцу. Но все-таки он задержался на полминуты под верхним окошком сарая, где мог быть сеновал, послушал тишину, деревенскую, тонкую, и, обогнув дом, на носках взбежал на крыльцо, перевел дыхание, вынул тщательным, мягким движением «ТТ» из потайного кармана, отвел предохранитель и привычно и крепко сжал его во вспотевшей ладони, эту свою крайнюю надежду, спасение и возмездие, безотказно послужившую ему всю войну, – тяжеловатый, теплый, верный комок послушного и родного железа.

Он опустил пистолет в карман, после этого нажал на дверь. Она была заперта изнутри. Он постучал. Ответа не было. Он постучал еще громче и требовательней. В комнате послышался шорох, кашель закоренелого курильщика, прошлепали босые ноги, в сенях загремел засов, выругался осевший, как с перепоя, голос:

– Кого хрен принес? Кто еще там, твою мать?

«Лесик или Летучая мышь? Нет, Лесик!» – пронеслось в голове.

– Откройте, почта! Телеграмма!

– Кому, к хренам собачьим, телеграмма? – выругался голос за дверью. – Днем не мог занести, зараза?

– Расписаться надо. В получении.

– Постой, откуда телеграмма? Из Ростова, может? – вскрикнул фальцетом голос. – А ну! А ну! Давай ее сюда!

И брякнул отодвинутый засов в сенцах, и в ту же секунду Александр с такой яростной силой здоровой руки и здорового плеча толкнул дверь, что человек за ней отлетел к стене, споткнулся о пустое ведро, стоявшее на полу, ведро покатилося с дребезгом.

Лесик, в черных широких трусах, болтающихся на его безволосых тонких ножках, в синей майке, отходил спиной в комнату, дохнувшую кислотой капусты, застоявшимся спиртом, а его сомовье белоглазое лицо передергивалось конвульсивными судорогами. Потом истошный визг, переходящий в горловой рев, хлестнул по ушам Александра:

– Лягаши! Падла! Окружили, блямбы!

– А ну, сволочи, вставай все! – крикнул Александр и, скрипнув зубами от рвущейся в нем ненависти, вдруг против воли бешено засмеялся, и этот смех показался ему кусками застрявшего в горле льда. – Судный день пришел, сволочи! А ну, все вставай к стенке! Вставай, мразь!

И он ткнул пистолетом в сторону глухой стены, загоро-

женной одной лавкой, застеленной плащ-палаткой, на которой в одних трусах трясся худыми плечами Малышев, Летучая мышь, скуля, постанывая по-собачьи, растрепанные его волосы и хрящеватые растопыренные уши делали его голову чудовищной маской.

– Лягаши! Падла! На том свете прикончу! – визжал Лесик, и слезы текли по его пухлым щекам. – Откуда вы, бляди? Откуда?

– Стать! Рядом... с Летучей мышью, мразь! В визжащих и рыдающих не стреляю! Заткнись, гнида! А ну, рядом, Лесик-Песик-Дресик! Встать рядом! И молчи, убийца! А это кто такой? – крикнул Александр, увидев рыхлого человека, толстым животом вдавившегося в угол за не задернутой до конца занавеской. – А это еще что за харя? Твою мать, да никак мильтон? Или одежду только напялил для камуфляжа! Пушка есть? Кидай сюда, на пол!

– Оружие, – младенческим голосом сказал рыхлый.. Он сорвал с табуретки ремень с кобурой, кинул его к ногам Александра. Тот ударом каблука отшвырнул кобуру в угол комнаты.

Рыхлый человек, придерживая милицейские галифе, поджимая пальцы босых ног, засеменял к лавке, тряся жирными женскими грудями, вжимая затылок в пухлые, как подушки, плечи, тестообразное лицо его было оплывшим, черно-медным, под глазами висели желтые мешки, что бывает после ночного пьянства.

– Значит, ты, чернорабочий правосудия, пьянствовал с этими ублюдками? – Александр указал на стол, где стояли бутылки, валялась буханка хлеба, раскиданы на тарелках куски недоеденной колбасы, торчали рваными краями банки американской тушенки. – Значит, ты, мильтон, заодно с этой бандой? Работаешь на нее? Так вот почему гнида Лесик хвастался, что милиция у него в кулаке! А ну, вставай, шкура милицейская, рядом с бандой, и молись, гнида!

– Я случайно, случайно, да-да, вы говорите, чернорабочий, – выдавил детский всхлип толстяк в милицейских га-лифе. – Вчерась зашел к ним для делового разговора. Ведь ограбили их... Из поселка я...

– Их ограбили, а не они ограбили? Молодец, мильтон!

Он не мог остановить себя, ненависть сжигала его до черноты в глазах, душно перехватывало дыхание, и он не узнавал свой голос, хриплый, высокий, какой бывал у него, когда терял самообладание в приступах ненависти.

– Ты, Лесик! – крикнул Александр, чуть подняв пистолет. – Ответишь сразу, умрешь легче! Был у моей матери? Отвечай быстро, гаденьш! Был?

Лесик, прикованный глазами к пистолету, полоумно за-талкивая пальцы в рот, грыз их, сипя животным горловым мычанием, и мелко сучил голыми ножками недоразвитого подростка.

– Не-е, не-е, не-е... Летуч... Летуч...

– Не я, не я! Врет, врет! Лепит под меня! Врет! Он, он

заставил! Вместе ходили, чтоб веры больше было! – пронзительно заглушая его, издал предсмертный козлиный вопль Летучая мышь, и бескостное тело его, трясущееся, как в припадке контузии, начало вроде бы в беспамятстве клониться к тучному участковому, стоявшему в столбняке с обморочно прижмуренными одутловатыми веками. – А энтот мильтон – Лесика дружок! Закладон, вместе пили! А он ему помогал с милицией московской лапшу жарить! Чонкин его фамилия! Старшина он! Ненавижу я их, заставляли меня, били, за человека не считали! Сашенька, я мать твою не убивал, женщина она хорошая, больная была, сказал ей только... Заставили! Саша, не убивай! Рабом твоим буду, ножки мыть, целовать!.. Не убивай, пожалей ты меня, вора жалкого, жить я хочу, молодой я, на войне даже не был...

– Эх, мрази! – сказал Александр через зубы. «Пропал я, и пропали они. Все!»

Он сделал шаг назад и выстрелил два раза. Он даже мельком не захотел глянуть, как почти одновременно повалились они лицами вперед, услышал, как захрипело что-то в горле не то у Лесика, не то у Летучей мыши, что-то упало со стола, краем зрения увидел вываленное в растекавшуюся кровь на полу месиво жирной тушенки – его опять гадливо потянуло на тошноту, и он натужно выкашлял липкой желчью. Выпрямившись, справляясь с дыханием, вытирая рот тыльной стороной руки, в которой был зажат пистолет, он с ненавистью посмотрел на тучного милицейского старшину, кото-

рый, кругло выкатив выбеленные страхом глаза, одеревенело стоял на своем месте, а пальцы ног улитками поджимались. И Александр проговорил с холодным пренебрежением:

– А ну, мотай отсюда, мильтон, чтоб ноги в задницу влипали. И если дашь о себе знать, я тебя найду. Запомни меня: командир взвода полковой разведки. Лейтенант Ушаков. Честь имею. Брысь отсюда, проститутка милицейская!

«Что это было? Честолюбивое сумасшествие? Безумие?»

Тучный милицейский мигом совершил какие-то звериные движения, озираясь на неподвижные тела, ткнувшиеся в лужу крови возле лавки, бросился к кровати, колыхая, как гирей, обвисшим животом («Как таких держат в милиции?» – мелькнуло у Александра), схватил что-то в обе руки, прижал к груди и выбежал из комнаты. Последнее, что запомнилось, были сапоги, зажатые у него под мышкой. Хлопнула дверь, простучали босые ноги по крыльцу – все замерло. Солнце мирно по-летнему лежало теплыми квадратами на полу. Было ли все это? Или опять был бред, мучивший его не один день? Тогда он подошел к лавке, что стояла у глухой стены, и поглядел на тех, кто лежал возле нее. Ему не хотелось разглядывать их лица – не очень сильно окровавленные, тронутые серизной смерти, даже помолодевшие в спокойствии губ, бровей, непохожие на те лица, которые были при жизни.

У него едва хватило сил выйти из дома, спуститься, хватаясь за перила, по лестнице, добраться до колодца, вокруг

которого была сырая прохлада. Ему неистребимо хотелось пить. И еще хватило сил вытащить ведро плещущей через край воды, окунуть подбородок в ледяное наслаждение, прозрачное, ломящее зубы, и пить, пить, не утоляя жар, опаляющий его всего.

И здесь возле колодца он потерял сознание.

\* \* \*

Он умер в сельской больнице дачного поселка Верхушково, и в последние минуты, и перед последним прощанием с землей ему почему-то представлялся буйный непрерывный дождь. Он был странного таинственного цвета, он шел сплошной стеной над домами, он отвесно бил в крышу больничной палаты, в звеневшие антенны, в желоба, в шумевшую листву деревьев на улицах поселка; всюду выплескивались на тротуары фонтаны из водосточных труб, растекались во все стороны красными лужами, скапливались в кюветах жирно лоснящимися озерами, волновались, пузырились под прямыми ударами бешеного ливня.

Люди в ужасе бежали по городку, прикрывая головы руками, газетами, ставшими сразу черно-алыми, с ног до головы облитые чем-то красным, женщины тянули за руки кричащих детей, струи хлестали в их открытые рты, заливали брошенные на тротуарах коляски, текли кровавыми ручьями по лицам плачущих младенцев. Густо-алая стена падала

с неба нескончаемо, размывая весь поселок в разъятую бурлящую котловину. Это была кровь, она соединялась в реки, изгибалась, змеилась везде – на стеклах, на стенах, на витринах, на одежде, промокшие насквозь юбки бегущих женщин с детьми отяжеленно облепляли ноги, мужчины, куда-то тоже бегущие, метались по асфальту, утопая по щиколотки в кипящем потоке, – и всюду стоял приторно-жирный, железистый запах человеческой крови, и соленый ее вкус забивал нос и рот и не давал ему дышать.

Он умер, не приходя в сознание.

*1995 г.*